

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

376/5 5.2019

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области

Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Святому святое

705 лет со времени рождения Светоча Земли Русской,
преподобного Сергия Радонежского

Житие Сергия Радонежского. В пересказе писателя Бориса Зайцева3

Хрестоматия

265 лет со дня рождения Александра Семеновича Шишкова (1754-1841),

русского писателя, военного и государственного деятеля, адмирала флота и филолога

Александр Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка 10

Поэзия

Сергей Чепров. И встала Русь, светла и богомольна.

Стихи из сборника «Молитвы русских поэтов XX-XXI» 15

Александр Федюкович. И скрип журавля, будто крик 49

Михаил Крылов. Привет последних летних дней... 63

Екатерина Яковлева. Мне сон был радостный и вещий 79

Александр Дивеев. Затуманилось сердце надеждой 84

Сергей Погодаев. Дорожу лишь сказкой о Святой Руси 89

Проза

Александр Витковский. Царица Агриппа. *Рассказ из повествования* 20

Светлана Волкова. Золотая веснушка. *Сказки* 54

Василий Мазнев. Молодой коршун. *Рассказы из детства* 68

Сквозь призму истории

Прокопий Громов. Прощальный взгляд на Российско-Американские колонии 96

Публицистика

Валерий Румянцев. Убьют ли русскую литературу? 111

Василий Козлов. Избушка под крутой горой. *Очерк* 114

Критика

Александр Новосельцев. Куда ж России без Христа?

Крестьянская православная культура в жизни и творчестве Василия Шукшина165

Кристина Рылова. «В защиту мира».

О киноповести Михаила Ворфоломеева «Полынь — трава горькая»172

Рассказы

Василий Белов. Тяжесть креста: *Воспоминания о Шукшине*175

Вернисаж

Людмила Чевелёва. Одаренный Свыше. *Памяти художника Валерия Чевелёва*225

Наталья Троценко (Чевелёва). Мой папа — упрямый реалист с романтическим уклоном.

Мир художника Валерия Чевелёва232

Смелочка к другу

Степан Правдуровский. Кладу я голову на плаху... *Пародии*237

Борис Барановский. То совесть правдою карала / И раздевала донага. *Пародии*238

Владимир Скиф. Я пряду в любовь прекрасной гибкой зверью...

Из цикла пародий «Смирновиада»239

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**

Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.С. Гурулёв, В.К. Забелло, В.В. Козлов, И.И. Козлов,
А.К. Лаптев, М.П. Попова, О.К. Стасюлевич, Л.А. Сулейманова, В.Н. Хайрюзов

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 08.10.2019 г. Выход в свет: 18.10.2019 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 21. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.

Отпечатано в типографии: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Р/сч. № 40702810608030001744 к/с 30101810200000000777 Банк получателя ФЛ ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск

Сч. № 30101810200000000777 БИК 040407777

ИНН/ КПП 3808086540/381201001 ОКПО 13623582 ОКПО 13623582

Святому святое



*705 лет со времени рождения
Светоча Земли Русской,
преподобного Сергия Радонежского*

Житие Сергия Радонежского

В ПЕРЕСКАЗЕ ПИСАТЕЛЯ БОРИСА ЗАЙЦЕВА

Сергий Радонежский. Детство



По древнему преданию, имение родителей Сергия Радонежского, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни.

Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распушенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда — Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обротать. И, подведя к како-

му-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И, конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Помогали бедным и охотно принимали странников.

3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого. Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу, вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергей, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха.

Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

И вот, деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот лет! Забредли куда-то жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать, наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у побережья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело — этою чертой отмечена вся его жизнь.

Сергий Радонежский. Чудо

Теперь он — очень удрученный неудачами — нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

— Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей — через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

— Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Священное Писание и одолеет чтение.

После смерти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы.

Не выдержав слишком сурового и аскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день праздновалась память мучеников: Сергия и Вакха. Ему было 23 года.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия Радонежского св. Тайн. Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.

Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его...») Бесы исчезли.

Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергей. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив».

Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время.

Сергий Радонежский. Ручной медведь

Сергий увидел раз у келий огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергей подавал всегда. И медведь сделался ручным.

Но сколь ни одинок был преподобный в это время, слухи о его пустынночестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спастись вместе. Сергей отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки — уступил. И принял нескольких...

Построили двенадцать келий. Обнесли тыном для защиты от зверей. Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород. Жили тихо и сурово.

Сергий Радонежский подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молот ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду. И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, «имел силу противу двух человек».

Был первым и на службах.

Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергей стал игуменом. А он отказывался.

— Желание игуменства, — говорил, — есть начало и корень властолюбия.

Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергей сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию.

Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что, если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергей, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.

— Желаю, — сказал, — лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа да будет!

И он решил не прекословить — перенести дело на усмотрение церковной власти.

Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергей с двумя старейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переславль-Залесский.

Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви — воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь, в игуменстве, не изменил нисколько: сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу.

В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон — первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную церковь Святой Троицы.

С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Сергий постригал не сразу. Наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего.

Несмотря на постройку новой церкви, на увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением св. книг, переписыванием их, иконописью — но никак не в разговорах.

Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету апостола Павла, он требовал от иноков труда и запрещал им выходить за подаянием.

Сергий Радонежский. Обитель

Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимого: вина для совершения литургии, воска для свечей, масла лампадного... Литургию иногда откладывали. Вместо свечей — лучины. Нередко не было ни горсти муки, ни хлеба, ни соли, не говоря уже о приправах — масле и т. п.

В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголодали два дня — зароптали.

— Вот, — сказал преподобному инок от лица всех, — мы смотрели на тебя и слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлеба.

Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как слышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к Сергию.

— Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим святым молитвам, они у ворот.

Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько повозок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий порадовался, сказал:

— Ну вот, вы алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами общую трапезу.

Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил сесть за трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печи.

Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же

прост — беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все — возведенное к предельной легкости, чистоте.

Многие приходили издали, чтобы только взглянуть на преподобного. Это время, когда «старичка» слышно на всю Россию, когда сближается он с митрополитом Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по распространению монастырей.

Преподобный хотел более строгого порядка, приближавшего к первохристианской общине. Все равны и все бедны одинаково. Ни у кого ничего нет. Монастырь живет общиною.

Деятельность Сергия нововведение расширяло и усложняло. Нужно было строить новые здания — трапезную, хлебопекарню, кладовые, амбары, вести хозяйство и т. п. Прежде руководство его было только духовным — иноки шли к нему как духовнику, на исповедь, за поддержкой и наставлением.

Все способные к труду должны были трудиться. Частная собственность строго воспрещена.

Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался келарь. Эта должность впервые учреждена в русских монастырях преподобным Феодосием Печерским. Келарь заведовал казной, благочинием и хозяйством — не только внутри монастыря. Когда появились вотчины, он ведал и их жизнью. Правил и судебные дела.

Уже при Сергии, по-видимому, было собственное хлебопашество — вокруг монастыря являются пахотные поля, частью обрабатываются они монахами, частью наемными крестьянами, частью — желающими поработать на монастырь. Так что у келаря забот немало.

Одним из первых келарей Лавры был преподобный Никон, позже игумен.

В духовники назначали опытного в духовной жизни. Он — исповедник братии. Савва Сторожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия.

За порядком в церкви наблюдал экклезиарх. Меньшие должности: паразкклезиарх — содержал в чистоте церковь, канонарх — вел «клиросное послушание» и хранил Богослужебные книги.

Так жили и трудились в монастыре Сергия, теперь уже прославленном, с предложенными к нему дорогами, где можно было и остановиться, и побыть некоторое время — простым ли людям, или князю.

Два митрополита, оба замечательные, наполняют век: Петр и Алексей. Игумен ратский Петр, волынец родом, первый митрополит русский, основавшийся на севере — сначала во Владимире, потом в Москве. Петр первый благословил Москву. За нее, в сущности, положил всю жизнь. Это он ездит в Орду, добывает от Узбека охранительную грамоту для духовенства, непрерывно помогает Князю.

Митрополит Алексей — из сановного, старинного боярства города Чернигова. Отцы его и деды разделяли с князем труд по управлению и обороне государства. На иконах их изображают рядом: Петр, Алексей, в белых клобуках, потемневшие от времени лица, узкие и длинные седые бороды... Два неустанных созидателя и труженика, два «заступника» и «покровителя» Москвы.

Преподобный Сергей при Петре был еще мальчиком, с Алексием он прожил много лет в согласии и дружбе. Но святой Сергей был пустынный и «молитвенник», любитель леса, тишины — его жизненный путь иной. Ему ли, с детства отошедшему от злобы мира сего, жить при дворе, в Москве, властвовать, иногда вести интриги, назначать, смещать, грозить! Митрополит Алексей часто приезжает в его Лавру — может быть, и отдохнуть с тихим человеком — от борьбы, волнений и политики.

Преподобный Сергей вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя, разорения Владимира, Киева, битва при Сити — все далеко. Идут два процесса, разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся за власть. Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот, — восхождение.

В Орде между тем выдвинулся Мамай, стал ханом. Собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Ягелло — летом заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Ягелло.

Время для Дмитрия опасное.

До сих пор Сергей был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял перед трудным делом: благословения на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную, Христос?

Русь собралась

18 августа Дмитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно: Русь вправду собралась. Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с Андреем Ольгердовичем — впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. Все это понимали.

Начался молебен. Во время службы прибывали вестники — война и в Лавру шла, — докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергей упрощил Дмитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему:

— Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном; но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.

После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, окропил святой водой.

— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.

И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

Есть величавое, с трагическим оттенком — в том, что помощниками князю Сергей дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру, и на татар пошли без шлемов, панцирей — в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно, это придавало войску Дмитрия священно-крестоносный облик.

20 августа Дмитрий был уже в Коломне. 26–27 августа русские перешли Оку, рязанскую землю наступали к Дону. 6 сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?

Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Дмитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть.

Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и Святая Троица помогут!»

8 сентября 1380 года!

По преданию, на зов татарского богатыря выскакал Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с Челубеем, поразив его, сам пал. Началась общая битва, на гигантском по тем временам фронте в десять верст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические». Их было сплетено немало.

Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «Мы победили».

Преподобный Сергий Радонежский. Кончина

Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября 1392 года.

Сергий Радонежский пришел на свою Маковицу скромным и неизвестным юношей Варфоломеем, а ушел прославленным старцем. До преподобного на Маковице был лес, вблизи — источник, да медведи жили в дебрях по соседству. А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из России. На Маковице стоял монастырь — Троице-Сергиева лавра, одна из четырех лавр нашей родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным для тысяч. Сергий Радонежский основал не только свой монастырь и не из него одного действовал. Бесчисленны обители, возникшие по его благословению, основанные его учениками — и проникнутые духом его.

Итак, юноша Варфоломей, удалившись в леса на Маковицу, оказался создателем монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в огромнейшей стране.

Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.

Брестоматия



*265 лет со дня рождения Александра Семеновича
Шишкова (1754-1841), русского писателя,
военного и государственного деятеля,
адмирала флота и филолога*

АЛЕКСАНДР ШИШКОВ

Рассуждение о старом и новом слоге российского языка



От редакции: Шишков Александр Семёнович (9 [20] марта 1754, Москва — 9 [21] апреля 1841, Санкт-Петербург) — русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный и государственный деятель, адмирал (1824). Государственный секретарь и министр народного просвещения. Один из ведущих русских идеологов, известный

консерватор, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 года. Президент литературной Академии Российской. Образование получил в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, в 1772 году окончил корпус в звании мичмана. В 1776 на фрегате «Северный Орел» совершил путешествие, длившееся три года. По возвращении Шишков был произведен в лейтенанты и с 1779 года преподавал в Морском кадетском корпусе морскую тактику, одновременно занимаясь литературной деятельностью, главным образом переводами. Также составил англо-французско-русский морской словарь. В период русско-шведской войны 1788-1790 годов Шишков был участником Гогландского (1788) и Эландского (1789) сражений. В 1799 году Шишков был назначен на почетную должность историографа флота и вскоре стал вице-адмиралом. С февраля 1807 года по инициативе Шишкова стали собираться литературные вечера, которые с 1810 года стали публичными и получили название «Беседы любителей русского слова». Общество издавало собственные «Чтения в Беседе любителей русского слова», где были опубликованы такие сочинения Шишкова, как «Рассуждения о

красотах Святого Писания», «Разговоры о словесности» и «Прибавление к разговорам». В 1811 году Шишков написал «Рассуждение о любви к Отечеству». Его сочинение привлекло внимание императора Александра I, и Шишков был назначен государственным секретарем, сменив на этом посту Михаила Сперанского. Манифесты, написанные Шишковым, зачитывались по всей России. Фактически он выполнил роль главного идеолога Отечественной войны 1812 года. Его манифесты, являясь откликами на все важнейшие события, поднимали дух русского народа и поддерживали его в тяжелые дни поражений. В августе 1814 года он был назначен членом Государственного Совета, а также президентом Российской Академии Наук. В декабре 1823 года Шишкова произвели в адмиралы. В мае 1824 года Александр Шишков стал министром народного просвещения и главнокомандующим делами иностранных вероисповеданий. В разные годы им были написаны книги, среди которых при жизни не изданная книга «Славянорусский корнеслов» с подзаголовком «Язык наш — древо жизни на земле и отец наречий иных», из которого явствует, что книга посвящена обоснованию роли русского языка в качестве мирового праязыка. Александр Шишков скончался 21 апреля (9 апреля по старому стилю) 1841 года в Санкт-Петербурге.

* * *

Всяк, кто любит российскую словесность, и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных. Древний славенский язык, отец многих наречий, есть корень и начало русского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему Эллинского языка, на коем витийствовали гремющие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины, и многие другие христианские проповедники. Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка? Кому приходило в голову с плодородной земли благоустроенный дом свой переносить на бесплодную болотистую землю? Ломоносов, рассуждая о пользе книг церковных, говорит: «таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с Российским, отвратятся и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту от Греческого, и то еще чрез Латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене, и к упадку преклоняют». Когда Ломоносов писал сие, тогда зараза она не была еще в такой силе, и потому мог он сказать: вкрадываются к нам нечувствительно; но ныне уже должно говорить: вломились к нам насильственно и наводняют язык наш, как потоп землю. Мы в продолжении сего сочинения ясно сие увидим. Недавно случилось мне прочитав следующее: «разделяя слог наш на эпохи, первую должно начать с Кантемира, вторую с Ломоносова, третью с переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которое образуется приятность слога, называемая французами *elegance*». Я долго размышлял, вподинну ли сочинитель сих строк говорит сие от

чистого сердца, или издевается и шутит: как? нелепицу нынешнего слога называет он приятностию! совершенное безобразие и порчу оно — образованием! Он именует прежние переводы славяно-русскими: что разумеет он под сим словом? Неужели презрение к источнику красноречия нашего славенскому языку? Не дивно: ненавидеть свое и любить чужое почитается ныне достоинством. Но как же назовет он нынешние переводы, и даже самые сочинения? Без сомнения французско-русскими: и сии то переводы предпочитает он славено-российским? Правда, ежели французское слово *elegance* перевести по-русски чепуха, то можно сказать, что мы действительно и в краткое время слог свой довели до того, что погрузили в него всю полную силу и знаменование сего слова!

Отколе пришла нам такая нелепая мысль, что должно коренный, древний, богатый язык свой бросить, и основать новый на правилах чуждого, несвойственного нам и бедного языка французского? Поищем источников сего крайнего ослепления и грубого заблуждения нашего. Хотя не можно сего сказать вообще, поелику и ныне есть писатели, достойно сочинениями своими славящиеся; но их так мало в сравнении с другими, что умы молодых читателей гораздо меньше наставляются их писаниями, нежели заражаются и портятся творениями сих последних.

Начало оного происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно покупают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их достоинством, хвастают и величаются? Будучи таким образом воспитываемы, едва силою необходимой наслышки научаются они объясняться тем всенародным языком, которой в общих разговорах употребителен; но каким образом могут они почерпнуть искусство и сведение в книжном или ученом языке, столь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих сообщения?

Для познания богатства, изобилия, силы и красоты языка своего, нужно читать изданные на оном книги, а наипаче превосходными писателями сочиненные: из них научаемся мы знаменованию и производству всех частей речи; пристойному употреблению оных в высоком, среднем и простом слоге; различию сих слогов; правильному писанию; красноречивому смешению славенского величавого слога с простым Российским; свойственным языку нашему изгибам и оборотам речей; складному или не складному расположению их; краткости выражений; ясности и важности смысла; плавности, быстроте и силе словотечения.

Волтеры, Жан-Жаки, Корнелии, Расины, Молиеры не научат нас писать по-русски. Выуча всех их наизусть, и не прочитав ни одной своей книги, мы в красноречии на русском языке должны будем уступить сочинителю Бовы Королевича. Весьма хорошо следовать по стопам великих писателей, но надлежит силу и дух их выражать своим языком, а не гоняться за их словами, кои у нас совсем не имеют той силы. От сего можно сказать безумного прилепления нашего к французскому языку, мы, думая просвещаться, час от часу впадаем в большее невежество, и, забывая природный язык свой, или по крайней мере отвыкая от оного, приучаем понятие свое к их выражениям и слогу. Мы беспрестанно твердим о множестве разного рода книг и превосходных сочинений, изданных французами, и жалуемся, что мало имеем их на своем языке; но те ли способы употребляем, чтоб до них достигнуть, или их превзойти? В самом деле, кто виноват в том, что

мы во множестве сочиненных и переведенных нами книг имеем весьма немногое число хороших и подражания достойных? Привязанность наша к французскому языку, и отвращение от чтения книг церковных. Французы прилежанием и трудолюбием своим умели бедный язык свой обработать, вычистить, обогатить и писаниями своими прославиться на оном; а мы богатый язык свой, не рача и не помышляя о нем, начинаем превращать в скудный. Надлежало бы взять их за образец в том, чтоб подобно им трудиться в созидании собственного своего красноречия и словесности, а не в том, чтоб найденные ими в их языке, нисколько нам не сродные красоты, перетаскивать в свой язык.

Рабственное подражание наше французам подобно тому, как бы кто, увидя соседа своего, живущего на песчаном месте и трудами своими превратившего песок сей в плодоносную землю, вместо обрабатывания с таким же прилежанием тучного чернозема своего, вздумал удобрять его перевозом на оный бесплодного с соседней земли песку. Мы точно таким образом поступаем с языком нашим: вместо чтения своих книг, читаем французские; вместо изображения мыслей своих по принятым издревле правилам и понятиям, многие веки возраставшим и укоренившимся в умах наших, изображаем их по правилам и понятиям чуждого народа; вместо обогащения языка своего новыми почерпнутыми из источников оного краснотами, растлеваем его не свойственными ему чужестранными речами и выражениями; вместо приучения слуха и разума своего к чистому Российскому слогу, отвыкаем от оного, начинаем его ненавидеть и любить некое невразумительное сборище слов, нелепым образом сплетаемых. Сверх сей ненависти к природному языку своему и любви к французскому, есть еще другая причина, побуждающая новомодных писателей наших точно таким же образом и в словесности подражать им, как в нарядах.

Я уже сказал, что трудно достигнуть до такого в языке своем познания, какое имел, например, Ломоносов: надлежит с таким же вниманием и такую же грудку русских и еще церковных книг прочесть, какую он прочесть, дабы уметь высокою славенский слог с просторечивым Российским так искусно смешивать, чтоб высокопарность одного из них приятно обнималась с простотою другого. Надлежит долговременным искусом и трудом такое же приобрести знание и силу в языке, какие он имел, дабы уметь в высоком слоге помещать низкие мысли и слова, таковые, например, как: рыкат, рыгать, тащить за волосы, подгнет, удалая голова, и тому подобные, не унижая ими слога и сохраняя всю важность оного. Надлежит иметь воображение, изощренное чтением, и память, обогащенную знанием слов, дабы уметь составлять подобные сим стихи:

*Мне всякая волна быть кажется гора,
Что с ревом падает, обрушась на Петра.*

Какое подобное падению и шуму волны, падение и шум в стихе! Что может быть величественнее сего описания:

*Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось меж валов,
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудный при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.*

Какое сладкогласие и чистота слога в двух последних стихах! Верьте после сего несомненной истине писателей наших, что ныне токмо образуется прият-

ность слога, называемая французами *elegance*! Везде глубокое знание языка показуется в цветах, рождающихся под живописною кистию сего великого Стихотворца. Подобная сему осмотрительность показывает, с каким тщанием старался он наблюдать ясность и чистоту слога. Во всех его сочинениях видно соединенное с пылким воображением ума сильное в языке знание, которое приобрел он неусыпным в словесности упражнением.

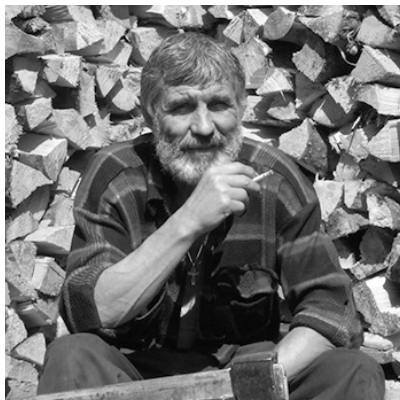
Таковое прилежное чтение Российских книг отнимет у нынешних писателей драгоценное время читать французские книги. Возможно ли, скажут они с насмешкою и презрением, возможно ли трогательную Заиру, занимательного Кандида, милую Орлеанскую девку променять на скучный Пролог, на непонятный Несторов Летописец? Избегая сего труда, принимаются они за самой легкой способ, а именно: одни из них безобразят язык свой введением в него иностранных слов, таковых например как: моральный, эстетический, эпоха, сцена, гармония, акция, энтузиазм, катастрофа и тому подобных. Другие из русских слов стараются делать не русские, как например: вместо будущее время говорят будущность; вместо настоящее время — настоящность и проч. Третьи французские имена, глаголы и целые речи переводят из слова в слово на русский язык; самопроизвольно принимают их в том же смысле из французской литературы в Российскую словесность, как будто из их службы офицеров теми ж чинами в нашу службу, думая, что они в переводе сохраняют то ж знаменование, какое на своем языке имеют.

Например: *influence* переводят влияние, и несмотря на то, что глагол вливать требует предлога в: вливать вино в бочку, вливает в сердце ей любовь, располагают нововыдуманное слово *сие* по французской грамматике, ставя его по свойству их языка, с предлогом на: *faire l'influence sur les esprits*, делать влияние на разумы!?. Подобным сему образом переведены слова: переворот, развитие, утонченный, сосредоточить, трогательно, занимательно, и множество других. Главная причина, к какой многие нынешние писатели относят необходимость рабственного подражания их французам, состоит в том, что они, читая французские книги, находят иногда в них такие слова, которым, по их мнению, на нашем языке нет равносильных, или точно соответствующих!.. Что ж до того? Неужли без знания французского языка не позволено быть красноречивым? Мало ли в нашем языке таких названий, которых французы точно выразить не могут? Милая, гнусный, погода, пожалуй, благоутробие, чадолюбие и множество сему подобных, коим на французском языке конечно нет равносильных; но меньше ли чрез то писатели их знамениты?

Многие ныне, почитая невежество свое глубоким знанием и просвещением, презирают славенский язык и думают, что они весьма разумно рассуждают, когда изо всей мочи кричат: неужели писать *аще*, *точию*, *вскую*, *уне*, *поне*, *распудить* и проч.? Таких слов, которые обветшали уже и место их заступили другие, толико же знаменательные, конечно нет никакой нужды употреблять; но дело в том, что мы вместе с ними и от тех слов и речей отвыкаем, которые составляют силу и красоту языка нашего. Как могут обветшать прекрасные и многозначашие слова, таковые например, как: *дебелый*, *доблесть*, *присно*, и от них происходящие: *одебелеть*, *доблий*, *приснопамятный*, *приснотекущий* и тому подобные? Должны ли слуху нашему быть дики прямые и коренные наши названия, таковые, как: *любомудрие*, *умоделие*, *зодчество*, *багряница*, *вождеделение*, *велелепие* и проч.? Чем меньше мы их употреблять станем, тем беднее будет становиться язык наш, и тем более возрастет невежество наше; ибо вместо природных слов своих и собственного слога мы будем объясняться чужими словами и чужим слогом.



СЕРГЕЙ ЧЕПРОВ



И встала Русь, светла и богомольна

Стихи из сборника «Молитвы русских поэтов XX-XXI»

От редакции: По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в издательстве «Вече» вышла антология стихов «Молитвы русских поэтов», где четырнадцать стихотворений автора журнала «Сибирь» Сергея Чепрова. Эти стихи мы ныне и предлагаем нашим читателям.

Мотыльки

Порхая в ночи мотыльками,
Спешим на губительный свет.
А после разводим руками,
Когда уже выхода нет.

В полшаге всего от порога,
Куда добровольно — нельзя,
Мы вдруг вспоминаем про Бога,
Молитву Ему вознося.

За грешное, бренное тело,
За душу, что еле жива,

Мы молимся так неумело,
С трудом подбирая слова.

Откуда молитва исходит?
С каких позабытых стихий?
Но Он наши беды отводит
И наши прощает грехи...

И, только отхлынут печали,
Мы вновь устремимся во тьму,
Забыв, что себе обещали
И что обещали Ему.

ЧЕПРОВ Сергей Васильевич родился в 1951 г. в г. Бийске. После окончания филологического факультета Бийского педагогического института (ныне педагогическая академия им. В.М. Шукшина) и службы в Советской армии пошёл на завод Сибприбормаш рабочим. Стихи печатались в местной прессе. Автор поэтических сборников «*Душа моя непутёвая...*» (2007), «*Когда болит...*» (2009) и других. Публиковался в московских журналах «Роман-журнал 21 век», «Новая книга России» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Тамани.

* * *

С уставшими глазами,	А сердцу просветлиться,
С нескладною судьбой,	Да снять с души печаль,
Я здесь, пред образами,	Всего-то — преклониться,
Как сам перед собой.	Всего-то — помолчать.

И сам себя ругаю,	Что жито-пережито,
Что нить живую рву,	Всё где-то... А сейчас
Что редко забегаю,	Нескладная молитва
Мол, далеко живу...	Да тонкая свеча.

На исповеди

— Грешен, сын мой? — Ох, батюшка, грешен,
Коли душу пришёл лечить.
Всем земным грехам был подвержен.
И в делах, и в мыслях не чист.

Сам себя всё корил, а толку?
Только больше по Свету тоска.
Грешен, батюшка, что так долго
Я сюда дорогу искал.

Грешен, коли совсем не слушал
Мудрых слов, что твердила мать.
Грешен, батюшка, коли душу
Слишком поздно стал узнавать.

Каюсь! Каюсь! Хоть не пристало
Мужу щёку слезою жечь.
А великий грех или малый,
Всё одно — заноза в душе.

Грешен, коли гордыню тешил:
Сам себе и король, и шут..
Грешен, батюшка. Как не грешен,
Коль покоя не нахожу.

* * *

И вознеслись под куполом раздольно	А святость ты какой измеришь мерой?
Святых молитв чистейшие слова.	Все веруем, хотя не без затей.
И встала Русь, светла и богомольна.	И пусть в Великий Пост чуть слабнем верой,
И, может, потому еще жива.	Но в Пасху нет народа нас святей!

* * *

А Русь моя всегда была светла	Ведь Вера — это совесть души,
Тем, что свеча не гасла пред иконой,	Как средь болот спасительная тропка.
Тем, что сияли в небе купола	
И плыли вдаль малиновые звоны.	Вот потому и холодно живем:
	Жестокость слов и безответность сердца...
Но в сумраке неверия и лжи	Душа без Веры — как без печки дом.
Мерцанье свеч так тускло и так робко.	Ни приютиться в нём, ни обогреться.

Дивный свет

В реке луны дрожащий след,	В ночной тиши, в лесной глуши
Чуть слышный шёпот леса...	Смотрю на это чудо.
И этот чистый дивный свет	Ни фонарей здесь, ни машин,
Из-под земли? С небес ли?	А дивный свет откуда?
Как всё устроено мудро:	Ты в книжках не ищи ответ.
Речушка, лес, опушка	Несовершенно знание.
И деревушка под горой	А этот чистый дивный свет —
Со старою церквушкой.	Есть Святости Сияние.

* * *

Чем дольше жизнь, тем более утрат.
Чем выше дерево — листвы опавшей больше.
А беззаботность ясного утра
Уже к закату прозревает болью.

Когда в конце пути лишь холм земли
С крестом, в сугробе на века уснувшим,
Задумаешься: стоит ли пылить,
Сбивая ноги в кровь и рана душу.

Но в шорохе опавшего листа
О вечности молитвенная Вера.
Без Веры жизнь — всего лишь маета
Сухой былинки под холодным ветром.

Я этой жизни, хоть какой, но — рад,
Когда постиг, что мне не кануть в небыть.
А на земле чем более утрат,
Тем больше обретений там, на небе.

* * *

Только станет утро розоветь,
Испокон веков по всей Руси
Золотые маковки церквей
Густо прошивают неба синь.

Эти бреши меж небесных плит,
Полные печалью земли,
Будто бы каналы для молитв,
Чтоб до Бога побыстрее дошли.

Словно бы врасаю на века
В пол, что весь коленями истёрт,

Просит мать-старушка за сына,
Что пути никак не обретёт.

Женщина, как тень у алтаря,
Нагулявшись в молодости всласть,
Чтобы всё же жизнь прошла не зря,
Просит ей ребёночка послать.

Тусклый свет под куполом разлит.
Льётся шёпот, губы шевеля.
Если б этих не было молитв,
В горе утонула бы земля.

К заутрене

Со своими вечными несчастьями
И такими редкими успехами
Мы всё чаще к Богу обращаемся.
А к кому ещё? Да больше не к кому.

По морозцу я спешу к заутрене
В светлый храм с извечными вопросами:

Кто я? Иль частица Бога мудрого,
Иль случайная песчинка космоса?

В тишине под взглядами иконными
Я в сторонке с тоненькою свечкою
Встану с головою преклонённою
И забуду про вопросы вечные.

* * *

Чада суетливых одиночеств,
Сохранив способность лишь просить,
Мы вызываем к небу: «Авва, Отче!
Чашу эту мимо пронеси!»

Просьбы наши достигают Бога.
Видно, поделом и по делам,
Чашу нашу передав другому,
От другого — преподносит нам.

Лишь Христос, поняв всю суть страданья,
И не зная фразы «Чур меня!»,
Словно Агнец Божий на закланье,
Шёл к Голгофе, голову склоня.

За тысячелетия измельчавши,
Боль не в силах на себя принять,
Так и будем горестные чаши
Мы по кругу вечному гонять.

Молитва

Чтоб до ста лет смотреть на белый свет
С душою чистой и со взором ясным,
Храни меня, Господь, от всяких бед.
Но ещё больше, Боже, от соблазнов.

От слова злого да от куража,
От алчности, что разъедает душу,
От зависти, что точит, словно ржа,
Тем паче сохрани от равнодушья.

Что на глазах — лишь руку протянуть
И взять, — увы! — так зыбко и так тленно...
Дай силы мне пройти нелёгкий путь.
И сохрани от глупости и лени.

* * *

Как словом сладким мысль свою ни ласть,
Какой ни корчи из себя особы, —
Просить, молить, ещё поплакать властью —
Вот всё, на что стих грешника способен.

Но строки, коих не коснётся тлен —
То Божий Глас, то Музыка Вселенной,
Что поднимает сломленных с колен,
Неверующих — ставит на колени.

* * *

От горя сердце просто выгорает,
А нам твердят с усмешкою про рай.
Я вижу, как Россию тянут к краю.
И вот уже он близок, этот край.

Всё кончено! — лукаво бесик шепчет.
Не слушаю. Не верю. Не смирюсь.

Ни снадобья, ни палочки волшебной
Нет у меня. И потому — молюсь.

Насколько хватит времени и силы,
До вздоха до последнего молю:
Всевышний Боже, не оставь Россию,
Несломленную, горькую мою!

* * *

Мы все — только с боку припека.
Послушно бредущие вслед...
Коль первое слово — от Бога,
То Бог есть и первый поэт.

Сколь нами словес не излито,
Не брошено в суетный свет,
Всё ж главное слово — Молитва.
И выше поэзии нет!



АЛЕКСАНДР ВИТКОВСКИЙ



Царица Агриппа

РАССКАЗ ИЗ ПОВЕСТВОВАНИЯ

Март ещё не набрался весенней силы. Холодная ночь вычёсывала голыми ветвями деревьев низко стелющуюся над землёю облачную кудель, ветер кудрявил её, свивая снежные локоны в льдистую пряжу, и доживавшая последние недели старуха-зима продолжала ткать застывшей земле белый саван в надежде хоть как-то продлить свою годину и до апреля не пускать в Москву тепло.

К утру стало тихо, прозрачно и морозно.

Анастасия Александровна пораньше вышла из дома, чтобы по короткой дороге в школу завернуть в парк, насладиться такой редкой в столице снежной чистотой и свежестью, услышать хруст снега и журчание мелкой, но не замерзающей даже в самую студёную пору быстрой речушки со странным названием Раменка.

Забинтованная на несколько месяцев метелями, укрытая по берегам снегом, по-девичьи стыдливо скрывала речка свою шелудливую городскую нечисть, лишь

ВИТКОВСКИЙ Александр Дмитриевич, журналист, прозаик, родился в 1953 г. в Иркутске, окончил Иркутский государственный университет. Кандидат психологических наук, полковник в отставке. Работал учителем русского языка, литературы, истории и обществоведения в средней школе с. Баклаши Иркутской области. После окончания университета призван в органы государственной безопасности. За годы службы занимался оперативной деятельностью, преподавал в Академии ФСБ РФ, был главным редактором единственного в стране журнала российских спецслужб «Служба безопасности — новости разведки и контрразведки». Автор детективного романа «За пять минут до ядерной полуночи», вызвавшего огромный читательский интерес. Живет в Москве.

в зиму дивно преображаясь, подобно сказочной Снегурочке, а по весне бурными тальми водами пыталась смыть выступавшую грязь и струпья, очиститься от скверны. Да только не получалось это. Лишь проступало ласковое тепло, русло вновь забивалось отбросами и хламом людского непотребства. И торопно бежала Раменка, когда-то полноводная, чистая и лучистая, а теперь срамная, помойная и хлоридно-желтушная, боязливо чураясь стороннего глаза, стыдясь и стесняясь своей негожести и неухоженности, и текла не журча, а плача, уродуя и без того неброскую красоту свою гнойниками человеческого свинства, — запинаясь о старые автопокрышки, путаясь в рваных полиэтиленовых пакетах, карябаясь ржавым железом, напарываясь на битое бутылочное стекло.

Несколько лет подряд в последний учебный день мая Анастасия Александровна вместе с учениками своих классов пыталась помочь речушке — в десятки рук собирали по берегам мусор, как могли, чистили русло, вытаскивая из воды всяческое барахло и пакостную дрянь. И благодарила их Раменка, чем могла: красивыми камешками, черепками старинной глиняной посуды и даже — о чудо — позеленевшей от времени медной монеткой: ведь ещё в XI–XIV веках по её берегам селились вятичи, до сих пор сохранились места их погребений — курганы. А вот непролазно-тёмный хвойный лес — рамень, давший имя речке, исчез, как не бывало. До недавнего времени вращалась избами в берег деревня Раменки, по которой и назвали сначала улицу, а потом и самый большой район на Западе Москвы, поглотивший невеликое сельцо.

Теперь здесь был парк «50-летия Октября», который недавно получил статус особо охраняемой природной территории, и усилиями городских властей речушка стала понемногу облагораживаться, оживать.

Школа — типовая постройка начала восьмидесятых годов, стояла на косогоре. Три этажа, двор-каре, высокое парадное крыльцо смотрело сквозь арку в парк. Давным-давно, устраиваясь сюда на работу, Анастасия Александровна получила пять девятых классов. И каких классов! Умницы, великолепно успевавшие едва ли не по всем предметам и просто влюблённые в литературу. Это были те времена, когда школы назывались школами, а не ГБОУ, демографический крест ещё не втоптал Россию в глубокую яму, и десятилетки не испытывали недостатка в учениках. Одних только первых классов в некоторых школах микрорайона было девять — если по буквам, то от «А» до «И».

Так получилось, что Агриппина Васильевна — великолепная учительница-словесник, проработавшая в этой школе со дня её открытия, уходила на пенсию. Ветерана и заслуженного учителя РСФСР никто не выживал, не подсигивал, наоборот: и директор и родительские комитеты классов уговаривали поработать ещё хотя бы пару годков — довести всю параллель девятых, а затем — и выпускные десятые классы. Но возраст — шестьдесят с хвостиком, трудное военное детство в далёком сибирском городе и долгое учительство в школах на комсомольских стройках — брали своё. Она уже часто болела, но пока могла — приходила и вела уроки, преодолевая недуг. Однако болячки оказались сильнее, а халтурить — сидеть на больничном, получая зарплату (подумать только, в годы «советского застоя» государство полностью оплачивало больничный!!!) и перекладывая работу на плечи других учителей, она просто не могла, да и не умела.

Узнав, что в школу на её место принимают нового учителя русского языка и литературы, которой передают всех девятиклассников, она сама, невзирая на свой авторитет и возраст, подошла к новому педагогу и, бережно взяв коллегу под локо-

ток, около двух часов наматывала с ней круги по периметру школьного коридора, а потом и по парку, рассказывая о своих учениках, поимённо характеризуя едва ли не каждого, его сильные и слабые стороны, методику своего преподавания, хорошо и не очень усвоенные классами темы, способы выстраивания, а не выяснения отношений с проблемными чадами и их родителями и ещё многое-многое из того, о чём могут подолгу говорить два заинтересованных человека, бесконечно влюблённых в детей, русский язык, литературу и свою работу.

С того памятного дня конца августа они стали почти друзьями. Поначалу Агриппина Васильевна довольно часто приходила в школу попроведовать своих бывших учеников, узнать об их успехах и проблемах, подсказать что-то своей приемнице и даже посидеть на открытых уроках. Она просто не могла жить без школы, которой отдала столько лет и сил. И чувство ответственности за последний набор своих учеников, которых она вела с пятого класса, не позволяло ей взять, и вот так, в один момент бросить «этих желторотых птенчиков», многие из которых были ростом уже выше её.

На первых порах Анастасия побаивалась этих визитов — дети, особенно старшеклассники, весьма ревностно, а порой и предвзято относятся к новому учителю, невольно сравнивая его со своим прежним наставником, в котором души не чаяли. И чем больше они любили старого, тем труднее было новому преподавателю, и не всегда гладко привыкают школьники к другим требованиям, методике и стилю обучения. И в чём причина: привычка, ревность, привязанность, любовь?.. — да кто ж его разберёт. Но Царица Агриппа — так ученики звали между собой свою бывшую преподавательницу, деликатно и ненавязчиво делала всё для того, чтобы трудный период выстраивания добрых отношений между классами и новым учителем прошёл быстро и без особых проблем.

В её облике и правду было что-то царственное: рост, осанка, достоинство, манера говорить и лицо, которое запоминалось с первого взгляда — гордое, но не надменное, величавое, но не спесивое. Никому и в голову не приходило назвать её уменьшительно-ласкательным именем Груня. Только она умела царственным жестом вызвать баловника-неуча к доске, которая в тот момент становилась для него плахой, и путь по классу на эшафот был для двоечника долгим и тягостным. Но именно эта дорога приводила многих подопечных ей шалопаев к звёздам.

Учтивость и тактичность Агриппы порой изумляли Анастасию: прежде чем навестить в школу, она обязательно звонила и не просто ставила в известность о своём приходе, а предупреждала, словно извиняясь, разрешения спрашивала — мол не помешаю ли, не оторву ли от срочных дел, будет ли время поговорить... И через два года — на последнем звонке, а потом и на выпускном, они стояли рядышком, держа огромные букеты цветов, и, счастливые успехами своих выкормышей, принимали искренние слова благодарности, украдкой смахивая растроганные слёзы.

Ещё через пару месяцев, в канун первого сентября, когда пряным мёдом на языке таяло лето, и уже состоялся августовский педсовет, где среди прочих новостей становилось известно, кто из выпускников в какой вуз поступил, Агриппина Васильевна вновь добралась до школы, чтобы узнать последние события, связанные со «своими детьми». Увы, но со временем её визиты становились всё более редкими и сводились к ежегодному октябрьскому чаепитию в учительской за счёт профсоюзных средств в день пожилых людей, да волнующему свиданию раз в пятилетку в день встречи выпускников. С годами и эти связи увяли, а ещё через

несколько лет и вовсе оборвались; в школе об учителях-пенсионерах совсем забыли — администрация нового, постиндустриального времени была озабочена делами куда более насущными: отчётами о росте успеваемости и использовании инновационных технологий обучения, реструктуризацией да эффективным финансовым распилом бабла среди своих, и менее всего помышляла о давно «отработанном материале». И только Анастасия Александровна да кто-нибудь из прежних учеников нет-нет, да и заглядывали домой к старенькому преподавателю. А потом эти встречи стали ещё более редкими: чума постперестроечной поры, новая экономическая ситуация и глобализация расшвыряли бывших учеников по стране и миру, а постоянная занятость Анастасии, увеличение нагрузки и рост административных требований не давали ни вздохнуть, ни продохнуть. Конечно, был телефон, а потом и скайп, но старая преподавательница не любила такого виртуального общения. Как можно беседовать о чём-то важном, когда не видишь глаз собеседника? Не разговор это, а так, передача информации и не более того. И всё же, как минимум два раза в год — на профессиональный учительский праздник и в день рождения Царицы Агриппы — Анастасия звонила в знакомую дверь и за чашкой чая и купленным по пути тортиком проводила полтора-два, а то и три часа в душевных разговорах с угасающей старостью, с грустью отсчитывая очередные, трудно прожитые Агриппиной Васильевной полгода-год, количество которых уже перевалило на девятый десяток.

Вот и сейчас, сразу после женского дня, Анастасия пораньше закончила свои школьные дела и торопилась с только что купленным тортиком и небольшим букетом к знакомой хрущёвке, чтобы по-домашнему, совсем не по-царски поздравить Царицу Агриппу с первым весенним праздником и днём рождения.

Зима в этом году выдалась скупой на белых мух, а март расщедрился — снежная стынь. Непроглядь и муть вечернего полумрака таинственно мерцала неоновыми бликами снега и берёз, резалась кринолином света уличных фонарей.

— Вот, наконец-то ты пришла, — приветливо улыбнулась Агриппина Васильевна, открыв дверь. — А то я уже все жданки съела. Проходи, снимай пальто.

Прошедшие полгода ещё больше иссушили старушку, пригнули к земле. Но она не сдавалась, всю хворь и боль зажав в кулак. Всё то же лицо, только ещё больше испещрённое кракелюром морщин, так же гладко зачёсанные и собранные на затылке в небольшой узелок седые до прозрачности волосы, очки, вручную подогнанное по исхудавшей и ссутулившейся фигуре старенькое, но опрятное платье, теплые вязаные носки, новенькие домашние тапочки: очевидно, хозяйка готовилась к приходу единственной гостьи, и скромный наряд — всё, чем именинница могла порадовать и себя и долгожданного визитёра на свою хорошую, но маленькую пенсию. От хронического безденежья её кошелек уже давно пребывал в состоянии блокадной худобы, переходящей в клиническую дистрофию.

Она почти не выходила из дома — так, посидеть чуть-чуть в погожий день на лавочке возле подъезда — не для того чтобы слушать сплетни докучливых соседей, а просто посмотреть на резвящихся в детском городке малышей, — её-то окно выходило на улицу с потоком машин, а не во двор. Старость не превратила её в капризную, опустившуюся и сварливую бабку; она уже давно жила одна, и не перед кем было выёживаться, демонстрируя свою вредность, которой, впрочем, и в помине не было.

Так одиночество доживало свой долгий и трудный век в интерьере книг, которые снизу доверху заполнили крошечную квартиру, лекарств, телевизора, да

бэушного ноутбука, подаренного кем-то из бывших учеников. Кроме мудрого венценосного взгляда в старенькой учительнице уже не осталось почти ничего монаршего, но она продолжала царствовать в своём однокомнатном королевстве: смиренно и кротко в обители прожитых лет и воспоминаний.

Как всегда, они сидели на кухоньке размером с кофейную чашку, только квадратную, пили крепкий чай с молоком и говорили-говори-говори... Сохранив ясный ум и светлую память, Агриппина Васильевна была удивительно интересным собеседником. Одиночество не сделало её, как большинство стариков, болтливой, скорее наоборот — сосредоточенной и самоуглублённой в своём пенсионном сиротстве. Она всегда умела прекрасно слушать, и сейчас страдала лишь от того, что не было у неё душевного собеседника, с которым можно было бы поделиться тем огромным запасом энциклопедических знаний, которые она хранила в своей голове и продолжала накапливать, читая и перечитывая — уже с увеличительным стеклом в руках — свою большую библиотеку, заново открывая всё новые и новые нюансы давно знакомых книг зарубежной, русской и советской классики, время от времени сверяя свой интеллектуальный багаж с изысками интернета.

— Как житьё-бытьё? — спросила, чтобы начать разговор, Анастасия.

Все поздравления и пожелания здоровья, — а что ещё можно пожелать в эти годы, кроме тривиального и несбыточного, но так необходимого здоровья и благополучия — были высказаны ещё у порога, и хрестоматийно учтивый вопрос был просто данью неписаному ритуалу.

— Житьё — битьё, голод — не тётка, бессонница — плетка: от всего ворочаешься, уснуть не можешь. А так, всё хорошо. Диагноз — патологически неизлечимо здорова, — сострила Агриппина. — Расскажи лучше, как у тебя дела? Что в школе нового?

— Вот, очередная инновация: из программы убрали «Русский характер» Алексея Толстого...

— Некоторые девчонки прямо на уроке плакали, когда мы этот рассказ читали...

— ... зато теперь «лагерная литература» в почёте, — поморщилась Анастасия. — Так что «Колымские рассказы» Шаламова, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына будем изучать...

— А зачем их в школе изучать? — Вопросом на вопрос ответила Агриппина. — Ведь не к лагерной жизни за колючей проволокой вы детвору готовите. Мне на русскую литературу XIX века часов всегда не хватало. Сорванцов надо учить понимать слово доброе, светлое, дивное — русское слово. Ну, а кому надо, те и так про зеков прочтут. — И, подумав немного, произнесла:

— Впрочем, знаешь ли, в России тюрьма и зона от себя так просто не отпускают...

Учительница вопросительно посмотрела на собеседницу. Она знала, что старушка прожила трудную жизнь, но какую?

— Я ведь после университета свою преподавательскую работу в колонии начала. — Хозяйка уловила немой вопрос в глазах гостьи и продолжила.

— Представляешь, первый мирный выпуск послевоенного победного набора. Хотелось всю вселенную до дна ладонями вычерпать. А меня с красным дипломом распределили в таёжную глухомань. Тайшет называется — это недалеко от твоей родины.

— Да-да, знаю.

— А там — знаменитый Озерлаг, где Лидия Русланова часть срока отбывала... Певца такая была в Советском Союзе знаменитая, в поверженном Берлине у стен Рейхстага концерт давала.

— Песню «Валенки» пела, — утвердительно мотнула головой Анастасия. — После войны её вместе с мужем-генералом арестовали. За космополитизм что ли... и мародёрство. Потом оправдали.

— Ох не суди... Она ведь после русско-японской войны без родителей осталась, со слепой бабкой по миру пошла христарadniчать. Потом и вовсе одна по приютам мыкалась. Голодное и нищее детство — на всю жизнь зарубка. Дар Божий — удивительной красоты и силы голос её спас. В тридцатые-сороковые годы она самой богатой артисткой СССР была, а к роскоши быстро привыкаешь. Вот и не удержалась, чтоб трофейного немецкого барахла не хапнуть... Не оправдываю, конечно, понять пытаюсь.

Она пригубила чашку, придерживая её подрагивающими руками.

— Короче, и меня туда же, на ту же зону — зекам русский язык и литературу преподавать... девчонку молоденькую, активистку, комсомолку. Ох и перетрусила я тогда. Отец ведь у меня тоже по 58-й сидел, хоть и реабилитировали его потом.

— И как же вы?

Хотя они давно называли друг друга по имени, и Агриппина обращалась к своей младшей коллеге на «ты», Анастасия предпочитала, как научилась ещё в своём пионерском детстве в Артеке: к старшим — по имени, но на «вы».

— Так вот отец меня и выручил. О своей жизни на зоне он никогда не рассказывал, а тут... Прочитал мне лермонтовское «Смерть поэта» на лагерном жаргоне.

— По фене что ли? — изумилась гостя.

— Ну да... С этого я и начала свой первый урок.

— Да неужели такое возможно!?

— Представляешь, захожу в лагерный клуб, где занятия проводились, а там — полсотни с лишним уголовников сидит и все на меня уставились: сами с головы до ног в наколках, зубами скрежешут и молоденькую учительницу просто догола глазами раздевают... Ну я и выдала...

— Агриппочка, миленькая, расскажите, — взмолилась гостя, не в силах сдерживать любопытство. — Не представляю, как может звучать на зековском аргоне «Погиб поэт! — невольник чести...»

— А вот так и будет:

*Урыли честного жигана
И фориманули пацана,
Маслина в пузо из нагана,
Макитра набок — и хана!*

— Боже мой! — гостя едва не поперхнулась чаем. — А дальше, дальше...

Хозяйка лукаво улыбнулась — хитринка солнечным зайчиком прищурила глаз — и продолжила:

*Не вынесла душа напряга,
Гнилых базаров и понтов.
Конкретно кипишнул бродяга,
Попер, как трактор... и готов!
Готов!.. не войте по баракам,
Нишкните и заткните пасть;
Теперь хоть боком встань, хоть раком, —*

*Легла ему дурная масть!
Не вы ли, гниды, беса гнали,
И по приколу, на дурняк
Всей вашей шоблою толкали
На уркагана порожняк?
Куражьтесь, лыбьтесь, как параша, —
Не снес наездов честный вор!
Пропал козырный парень Саша,
Усох босяк, как мухомор!*

Агриппина перевела дыхание.

— Предупреждаю, теперь будет совсем не литературный текст.

— Давайте-давайте, — не унималась гостя. — Мы уже взрослые девочки.

— Ну, слушай:

*Мокрушник не забздел, короста,
Как это свойственно лохам:
Он был по жизни отморозком
И зря волюной не махал.
А хуль ему?.. дешёвый фраер,
Залётный, как его кенты,
Он лихо колотил понты,
Лукал за фартом в нашем крае.
Он парафинил всё подряд,
Хлебалом щёлкая поганым;
Грозился посибать рога нам,
Не догонял тупым калганом,
Куда он ветки тянет, гад!*

— Ну и?.. — не сдерживала пылающего любопытства учительница. — Ведь там дальше у Лермонтова прямое обличение власти:

*Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..*

И Агриппина, словно подхватив поэтическую эстафету золотого XIX века русской литературы, перенесла её через лагерные бараки сибирского ГУЛАГа XX столетия прямоком в российскую столицу нового тысячелетия:

*Но есть ещё, козлы, правилка воровская,
За все, как с гадов, спросят с вас.
Там башили и отмазы не канают,
Там вашу вшивость выкупят на раз!
Вы не отмашетесь ни боталом, ни пушкой;
Воры порвут вас по кускам,
И вы своей поганой красной юшкой
Ответите за Саню-босяка!*

— Bravo! — Не удержала свой восторг гостя и, как девчонка, захлопала в ладоши, имитируя бурные и продолжительные аплодисменты.

— Благодарю, — хозяйка театрально развела руки, затем сценично прижала их к впалой груди и, улыбаясь, игриво склонила голову в лёгком поклоне.

— А вот овации на зоне были запрещены, и свой восторг урки выразили топотом ног и урчанием сквозь сомкнутые губы. Знаешь, такой вот не то гудёж, не то вой, не то рёв какой-то, а откуда звук доносится — непонятно.

— И как на это отреагировало начальство лагеря?

— Ты не поверишь, но меня через два дня в оперчасть вызвали. Я тогда уже и с волей попрощалась. Сетку-авоську со сменой чистого белья приготовила и трёхдневным запасом продуктов. А там опер-гебист — такой душевный мужик оказался — фронтовик, седой весь, с одной рукой. Даже не спросил, откуда я такие стихи знаю — видимо, справки уже навёл про отца. Попросил только переписать ему это стихотворение и посоветовал, чтобы я не заигрывала со «спецконтингентом». Ну я и не заигрывала. По полной с них спрашивала и русский, и литературу. Даже двойки ставила, когда заслуживали.

— Так ведь уголовники чёрт-де что с вами сделать могли в отместку...

— Могли. Опер мне рассказал ещё, что предыдущая училка и месяца не проработала — сбежала, — так её зеки достали.

— А вы?

— Я все три положенных года оттарабанила: от звонка до звонка и даже чуть больше. Меня отпускать не хотели. Четыре лишних месяца продержали. Спасибо тому чекисту: подсказал, чтобы я заявление руководству колонии написала: так мол и так — положенный срок отработала, а теперь замуж выхожу, жених в другом городе проживает. Так и уехала, хотя никакого жениха и в помине не было.

— А ученики как? В смысле отсидошники?

— Как на духу говорю: проблем с дисциплиной на занятиях у меня никогда не было. Сидели, как шёлковые. Тишина, словно ночью в церкви при покойнике: слышно, как душа отходит, а муха проползёт — словно копытами по барабану. Успеваемость, конечно, разная была. Они больше слушать любили, чем сами отвечать. Но диктанты и сочинения без мата и фени писали. Уже хорошо... Недели через три опять меня опер вызвал. Рассказал, что на своём общаке уголовники постановили меня не трогать и в обиду никому не давать. Оперативная работа там прекрасно была поставлена, чекисты всё про внутрилагерную жизнь знали. Но в те годы лишь один человек по этой зоне свободно ходил и никого не боялся — местный доктор. Ну и я второй такой смелой оказалась... Через год, правда, подкараулил меня какой-то бандюк из вновь прибывшего этапа. Я тогда едва жива осталась — спасибо, охранники с собакой случайно рядом оказались, выручили. А уркагана того через месяц, когда он из карцера вышел, мёртвым нашли. Бревном его придавило. Происшествие списали на несчастный случай, а опер мне по секрету шепнул: свои его порешили — ослушался, мол, воровского закона, вот и поплатился. Нравы за колючкой суровые...

— Расставались с заключёнными, небось, со слезами, — улыбнулась гостя.

— Слёз, конечно, не было. Но о том, что я уезжаю, они раньше меня узнали. У них тоже свои осведомители кругом были, и зековский телеграф исправно стучал. На последнем занятии лагерники попросили, чтобы я им стихи Есенина читала. Откуда они про него знали? Ведь он тогда почти запрещённым был. А у меня и сборника с собой не было, так и декламировала все сорок пять минут наизусть. В конце урока они, представляешь, мне икону подарили, сами из дерева вырезали — святую великомученицу Анастасию Узорешительницу — заступницу всех

заключенных... Как они умудрились её сделать? До сих пор понять не могу, ведь ножи-то им строго-настрого запрещалось иметь. Я и сейчас её храню. Вон она, рядом с Казанской иконой Божьей Матери...

Агриппина перекрестилась. Перекрестилась и Анастасия, затем поднялась и вышла в комнату, чтобы лучше рассмотреть в красном углу божницу с небольшим иконостасом. В тлеющем свете лампы смотрела на неё с кедровой доски молодая большеокая женщина в хитоне и мафории. Ни в православии, ни в католицизме нет строгого канона изображения этого образа, но по кресту в правой руке и небольшому сосуду с узким горлышком в левой Анастасия уже давно и без труда узнала свою небесную покровительницу. Однако всё никак не могла спросить у хозяйки, откуда эта искусная и тонкая резьба, которую с точки зрения традиционного православного установления всё-таки лишь с большой натяжкой можно было назвать иконой. Одухотворённых ликов великомученицы и в богатых одеяниях знатной римлянки, и в простом чепце, и с венцом на голове, и с покровенной левой рукой, и с открытой дланью, обращённой к молящемуся, и со свитком, и с Библией, писанных в различной цветовой гамме мастерами каппадокийской, московской, новгородской, псковской иконописных школ, она видела много. Но эта аскетично тусклая икона с заморёно-тёмным, почти обугленным фоном и теплым ликом древесной желтизны с пробелами и тенями годовых колец поражала и очаровывала. Сострадание и вспоможение скорбящим христианским узникам, покровительство беременным и воспособление при родах, выбор пытки вместо богатства, чистота и непорочность, от которой слепли и гибли насильники, чудесное спасение несчастных узников на корабле с пробитым днищем — всё было в этом образе.

Гостья троекратно перекрестилась, поклонилась.

— А почему икона в раме, будто вытесанной из четырёх столбов? — Спросила учительница, вернувшись на кухню.

— По преданию Анастасию распяли между четырёх столбов и сожгли заживо.

— А я читала, что по приказу Диоклетиана ей голову мечом отсеки, но даже перед смертью она не отреклась от веры Христовой...

Помолчали, каждый думал о чём-то своём.

— Наверное, и начну урок о литературе за колючей проволокой с рассказа о святой великомученице Анастасии Узорешительнице...

— Только не забудь, что у нас церковь отделена от государства, а школа — от церкви, — напомнила хозяйка. — Хотя, я слышала, что где-то в середине девяностых по благословению нашего Патриарха Алексия II доставили на космическую станцию «Мир» две иконы. И обе — Анастасии Узорешительницы. Одна была православная, другая — католическая. Наша, как и положено, на доске писана, католическая шита по ткани; и сам Папа Римский Иоанн Павел II благословил её.

— В космосе уголовники появились или беременные? — съязвила гостья.

— Не ёрничай, милая. Думаю, это был политический жест, символ общности христианских корней Востока и Запада. Ведь на станции работали международные экипажи.

Она умолкла и после недолгой паузы продолжила.

— Ты знаешь, что сделай, — возьми шире. Проведи обзорный урок по русской острожной литературе, только акценты расставь правильно. Начни с XVIII века, с Александра Радищева.

— «Путешествие из Петербурга в Москву» — и так программное произведение... если из списка ещё не вычеркнули.

— А ты вспомни главный философский труд этого мыслителя, который он в Илимском остроге написал.

— «О человеке, его смертности и бессмертии»?

— Вот-вот! Подумать только, это пишет дворянин, которого за «вредные умствования» осудили на казнь и в последний момент заменили смерть сибирской ссылкой... — Глаза старушки, глубоко запавшие от прожитых лет и нескончаемых хворей, блеснули восторгом. — Его мысль об особом качестве человека — умении беспрдельно совершенствоваться и безгранично развращаться — великого стоит. Особенно сейчас!

— Да уж, классика потому и классика — что на все времена...

— Те же декабристы. Сколько рукописей они оставили. Лунин, например. Готовил историю декабристского движения, за что и поплатился. То ли умер в тюрьме Акатуя, то ли убили. А какую замечательную библиотеку они в каторге собрали! Была там, кстати, такая занимательная история. Генерал-губернатором Восточной Сибири в то время служил м-м-м... — она потёрла лоб, пытаясь вспомнить фамилию.

— Лавинский, Александр Степанович, — напомнила Анастасия, сама обладавшая изумительной и цепкой памятью. — После восстания на Сенатской площади он участвовал в разработке циркуляра по надзору за проживанием декабристов на каторге и в ссылке.

— Точно, Лавинский. Так вот, по поручению Николая I, он должен был знакомиться со всеми книгами, которые декабристы получали на поселении. Ну, чтобы ересь какую или вольнодумство не допустить. И функции цензора генерал-губернатор исполнял отменно. А чтобы удостоверить сей факт, на форзаце каждого тома он собственноручно оставлял помету: «Читал. Лавинский». Но вскоре книг стало присылаться в Сибирь так много, что он физически не успевал их прочитывать, и в конце концов оставлял такой автограф: «Видел. Лавинский», — она хихикнула в кулачок. — Вот так цербер стал одним из самых просвещённых людей своего времени и после перевода в Петербург служил в Госсовете, стал действительным тайным советником. И это при том, что был незаконнорождённым сыном какого-то графа и карьеру начал почтмейстером в Вильно.

— Тогда в почёте знания были, теперь — междисциплинарные компетенции, — развела руками учительница и продолжила. — Чтение и вертухая облагораживает, а неволя писателя вдохновляет, даёт время подумать. Так что ли? Чернышевский за 77 дней в одиночке Петропавловки роман «Что делать?» создал. Пушкин сколько в ссылке написал! И как сознание Достоевского каторга перевернула! А Герцен... Маяковский тоже начал стихи сочинять в сто третьей камере Бутырского замка. Так что царская Россия — не только тюрьма народов, но писательский каземат, просветительский застенок, острог, куда через решётку музы проникают, каторга вдохновения, литературная шарашка...

— Не только Россия. Американец Уильям Портер свой первый рассказ под псевдонимом О. Генри тоже в тюрьме придумал... Чего уж тут... Об этом можно долго говорить и спорить... — вздохнула Агриппина. — Но лишь у нас XX век традицию продолжил и даже усугубил. Литература сплошь узилищная. Не по теме, конечно, по авторству. Кто только, где только и сколько ни сидел... А расстреляли сколько!?

— И какие имена! Гумилёв, Эфрон, Пильняк, Мандельштам, Кольцов, Гольдберг, Киршон, Артём Весёлый, Бабель... Цифру я где-то слышала: более четы-

рёхсот поэтов, прозаиков, журналистов и драматургов за годы большого террора уничтожили.

— Разные это были литераторы, и по творческому уровню, и по политическим убеждениям. Понятно, что революционной власти была нужна новая идеология. Её и насаждали, попутно разрушая старую, а тех, кто против или сомневался — на расстрел или в отсидку. И ведь что обидно до боли, моральный кодекс строителя коммунизма — та же нагорная проповедь, но...

— Как же проповедь!?! — не удержалась Анастасия. — Там «Не убий», и убивали. «Не судите, да не судимы будете», и судили...

— В том-то и есть великая трагедия: и судили, и казнили, потому что невозможно проповедь без Бога. А без сути божественной из проповеди получился кодекс... Идея-то благая была — создать рай земной. Не обитель богатства, роскоши и безделья, а горний край всеобщего равенства, братства, справедливости, труда на всеобщее благо, счастья и любви к ближнему, высокой нравственности.

— Утопия это... И нельзя ради всеобщего блага вот так просто взять и десятки тысяч людей в расход, — горячилась Анастасия. — Представляете, какой могла бы быть наша советская литература! Я вот недавно публицистику Евтушенко читала. Он процитировал всего одно двустушие: «...и по улицам кровь детей / текла просто, как кровь детей». А дальше отметил, что если бы автор за всю свою жизнь написал только эти две строчки, то уже мог бы считаться гением. Это о сборнике «Испания в сердце» чилийского поэта Пабло Неруды о гражданской войне в Испании.

— Ты это к чему?

— К тому, что, наверное, каждый писатель мог бы оставить нам в наследство хотя бы несколько бессмертных строк. А им не дали этого сделать...

— Власть тяжело с поэтами уживается. самого Данте Алигьери к костру приговорили, и ведь сожгли бы... Из-за этого он треть жизни в изгнании провёл, умер на чужбине, так и не увидев родной Флоренции. Весь мир его «Божественной комедией» восхищается, а подлинного портрета писателя так и не осталось...

Агриппина неспешно налила в опустевшую чашку заварки, разбавила кипятком, добавила молока и задумчиво посмотрела, как расплывается и окрашивается чайной желтизной белое дымчатое облако.

— А знаешь, что сказал Сталин, когда прочёл повесть Платонова «Впрок»?

— ???

— «Талантливый писатель, но сволочь». самого автора не арестовали, страшнее удумали: сыну его десятку влупили. Через два года парня освободили, а ещё через три, уже в войну, он умер от туберкулёза... в лагере заразу подцепил.

— Что делать... Литература должна была стать партийной, — вспомнила Анастасия когда-то знаменитую ленинскую фразу.

— Разные у нас были литературы. Интеллигентская «серебряного века» со своим упадническим декадансом, авангардно-эпатажным футуризмом, гранёным акмеизмом. А молодой советской республике не изысканная жеманность утончённой лирики для узкого круга эстетствующих аристократов была нужна, а пролетарский соцреализм для трудовых масс. В годы войны именно он породил свинцовую поэзию и прозу, на пожарах вскипевшую и со штыка народ вскормившую отвагой и ненавистью к врагу... Эх меня в пафос понесло, — усмехнулась Агриппина.

— Но, согласитесь, время отовсюду выбирало лучшие произведения.

— Так-то оно так, да не совсем так... Горят, горят, к сожалению, рукописи, и даже отпечатанные тиражи в топку летят. А самое главное — не дано нам знать, какие литературные шедевры могли родиться, если бы на колоде головы не секли, да к стенке людей не ставили... Шаламов и Солженицын хоть живы остались, а скольких — в расход, книги — под нож и забвение на многие годы, — сокрушалась Агриппина. — И ведь в чём парадокс! При старом-то при прижмем того же Бабеля должны были судить за порнографию и козунство. От тюрьмы его Октябрьская революция спасла. Спасла, чтобы расстрелять в 1940-м. — Она задумалась, вспоминая что-то. — Киршона ты вот упомянула. Он с 16 лет в Красной Армии, участник гражданской войны. Рупор пролетарских писателей! Борец за идеалы социализма! До войны его пьесы с аншлагами шли в лучших театрах СССР. Это он вывел на сцену героя-рабочего. А как искренне «классовых врагов» обличал — Булгакова, Лосева... Что в итоге? Самому только-только 35 лет исполнилось, как его арестовали — троцкист. До 36 лет он уже не дожил — расстреляли, потом реабилитировали. А что из его наследия осталось, что помним? «Я спросил у ясеня, где моя любимая...» в фильме «Ирония судьбы», — вот и всё...

— Михаилу Кольцову больше повезло. Его под именем Каркова увековечил Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол», — добавила Анастасия. — За репрессированным писателем мне всегда хотелось увидеть и понять человека, да, именно личность человека, который отбыл срок, не сломался и продолжал творить.

— Ой, примеров-то сколько угодно. Вспомни ту же Ольгу Берггольц. Кстати, её первый муж — Борис Корнилов, расстрелян в 1938. Тоже троцкист. Подумать только, поэта к стенке ставят, а вся страна песню на его стихи с задором горланит: «Нас утро встречает прохладой, / Нас ветром встречает река...», — напела она своим слабеньким голосом и закашлялась. Но, восстановив дыхание и уняв кашель, продолжила, подражая дикторам или конференсье тех давних лет: — «Песня о встречном». Музыка Дмитрия Шостаковича, слова на-род-ны-е... Вот так в смерти жизнь бьёт ключом...

— А слова, и вправду, народными стали...

— Потом и до Берггольц руки дотянулись. Было такое дело «Литературной группы» в Вятке. А её в Ленинграде в Большой Дом на допросы в связи с этим таскали, беременную. Из-за этого она в 1937 году ребёнка потеряла едва родившись, а через год прямо в камере родила, мёртвого...

— Бог мой...

Обе женщины перекрестились, молча поминая всех невинно убиенных.

— Вроде и недолго в тюрьме пробыла, меньше полугода, но чего это ей стоило, — продолжила Агриппина. — А ведь до этого у неё ещё две дочки умерли: одна в семь лет, другая в годик.

Анастасия слушала и не перебивала, хотя знала многое из того, о чём рассказывала именинница. Ей даже показалось, что, говоря о тюремных мытарствах знаменитой советской поэтессы, её старшая подруга думает о чём-то своём. Вот только о чём? Да какая разница... И учительница слушала, не мешая своей собеседнице говорить, и думать, и вспоминать.

— Её освободили, а через год она вступает в коммунистическую партию и вместе с мужем остаётся в осаждённом Ленинграде, хотя могла эвакуироваться. Муж через год умирает от голода, а она стихи пишет. И какие стихи — пронзительные до боли.

И, прикрыв глаза, будто в темноте видела голодом и кровью рождённые строки, стала читать:

*Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
— Сменяй на платье, — говорит, —
менять не хочешь — дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала...
И я сказала: — Не отдам. —
И бедный ломоть крепче сжала.
— Отдай, — она просила, — ты
сама ребенка хоронила.
Я принесла тогда цветы,
чтоб ты украсила могилу. —
... И, одержимая, она
молила долго, горько, робко.
И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик.
И сил хватило — привести
её к себе, шепнув угрюмо:
— На, съешь кусочек, съешь... прости!
Мне для живых не жаль — не думай.*

— Как всё просто, страшно и откровенно... Ни патетики, ни фальши, ни героики квасной, — вздохнула гостья.

— После войны её, кстати, критиковали — как раз за отсутствие героизма в стихах. А скажи мне, какой героизм может быть выше, чем у того шофера, который в стужу вёз хлеб в Ленинград через Ладогу, и двигатель заглох?

И опять, смежив веки, она стала читать по памяти фрагмент «Ленинградской поэмы»:

*И вот — в бензине руки он
смочил, поджег их от мотора,
и быстро двинулся ремонт
в пылающих руках шофера.
Вперед! Как ноют волдыри,
примерзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, пригонит
к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получают на заре —
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.
...О, мы познали в декабре —
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех —
хотя бы крошку бросить наземь.*

— А у нас тут в пятом классе чаепитие в честь 8 Марта устроили. — Вдруг вспомнила Анастасия, подчиняясь неведомым законам ассоциативного мышления. — Так эти «дети индиго», потомки «поколения пепси и жвачки» вздумали кусками торта бросаться... Насилу успокоили. И знаете, чем больше всего мамашки раздосадованы были?

— ???

— Тем, что новые платья кремом испачкали...

— Мне отец всегда говорил: «Боженька камушком ударит, если будешь хлеб бросать». Во время войны в далеком тылу нам, школьникам, по карточке 350 граммов хлеба давали и ещё 150 — на швейной фабрике, где мы наволочки и простыни для госпиталей строчили, потом научились шить нижнее бельё, гимнастёрки, галифе и даже шинели. В первый военный год девчонки шестых-седьмых классов там работали после занятий с трёх часов дня и до девяти вечера, мальчишки на военных заводах трудились... — И, возвращаясь к прежней теме разговора, вспомнила:

— Осип Манделштам от голода умер в пересыльном лагере в конце декабря 1938 года. Кажется, всего две недели не дожил до своего дня рождения. Хармс в тюремной больнице «Крестов» скончался.

— По нерасстрелянным статьям ещё около 250 писателей арестовали. Многие их них так и сгинули за колючкой, — подвела итог скорбному мартирологу Анастасия. — Мне иногда кажется, что если бы Христа распяли не в Иудее, а в России, то крест был бы сплошь утыкан гвоздями и увит колючей проволокой. А вместо надписи «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» — коротко и ясно: «Враг народа». И гора бы называлась не Голгофа, а Секирка.

— Слава Богу, всё-таки были те, кто выжил. Лауреатами госпремий становились, ордена, медали получали, теперь по их книгам детей учат, — не говорила, а словно размышляла вслух Агриппина. — Пришвин, Бианки, Чуковская, Рыбаков, Некрасов, Алешковский, Смеляков... Калмыцкий поэт Давид Кугультинов Героем Соцтруда стал... и это после десяти лет лагерей. Дмитрий Сергеевич Лихачёв тоже звание Героя получил и лауреата Сталинской премии. А до этого на Соловках нары грел...

— О-хо-хо... А Некрасов это который?

— Автор «капитана Врунгеля». Был такой советский аналог барона Мюнхгаузена, только моряк. Ребяшня зачитывалась его путешествиями. Даже мультфильм сняли, более десятка серий.

— Да, вспомнила... А Смелякову я бы всё простила только за одно стихотворение. Помните:

*Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Упавшую с неба звезду.*

— Ну, конечно.

И Агриппина продолжила, выбрав любимые строки из того же стихотворения:

*Забинтуйте мне голову
Русской лесною дорогой
И укройте меня
Одеялом в осенних цветах.*

— Если бы, не приведи Господь, расстреляли Смелякова в конце тридцатых, как его друзей-поэтов Васильева и Корнилова, то и не было бы этих стихов.

— Во время Отечественной войны он ещё и к финнам в плен попал, а после освобождения его снова в наши лагеря законопатили.

— Неужели великая литература рождается только в страданиях на дыбе, плахе и в застенке?

— Нет. Хорошие книги не только в муках пишутся, но и в любви. Вспомни ту же Берггольц: «Что может враг? Разрушить и убить. / И только-то? / А я могу любить...» Вот так она и выдирает свои стихи из недр души... Главное, чтобы узилище не сгубило человека и всё прекрасное в нём не сломало...

— Из таких людей не то что гвозди — рельсы делать можно. Не согнуть, не сломить...

— Ломали, ещё как ломали... Только надлом этот внутри человека оставался, в душе, в мозгах, в сердце, в памяти его и его потомков. Со стороны не видно, а он болит и болит, и ох как трудно срастается. Да и срастается ли? Просто очень глубоко свои раны прятать научились. Почитай дневники той же Берггольц, поймёшь... Её запои тоже не на пустом месте начались.

«А ведь она права, — подумала Анастасия. — И далеко не всегда время лечит. Кого-то, может быть, и лечит; кого-то — калечит. Наверное, прожитые годы просто погружаются во вселенский свищ тяжёлых воспоминаний и боли, но так и не могут зарубцевать эту рану, хоть как-то затянуть её. А ведь ещё и страх был, ужас космозыческий за себя, за близких своих, за друзей...»

— Одних гнобили за то, что мужика-трудягу христолюбивого воспевали, других — за то, что этого же мужика сиволапого презирали. А сколько сейчас прекрасных писателей не востребованными оказались! И классиков наших, и современников.

«Зато примитив на слуху, чушь какая-то несусветная; что ни чтиво, то пена вонючая — распутная девка в алтаре храма русской словесности: косноязычная, скудоумная, зато с понтами, в балаклаве и без трусов...», — уже мысленно продолжила гостя диалог с именинницей.

Учительница потёрла виски, пытаясь, как ластиком, стереть эти тягостные раздумья, и, чтобы сменить тему, спросила:

— А я всё думаю, почему наша великая литература дала всего шесть нобелевских лауреатов? Англоязычных авторов — аж 29! Французов — 14, немцев — 13...

— Из этих шести наших, трое — как выразился Бунин — «русские изгнанники»: сам Бунин, Солженицын и Бродский. Причём, двое последних на родине подверглись гонениям. А как Пастернака травили после решения шведских академиков! Изгнали из Союза писателей СССР и фактически заставили отказаться от получения премии. Недавно Алексиевич получила награду, но уже как белорусский автор, хотя и пишет на русском языке. Вот и остаётся только один Шолохов...

Слушая подругу, Анастасия посмотрела в окно. Редкий случай — вечернее небо стало вдруг чистым. Светила Луна — волчий идол, на которого то ли с тоски, то ли со страху воют в тайге серые хищники, чуя чью-то смерть, а в Москве — городе высокой культуры и столице собачьего дерьма — завывали бродячие кобели и сучки всевозможных пород и сословий.

— Да Бог с ней, с Нобелевкой. Она не критерий, — продолжила Агриппина. — Толстого Льва Николаевича сколько раз выдвигали, и всё мимо. В конце концов он сам попросил не присуждать ему эту премию. Горький — пять раз номиниро-

вался. Бальмонт, Шмелев, Мережковский, Бердяев, Набоков... Кто ещё? Ах, да, — Леонов, Евтушенко и ещё несколько наших писателей тоже были соискателями. Я уже не говорю о Чехове, Блоке, Маяковском, Брюсове, Ахматовой, Мандельштаме, Цветаевой, Булгакове... О них шведский комитет будто и не знал, но эти авторы на десять голов выше многих лауреатов...

— Черчилля, например. Он что, великий писатель? А ведь тоже её получил... Нобелевка по литературе всегда была скорее политической, нежели творческой.

— Часто, но не всегда. Были исключения. Тут объективности ради должна я тебе возразить. Тот же Пабло Неруда: и сталинскую премию получил, и защитников Сталинграда восславил, и «Песни любви Сталину» сочинял, и все соцстраны объездил, и кубинскую революцию принял, и даже членом компартии Чили до конца жизни был... Тем не менее, дали ему Нобелевскую премию по литературе, заслуженно дали.

Она перевела дыхание.

— Знаешь, устала я что-то. Пойду, полежу немножко. Только ты не уходи, посиди со мной рядышком, поговорим ещё.

Анастасия только сейчас почувствовала, какой звенящей тоской отзывалась боль во всём облике этой удивительной старушки: в сутуло-острых плечах, глубоко ввалившихся глазах, впалой груди, беспокойных старческих, будто мраморных руках с синюшным отливом выступающих вен.

Агриппина поднялась, придерживаясь за стол, и шаркающей походкой вдоль стеночки побрела к кровати. Анастасия взбила подушки, помогла прилечь старушке, заботливо укрыла её покрывалом.

— Ох, рай-раюшко, притулиться бы с краюшку, — благодарно улыбнулась Агриппина, удобно угнездившись в постели. — Мне в последнее время война вспоминается и даже снится иногда. К чему бы это?

Собеседница пожалала плечами, не зная, что ответить на этот немудрящий вопрос.

— Многие школы в нашем городе тогда переоборудовали в госпитали, а дети учились в заводских клубах, домах культуры, даже в бомбоубежищах.

Волна воспоминаний подхватила и понесла рассказчицу в далёкую-предалёкую долину её детства.

— Нас, шести- и семиклассников, на всё лето вывозили за город на полевые работы. Жили в сельских школах, коровниках, подсобках разных. Нары сколотили, матрасовки сеном или травой набили — вот и весь сервис. Сейчас бы сказали: «Отель — минус двадцать пять звёзд» и туча комаров в придачу. Вставали в шесть. На завтрак — пол-литровая кружка молока, 300 граммов ржаного хлеба, — и на работу. В обед — суп-не-суп, баланда постная — голоду крёстная — с крупой, травой и картошкой, и ещё сто граммов хлеба. Работали до девяти, а то и десяти вечера. На ужин — какая-нибудь каша-размазня и та же стограммовая чёрная краюха. А работа — обычная, сельская. Сорняки пололи: «Сорняк — враг! Долой с поля сорняк!» — вспомнила она придуманный кем-то из детей клич. — Картошку окучивали, а по осени копали; пацаны наши траву косили, а когда подсохнет, на волокушах стаскивали. Мы её самодельными деревянными вилами-трезубами переворачивали для просушки, в стога смётывали, зароды ставили. Нормы большие были. К вечеру — все ладони в волдырях да кровавых мозолях. Только потом руки огрубели, на ладонях — даже не мозоли — ороговевшие коросты выросли. Учителя наши — один на тридцать-сорок человек — вместе с нами работали, а вечером наливали в таз воду, разводили соду, чтобы мы руки смогли хоть как-то продезинфицировать... Зубы не чистили, серу лиственничную жевали. Помогало...

Она говорила негромко и неторопливо: это была удивительно гладкая и мягкая речь без швов и разрывов, словно тему новую притихшему классу объясняла, или книгу вслух читала — летопись своего бытия. Её будто бы уже и не трогали земные копошения большого города за окном, порою казалось, что и к жизни она уже не причастна. Но это лишь казалось. Вернувшись напоследок в своё прошлое, она была преисполнена одним желанием: хоть кому-то рассказать о пережитом. И не исповедь это была, не обиды сорок сороков за выпавшие на её долю несчастья, а житие — простое и безыскусное.

Анастасия не отрываясь смотрела на свою старенькую собеседницу — белую на белых подушках. Жизнь ещё теплилась, но её огонёк уже остывал, и обе подруги это чувствовали.

— Домой нас отпускали отдохнуть и помыться раз в полмесяца на один день. Машин нет, подвод нам не давали, а до города — 20-25 километров. Шли пешком по грунтовым дорогам (асфальта и в помине не было, гравиек очень мало), стайками по три-четыре человека, и босиком — обувь берегли, она ведь самым большим дефицитом была. Ноги — в кровь. Дедок какой-то древний из местных — поклон ему земной — как увидел такое, так и надоумил нас перед дорогой мазать голые ступни сосновой смолой. К ней песок прилипал, глина, иголки, трава, прошлогодние листья, вот и получалось что-то вроде подошвы. Нефорсисто, зато ноги целы. Дома нас матери отпаривали, мыли-скоблили с содой, с мылом, да со своими горючими слезами, и мы весь оставшийся день и всю ночь отсыпались. А утром — опять пешком в дорогу, к своим одноклассникам на сельхозработы... Молодые были, здоровые...

Рассказчица взяла с прикроватной тумбочки салфетку, промокнула слезящиеся глаза.

— Помню, однажды в середине сентября ранний снег выпал — всю ночь шёл, густой такой, липкий, тяжёлый. От этой напасти хлеба полегли. Утром нам объяснили, что ждать ни дня нельзя — зерно осыплется, и мы в стужу вилами снег стряхивали, колосья поднимали, чтоб можно было косовицу провести и хоть что-то спасти. Вот таким он был — военный хлеб снежного поля... Сейчас об этом уже никто и не помнит, а ведь в те годы страну и армию не только женские, но и детские руки кормили. Ну и ленд-лиз тоже немного помогал... Домой мы возвращались только к октябрю, когда картошку всю выкапывали, и сразу за парту. Лучшим из нас торжественно, на общешкольной линейке у красного пионерского знамени вручали грамоты.

Она посмотрела в потолок, будто текст там увидела и прочитала: «...победителю в социалистическом соревновании по сельскохозяйственным работам на колхозных и совхозных полях за высокие показатели и отличное качество работы по уборке военного урожая».

— И, знаешь, — она перевела взгляд на сидящую рядом подругу, — не было для нас в тот миг ничего радостнее, дороже и почётнее этой награды — простого листка бумаги с портретами Ленина, Сталина и гербом СССР.

— Агриппиночка, милая, напишите это всё. Ведь это так интересно... Время идёт, люди уходят, и кто же...

Гостья осеклась, прикусила язык, сконфузилась, поймав себя на бестактной фразе о том, что «люди уходят». Её собеседница улыбнулась, сделала вид, что не придавала значения этой оплошности, не обиделась, только вздохнула глубоко.

— Ладно тебе, не тушуйся... Наверное, ты права... Вот умру я, и умрёт вместе

со мной весь мой мир. — И опять горестная улыбка. — Но, поверь, вселенная от этого не станет беднее.

— Ну, как же не станет! — горячо возразила Анастасия. — Она оскудеет на одного хорошего человека... И это трагедия... Нам всем будет вас не хватать, потому что убавится доброты, любви, знаний...

— Все знания остаются в книгах, теперь ещё и в интернете, доброта и любовь — в других людях, которые сейчас живут и ещё родятся.

— Кто знает... А вдруг с ними появится и новое зло?

— Злыми не рождаются, злыми становятся... Но я, наверное, не точно выразилась: с моей смертью исчезнет моё представление о мире.

— И это не так. Вспомните, сколько учеников впитали ваше представление о прекрасном и передадут его своим детям, внукам, правнукам, а те — своим.

— Ну, дай-то Бог...

Вероятно, тема смерти острее воспринимается стариками, молодые о ней просто не думают. И на исходе жизни о могиле думают чаще, и каждый по-своему: кто со страхом, кто философски сдержанно, кто с горечью и сожалением. У Царицы Агриппы было своё ощущение неминуемого.

— Самым страшным для всех нас испытанием в детстве был не тяжкий труд, не разлука с домом, а похороны с фронта. — Она вновь заговорила о прошлом. — О гибели отцов, старших братьев, дядьёв мы чаще всего узнавали во время наших суточных побывок. Матери, забившись в угол, вопили по погибшем, тайком молились о живых и часто скрывали от детей похороны. Но у худой вести широкие крылья, быстро она разлетается и хлещет всех без разбору — и старого, и малого. Вот, почитай, каждый километр той обратной дороги детскими слезами пропитан. По ночам девочки ещё долго скулили, уткнувшись в свои сеном набитые тюфяки. Плакали тихонечко, чтоб не разбудить кого, ведь завтра опять с первыми лучами солнца на работу подниматься. Потом ещё несколько дней слёзы по щекам размазывали, хлеб, суп да кашу ими солили. Мальчишки крепились, горя своего старались никому не показывать, только смурели, губы в кровь кусали, да в работе стерженились. Но ночью и они своему горю давали волю, опять же тихонечко, чтобы других не будить и душу им не травить. Некоторые пытались на фронт бежать, чтобы мстить за погибших. Но, куда там... шестой-седьмой класс ведь только окончили. Их, конечно возвращали, объясняли, что вот здесь их передовая линия борьбы с фашистами, на колхозном поле...

— А в восьмом классе как учились? Ведь не только занятия в школе были?

— Мальчишки — на заводах, а мы должны были встречать на вокзале санитарные эшелоны с ранеными. Цепочки у нас были созданы по оповещению друг друга, помнишь, как у Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». День, ночь — без разницы. Поезд ещё на подходе, а нам по цепочке уже сообщили, и к приходу состава группа девочек уже на вокзале. Во многих школах были организованы курсы медсестёр. Опытные санинструкторы учили нас перевязывать раненых, показывали, как бельё сменить, утку подложить, подмыть солдата, когда и какие таблетки дать, как перевернуть, напоить, покормить. Мы всё это умели делать. Конечно, конфузились поначалу. Шутка ли — девочке голого мужика увидеть, задницу ему после утки подтереть. Потом привыкли, раненых много было. С фронта поезд до нас неделю шёл, а то и дольше. В вагонах грязюка несусветная, вши, блохи. А из obsługi — всего одна медсестра и две нянечки на один вагон, да два-три врача на весь эшелон. Мы раненых из вагонов вытаскивали, — четыре

девчонки на одни носилки. Вдвоём не получалось — сил не хватало. Несёшь этих солдатиков — защитников Родины, а они такие беспомощные и жалкие: без руки, без ноги, с проникающими ранениями, и все грязные, в бинтах кровавых, а в швах одежды и особенно почему-то в валенках — вши, словно муравьи, копошатся. Сейчас такое и представить себе невозможно. Прямо на вокзале была поставлена дезобаня, и мы раненых в предбанник несли, там снимали с них всю одежду, чтобы потом её сжечь, и вместе с дежурной медсестрой обмывали этих солдат, перебинтовывали, надевали на них чистое бельё, одежду и развозили по госпиталям.

— А учителем как вы стали?

— Да я ведь в школе начала работать, ещё и десятилетки не закончив. Война за свой меридиан перевалила, но мы-то тогда этого не знали. Учителей катастрофически не хватало: мужчины-педагоги на фронте, да и женщины уходили — кто в армейский медсанбат и тыловые госпитали, кто на военные заводы... И нас, начинающих девятиклассников-отличников и хорошистов, мобилизовали с 1 сентября 1943 года на семимесячные педагогические курсы по подготовке учителей для начальных классов. С восьми утра и до двух часов дня мы учились в девятом классе, а с трёх и до десяти вечера — педагогические курсы. Школьные уроки делала и к курсам готовилась ночью: изучала программу начальных классов, методику обучения, педагогику.

— Дети войны... судьбы-то все искореженные, ломанные-переломанные... — Анастасию захватили воспоминания подруги. Она словно окунулась в боль и заботы тех страшных лет. — Тяжело с ними было?

— Раньше в школу брали с восьми лет, во время войны стали принимать с семи, и в первых-вторых классах было очень много ребятшек. Поначалу эвакуированные приезжали — чаще всего матери с детьми, а потом — сирот стали везти, особенно из освобождённых и прифронтовых районов. И, удивительно, я не помню детского нищенства и беспризорников, их почти не было. Детей определяли в детские дома, школы-интернаты, но ведь и многие семьи усыновляли сирот. В те годы как рассуждали: «Раз у меня есть двое-трое своих детей, то я и четвертого прокормлю»... Хотя и сами спали на полу, телогрейкой укрывшись, но усыновлённый ребёнок был обласкан, за его учебой следили, через месяц-полтора он входил в семью, и у него появлялись новые сестры и братья, с которыми он был на равных. Жили мы в бараках да коммуналках, все работали, а за малышней, кто ни в детсад, ни в ясли не был, сосед — старичок-пенсционер присматривал или бабулька какая. И кормили они свою мелюзгу — голоштанную гвардию, и книжки им читали, и спать днём укладывали.

— Смотришь сейчас по телевизору дворцы наших буржуев: золото, картины, хрусталь кругом, мебель из чёрного и красного дерева, в бассейне крокодил с бегемотикой плещутся, на плавающем подносе харч и пойло заморское... И всё-то у них есть, кроме детей...

— А нас чувство локтя спасало, потрясающая взаимопомощь между людьми. Да ещё в Сибири все военные годы урожайные на картошку были. Благодаря этому и выжили.

Агриппина помолчала, будто собираясь с мыслями.

— Курсы я окончила в апреле, в мае на пятёрки сдала все школьные экзамены за девятый класс. Помню, с какой жадностью мы учились! Не просто на уроках время просиживали, — каждое слово учителей проглатывали. И образование было прекрасное.

— Я дико удивилась, когда узнала, что во время этой страшной войны — когда смерть, голод, холод, нищета и «Всё для фронта, всё для победы!» — государство выделяло на образование пять процентов ВВП. Сейчас и войны нет, и нефть зашкаливает — отстёгивают чуть больше трёх... Потому, наверное, и образование троечное... Ладно, Бог с ними, и с процентами, и с ВВП... А после курсов что?

— Всех распределяли по школам города и пригородов. Меня направили в центральную городскую школу во второй класс. К первачкам нас не пускали, они считались трудными и тяжёлыми для начинающих учителей, тем более после ускоренных курсов. Представляешь, я, девочка с косичками, ученица 10-го класса, стала педагогом, пришла учить второй класс. Когда мамы об этом узнали, стали переводить детей к другим, более опытным учителям. Потом обратно просились, но я уже не всех взяла, в моём классе и так более тридцати человек было. Нагрузка огромная, детвора неугомонная, егозистая — у каждого шило в попе. Именно тогда я научилась даже хребтом класс чувствовать. Стоишь, на доске мелом пишешь, глаза вперёд смотрят, уши слушают справа и слева, а затылок и спина следят, что позади тебя происходит... Да и знала, какой фортель от этих шалопаев ожидать можно, ведь по сути, сама ещё школьницей была.

Она вновь замолчала, закрыла глаза, вороша память о былом.

— Мне даже пришлось бросить десятый класс. Все предметы экстерном сдала, на «отлично». Поэтому сразу после войны меня без экзаменов приняли на историко-филологический факультет университета. Это был 1945 год.

Она замолчала, будто устав от вала воспоминаний, или обдумывая, что ещё рассказать.

Чтобы поддержать собеседницу, помочь ей, Анастасия спросила:

— У вас же была большая семья?

— Да, семь детей, я — младшенькая. Папа с мамой смеялись: «Наша семья — семь таких же, как я», и тыкали себя пальцем в грудь.

— Как же вы войну пережили?

— Очень тяжело... В СССР был Фонд Всеобуча, который помогал особенно нуждающимся семьям в приобретении одежды, зимней обуви, учебных принадлежностей. Вот так и выжили, перебиваясь с подножного корма на то, что Бог пошлёт да государство выделит. Тогда выжили, а сейчас уже никого нет. Из всей родовой я одна осталась, за всех доживаю... А зачем? Тяжело это очень: родных хоронить, а самой продолжать жить. Лучше бы Господь забрал мои годы, да распределил между всеми нами поровну.

— Нельзя живым с умершими упокоиться, — возразила Анастасия. — Мёртвым — земля пухом, живым — жизнь.

— Так-то оно так... Но несправедливо это. Отец вот в ГУЛАГе уцелел, с фронта хоть и раненым, но живым вернулся, недолго, однако, пожил... Муж мой... не вынес демократических реформ новой экономической формации, умер ещё в начале девяностых, хотя и был ненамного старше меня. Да и не он один. В ельцинский сатанинский шабаш почти по миллиону в год давали дуба, куда там сталинским лагерям... Так уж повелось: на Руси мужики быстрее ломаются... Потому, наверное, держава наша, как ни назови, а всё равно женского рода: Московия, Русь, Кривия, Россия... Теперь вот Рашкой костерячат... Был, впрочем, Союз Советских Социалистических Республик, вот и не дожил до векового юбилея, даже до семидесяти пяти лет не дотянул. Всё потому, что мужского рода...

Она помолчала.

— Чего уж тут... Попусту трепаться, что на гвоздь нарываться: все хохочут, а тебе иногда так больно становится... Знаешь, когда сын попал в тюрьму, я места себе не находила, заплутала в кошмаре собственного ужаса, даже грех на душу взяла — поехала на Киевский вокзал, нашла там какую-то старую цыганку и попросила её на Вовку моего погадать, что с ним будет, вернётся ли из отсидки. Она даже на ладонь мою протянутую не взглянула, сказала только: «Умрёт он», и убежала, как от прокажённой. И не оглянулась, и денег не взяла... Я не поверила ей тогда, не могла поверить. Подумала только: «Пусть лучше я сгину, лишь бы сын остался жив»... Кто бы знал, как хотелось мне утолить горе своё жаждой мечты и обретением счастья. Ведь всего-то и нужно было мне, чтобы сын вернулся. И жила, и ждала, и надеялась на чудо, как дитё малое. Но оно не случилось. Ни днём, ни даже в новогоднюю полночь миллениума, когда в лунном свете весь мир волшебством наполнен, и под бой курантов да в лавине фейерверка все мечты сбываются... Не получилось... Умер он скоропостижно от крупозного воспаления лёгких... А ведь ещё и жениться не успел, и детей не нажил... Вот теперь я одна и прозябаю в окружении смертей всех родных и близких...

Она говорила спокойно и тихо, как о давно пережитом. Анастасия слушала и молчала. Что тут скажешь? Утешать — поздно, разве что посочувствовать... Но подумалось ей, что внимательное молчание, искреннее сопереживание, которое не передать никакими словами, и есть сейчас лучшая форма сострадания. Как-то давно она слышала эту криминальную историю: ползли ниоткуда мерзкие слухи и наветы, загаживая многие головы, но спросить об этом у самой Агриппины она всё никак не отваживалась, боялась, наверное, показаться неudelикатной, излишне любопытной и докучливой. А та сама не рассказывала, — значит не надо было, время не пришло. А вот теперь час пробил.

Гостя молча поправила подушки.

— Спросить, наверное, хочешь, за что сын в тюрьму попал? — угадала старушка.

Анастасия кивнула.

— За поджог озера, как зеки говорят... Всё до обидного примитивно и тривиально. Бизнес у него свой был и довольно успешный, с инновационными технологиями связан. Вот и решили менты, или, как их сейчас называют — полицаи, его дело к рукам прибрать: крышу свою навязать, чтобы откаты в фуражку складывать. А он отказался. Поначалу они его проверками кошмарить стали, — не получилось. Тогда наркотики ему подбросили. А он наивный был, в демократию свято верил, в честный, справедливый и неподкупный суд. Вот так и оказался за решёткой... Я тогда продала всё, что ценного у меня было, квартиру нашу — старую трёшку — на эту вот халупу поменяла, с доплатой, чтоб хоть как-то ему помочь. Куда там... Где сила божья не справляется, там бесовщине всё удаётся...

— Оно всегда так было. Сейчас трое из четырех преступников носят крест на шее и даже в церковь ходят, свечку, как стакан водки, держат. А для чего, о чём они молят Всевышнего? Дабы при совершении ими очередного злодеяния помог Господь всемогущий в их окаянстве, и чтобы наказания заслуженного избежать. И ещё на всякий случай: а вдруг и вправду на том свете есть ад. Вот тогда и поможет крестик вместе с нехилыми пожертвованиями в церковную кружку избавиться от вечных мучений в геенне огненной...

— К сожалению, ты права. Такая вера — и не вера вовсе. Это богохульство и мерзость... Как-то в душевном разговоре с батюшкой порадовалась я, что сейчас

храмы стали возрождать, новые церкви строить. А он посмотрел на меня с укоризною и произнёс: «Да, бессчётно на Руси грешников, многие хотят окаянство своё деньгами отмолить. Отмолить, но не раскаяться. А молитва без покаяния — не более чем кощунство, лицедейство несправедливое и глум над верой Христовой. Господь это видит, и не будет прощения лицемерам».

— Меня другое печалит. Зачем священники дары несправедливые принимают? Ведь знают, что деньги эти мерзостью пахнут.

— Деньги не пахнут. Это ещё римский император Тит Флавий Веспасиан сказал почти две тысячи лет тому назад.

— Да, когда налог на мочу ввёл, которую из общественных туалетов собирали, чтобы кожи дубить, бельё стирать и даже зубы чистить.

— Вот, сама знаешь. А дары богатые церковь всегда принимала: и от власти, и от лихоимцев разных. Паства нищая тоже свою медную полушку несла — святую и чистую. Да только на именных брёвнышках и кирпичиках храм скоро не воздвигнешь.

— А как же обыденные церкви? Их община за сутки строила, «об один день». В ночь начинала и к заходу солнца уже крест на маковке ставила. И нечисть всякая в тот храм ходу не имела...

— До революции практически всё население России воцерковлено было, да 60 тысяч священников православных. Теперь, через сто лет, у нас священников вполовину меньше, а воцерковление и до десяти процентов не дотягивает.

— Была бы душа жива, а вера придёт — истинная вера...

Учительница взяла в ладонь хрупкую, будто из пожелтевшего и потрескавшегося пергамента старческую руку, легонько сжала её. Только теперь она поняла потаённый смысл, казалось, ненароком брошенной фразы о том, что тюрьма просто так никого от себя не отпускает. Её собеседница знала, о чём говорила, когда рассказывала о репрессированных писателях, вспоминала отца, свои первые годы учительства в ГУЛАГе, а вот теперь ещё и смерть сына.

— А мы с нашей школьной кафедрой филологии пойдём 15 марта Валентина Григорьевича Распутина с днём рождения поздравлять.

Анастасия резко сменила тему разговора, чтобы избавить старушку от горестных переживаний прошлого.

— В Москву приехала труппа Иркутского драмтеатра, во МХАТе покажут «Последний срок» — всего один спектакль. Валентин Григорьевич обязательно там будет. Я даже своих учеников позвала. Надо ещё букет роз купить. Он любит красные розы...

— Миленькая моя, — старушка приподнялась на кровати, встрепелась. — Сделай доброе дело, подари ему лично от меня красивую алую розу... На холодильнике деньги лежат, 150 рублей... возьми их... этого ведь хватит на один цветок? Я так люблю книги этого писателя. Его «Уроки французского», «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Пожар», «В ту же землю», — ведь это всё о нас. Жаль, что сейчас он мало пишет.

— Однажды в Союзе писателей на Комсомольском я спросила его об этом, — Анастасия обрадовалась, что нашла светлую тему и отвлекла собеседницу от мрачных воспоминаний. — И знаете, что он ответил?

— ???

— Вот, почти дословно: «Поведать ещё о многом хочется, а слов настоящих нет...»

Слушая, старушка перевела взгляд с собеседницы куда-то в неведомое далеко и задумчиво произнесла:

— Сказать такое может позволить себе только действительно большой писатель, очень мудрый и ответственный человек...

— Он ещё посетовал, что в девяностые годы зря увлёкся публицистикой. Нужно было книги писать, раз Господь этим даром наделил...

— Что верно, то верно... — кивнула Агриппина. — Сколько бы ещё мог за это время сделать... Ну, дай Бог, ещё напишет.

— Мы тогда долго с ним в коридоре у окна стояли... В конце нашего разговора он сказал, что в нынешнее трудное время профессия учителя гораздо важнее, чем писательский труд. Я, конечно, возражать стала, а он ответил: «Писатель может создать самую гениальную книгу, но если не будет учителя, который научит буквы в слоги, а слоги в слова складывать и любить литературу, понимать её, то кто прочтёт этот шедевр?»

— Он трижды прав. Учителя всегда нужны стране и людям, а в переломные годы особенно, — кивнула старушка в знак согласия. — Значит, мы с тобой всё-таки не зря учительскую жизнь прожили...

Анастасия смотрела и поражалась этому удивительному человеку — учителю, которого жизнь ломала, судьба испытывала, болезни гнули и крутили, а она делала своё дело по-царски мудро, знающе, красиво и любяще. И тем счастлива была. Её совсем не трогало, что текло время, уносило жизнь, её жизнь. И вот теперь огонёк, пылавший когда-то в её груди жарким пламенем, уже совсем ослаб и едва согревал собственную душу, а вытащить из мрака окружающий мир или сделать его хотя бы чуть-чуть светлее сил уже вовсе не было, да и помощи ждать неоткуда и не от кого.

— Кто-нибудь из выпускников давно вас навещал?

— Давно... Уже и не помню, когда это в последний раз было. Сама знаешь, у всех свои дела, свои заботы и проблемы. Им не до стариков... Старость всегда одинока.

— А чувство благодарности?

— Оно не может быть вечным. И вообще: наивен тот учитель, который ждёт благодарности от своих учеников. В наше время — особенно. Если хотя бы вспоминают изредка, книгу в руки берут, стихи и сказки своим детям или внукам читают — уже хорошо.

Старушка вздохнула и улыбнулась.

— Наверное, мне всё-таки повезло, что я ещё так долго прожила на пенсии. Успела прочитать то, что не прочитала в школе, в университете и на работе; спокойно, не торопясь могла подумать о жизни и смерти, людях, учениках своих, Боге, державе нашей. Послушала уже забытую музыку, пересмотрела старые фильмы и фотографии, жизнь свою, как страницы, по годам и событиям перелистала, вспомнила всех родных, друзей, кого-то из врагов... Грехи старалась замолить, прощения попросила у Всевышнего, и у всех, перед кем была виновата. Вот только жаль, не все смогли услышать, — многих уже давно нет... Успела сделать то, что не успевала раньше, и теперь готова уйти спокойно: одна и налегке — в одной ночной рубашке — и ключ от жизни своей оставить у дверей под ковриком. Вдруг кому-нибудь пригодится...

Анастасия поняла, что вновь надо сменить тему, отвлечь подругу от скорбных переживаний, и не смогла удержаться от того, чтобы не высказать наболевшее — то, что возмутило её до глубины души.

— Недавно я прочитала в интернете, что самые большие взяточники в России — это врачи и учителя...

— Ну, не знаю, не знаю... Министры взятки берут по два миллиона долларов... Простому учителю больше трёхсот лет трудиться надо, чтобы столько денег заработать... Мне если и дарили коробку конфет, мы ее с ребятами тут же и съедали. Давай, поговорим об этом в следующий раз, что-то устала я...

«А ведь жизнь она прожила, словно книгу прочитала — интересную, захватывающую, с цветными и чёрно-белыми картинками, даже обожжёнными страницами. Дочитываешь последнюю фразу и ещё хочется продолжения. А уже всё, конец, — думала Анастасия, тихонько закрывая дверь знакомой квартиры. — Мы знаем, где и когда родились, и кто дал нам жизнь, но не ведаем, когда и где умрём, и кто или что в иной мир нас спровадит: болезнь, несчастный случай, старость... А главное — кто в этот миг рядом будет... Да и вообще, будет ли кто?»

150 рублей Анастасия не взяла, так и оставила на холодильнике. Роскошную алую розу для Распутина она, конечно, купит и подарит писателю от старой учительницы... А лишняя копейка Царице Агриппе самой ещё ох как пригодится...

* * *

Месяца через два Анастасии позвонили. Звонок раздался прямо посередине урока литературы. Обычно она не отвечала, дабы не отвлекаться от темы и не сбивать темпоритм занятия, но сейчас что-то кольнуло её. Она взяла мобильник и, извинившись перед детьми, вышла в коридор.

— Алло. Это Анастасия Александровна Пеликанова? — В трубке звучал незнакомый мужской голос.

— Да...

— Вас, это, беспокоит участковый инспектор. Умерла Агриппина Васильевна Тюменцева.

— Как?! Когда?! — В переносице засвербило.

— Я, это, сейчас вместе с адвокатом, медиком и представителем бюро ритуальных услуг в её квартире. Нам, это, соседи позвонили... Она молодец, ключ от квартиры под коврик положила, даже дверь взламывать не пришлось. И, это... на столе завещание оставила, в нём ваши данные... Других родственников у неё нет. Вот, звоню вам... Вы, это, не могли бы приехать?

— Но я не... Да, приеду... обязательно... через час... урок закончу и...

— Нормально, мы, это, ждём вас. Адрес знаете?

— Да-да, конечно.

— Приезжайте.

Когда Анастасия вошла в знакомую квартирку, хозяйки уже не было — тело только что отвезли в морг. В коридорчике, на кухоньке и в комнатке всё прибрано и чисто.

Наскоро заполнив какие-то бланки, представитель бюро ритуальных услуг деловой скороговоркой сообщил Анастасии что-то о похоронах за казенный счёт и уехал, — чего задерживаться, тут много бабла не срубишь. Она едва успела попросить его заказать панихиду в местной церквушке Андрея Рублёва и передать деньги в оплату услуги. Торопились по своим делам участковый и стряпчий, а потому Анастасия лишь наскоро успела пробежать глазами завещание, написанное безукоризненным каллиграфическим почерком: библиотеку — в дар школе,

где работала Царица Агриппа и откуда ушла на пенсию; образа — в храм Андрея Рублёва; самодельно вырезанную из доски икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы — Анастасии Александровне Пеликановой... Квартира оставалась муниципальным властям, а финансовых сбережений и ценностей у покойной не было...

— Как же мебель, посуда, одежда, ноутбук... — учительница вопросительно посмотрела на деловых мужчин....

— Да кому нужно такое старьё и рухлядь! — досадливо отмахнулся юрист. — Его даже в богадельню не возьмут... Сёдня Департамент горимущества опечатает квартиру, а потом пришлёт сюда рабочих, и выбросят всё это барахло к чёртовой матери на помойку...

— Тогда, можно, я возьму компьютер? — робко спросила она.

— Да забирайте ради Бога. Тем более, я ещё не внёс его в опись. Только зачем он вам? Такой хлам и таджик на мусорке не подберёт...

— Там записи интересные, воспоминания, там её мир, её вселенная...

В школе новость о смерти старой учительницы не произвела никакого впечатления. Об Агриппине Васильевне Тюменцевой забыли уже давно и прочно, а молодые учителя и новая администрация о ней и вовсе не знали. Больше всех была раздосадована школьная библиотекарьша. Но не смерть взбудоражила её.

— Ну куда, куда я дену эти книги? Сподобила же её нелегкая завещать их школе! — сокрушалась она с негодованием и горечью. — А мне что с ними делать? Представляешь, сколько карточек нужно сидеть заполнять, — жаловалась она Анастасии.

— Ну, я тебе помогу, — будто оправдываясь, несмело предложила учительница. — Книжки-то ведь хорошие, и ничего, что старые, практически все по школьной программе... Полные собрания сочинений есть, академические издания...

— Да кто их читать будет, эти академические собрания сочинений... Вон они у меня стоят, пылятся, — она небрежно махнула рукой в сторону битком набитых книжных полок. — Никто их почти не берёт, всё в интернете находят, а я каждый год их списываю, да в макулатуру... На помойку книги выбрасывать — рука не поднимается... Да ты сама вспомни, что с библиотекой из ДК «Высотник» было.

Анастасии и вспоминать не стоило. Та история конца девяностых годов до сих пор бурлила в памяти жутким кошмаром. Прямо среди урока её вызвали в учительскую к телефону (мобильников в те годы ещё не было и в помине). Срывающийся от волнения, заикающийся и бессвязный от негодования женский голос рассказал, что в срочном порядке ликвидируют библиотеку Дома культуры «Высотник», и несколько тысяч книг, которые до дыр зачитывали строители сталинских высоток Москвы, а сейчас жители всего микрорайона, свезут на свалку. И вот директор библиотеки обзванивала все близлежащие школы, техникумы и вузы и слёзно умоляла спасти хотя бы самые лучшие книги. «Христом Богом прошу вас, — уговаривала директорша, — приходите, посмотрите, заберите любые издания, всё, что хотите... Друзей приводите, знакомых...»

В тот же день Анастасия Александровна вместе со своими учениками перенесла сотни книг, и с нагруженными сумками голосистая ватага кое-как, с остановками, чтобы отдохнуть, дотащилась до школы. Ещё несколько десятков томов привезли на следующий день на своих машинах кое-кто из друзей и родителей учеников. Оприходовать должным образом солидное пополнение школьной библиотеки тогда никому и в голову не пришло: когда в стране бардак — до книг ли?

Да и как это сделать с изданиями, на форзаце и семнадцатой странице которых стояли жирный прямоугольный штамп фиолетового цвета ДК «Высотник» и каталожный номер, а в бумажном карманчике — карточка-формуляр с датами получения и возврата. Вот так дети подарили книгам вторую жизнь и ещё несколько лет их читали, над ними размышляли, о них спорили. Но как-то раз в школу нагрянула комиссия, и директор получил строгий нагоняй, а библиотекарьша — выговор за... да какая разница, как звучала формулировка, — в общем, за книги из бывшего ДК «Высотник», где вместо библиотеки разместилось сначала казино, прибрав в азарте хапка и кинозал, затем торжище импортным ширпотребом и шмотками «second hand», тотализатор, обменник, а потом и ресторан... А многострадальные бесхозные собрания сочинений великих авторов навсегда исчезли в ненасытном чреве мусоровоза, канули в вечность подобно Александрийской библиотеке, фолиантам Ивана Грозного. Такая же судьба ожидала и собрание книг Царицы Агриппы.

Перебирая книги умершей подруги, Анастасия вспомнила и другое, совсем недавнее событие.

2014 год, январь. Волею судеб она на несколько дней оказалась в Риге, где случайно узнала, что заканчивалось строительство Латвийской национальной библиотеки — величественного здания в дюжину этажей, напоминающего по своему очертанию высокий холм, увенчанный короной в три луча. Замок света, вершина учёности, дюна знаний, волна мудрости — у каждого возникали свои ассоциации. Это было последнее творение выдающегося латышского архитектора Гунара Биркертса, проживавшего в США, который за свой титанический труд не взял ни цента.

В смурной и ветреный субботний день 18 января и погода разгулялась, и непогода: треснула морозцем, завьюжила позёмкой теснину проулков средневековой Риги, заволокла игольчатым туманом готические шпили, и студёный воздух с трудом продирался в легкие. Анастасия, как и тысячи жителей столицы, да и, наверное, всей республики от мала до велика, влилась в грандиозную двойную цепь длиной в 2014 метров (кто сказал, что магия чисел не имеет значения!?), чтобы доставить книги из старого здания библиотеки по близлежащим улицам и Каменному мосту через Даугаву в новое хранилище. Бережно передавали люди из рук в руки упакованные в полиэтилен тома, и первым фолиантом, обретшим новый кров, было старинное издание, где начертаны судьбы всего мира — Библия. Странно, но почему-то именно тогда Анастасию впервые поразило дивное сочетание и глубинный смысл давно знакомых однокоренных слов: Библия и библиотека... Неожиданным стало и то, что любой человек, где бы он ни жил, может передать сюда собственную любимую книгу. Подобно тому, как древние воины в память о себе и своих победах насыпали шеломами земляные холмы славы, так и теперь отдают люди дорогие сердцу семейные святыни и с дарственной надписью оставляют их для будущих поколений, обогащая курган всемирной литературы. Сейчас уже тысячи подаренных изданий разместились на полках огромных, уходящих ввысь стеллажей, прекрасно видных из любой точки парадного холла и галерей практически всех этажей и ставших достопримечательностью, украшающей библиотечный интерьер. Как и сокровища основного фонда, все подаренные книги занесены в каталог и оцифрованы. Отныне и навсегда каждый человек может ознакомиться с ними не только подержав в руках, но и отыскав их на сайте библиотеки во всемирной сети...

Анастасия Александровна смогла перенести в свой класс и поставить на пол-

ки в глубине книжных шкафов во вторых рядах лишь ничтожную часть богатого наследства Царицы Агриппы, скрыв это бумажное сокровище от непрошенных контролёров. «Впрочем, — рассудила она, — подальше положишь, поближе возьмёшь...»

Так уж получилось, что похороны совпали с праздником последнего школьного звонка, и Анастасии Александровне стоило больших трудов отпроситься у руководства школы с этого торжественного дня выпускников.

Ночью последняя майская гроза потоками буйной радости в сверкании молний и под раскаты гром умыла ещё заспанный город, приготовила его к наступлению лета. Утром сквозь растрёпанные тучи рванулись из поднебесья вниз столбы небесного света, будто колонны храма Аполлона, вершинами которых солнце окружило себя, а основания раскрытым веером уткнуло в землю. Всё радовалось хорошей погоде, а она сама словно извинялась за ночной бедлам и светопреставление — на пару с гидрометеоцентром, который сутки назад не предвещал весеннего ливня.

В скорбном траурном платье и чёрной ажурной шали Анастасия одиноко стояла у ворот бревенчатой церквушки преподобного Андрея Рублева в Раменках, держа в руках большой венок и ловя на себе сочувствующие взгляды торжественно-нарядных выпускников и их родителей, радостно спешащих в школу с яркими букетами в руках. Все три дня после новости о смерти Агриппины она чувствовала себя как ни у шубы рукав. И день не мой, и час чужой, и минута посторонняя, и секунда из другой оперы. Всё валилось из рук, невозможно было собрать мысли в кучу. Особенно неловко ей стало, когда, заказывая венок, она долго не могла придумать, что написать на траурной ленте. Слащавую банальщину, которую предлагал сотрудник ритуального бюро, не хотелось; подпись от родственников? — так их уж никого нет; от собственного имени? — ей показалось нескромным и бестактным; от бывших учеников и школы? — но где сейчас все эти ученики, и кто знал старенькую учительницу в нынешнем ГБОУ... Она вдруг вспомнила рассказ Юрия Бондарева и попросила сделать простую и безыскусную надпись: «Агриппине Васильевне Тюменцевой. Простите нас...», только вместо авторского восклицательного знака поставить многоточие.

— Анастасия Александровна, Господи, что случилось, кто у вас умер?

Она подняла голову. К ней подошла семья: муж с женой, их дочь, которая несколько лет назад окончила гуманитарный класс Анастасии и теперь училась на филфаке МГУ, и сын — нынешний одиннадцатиклассник с маленьким колокольчиком в петлице.

— Умерла моя старая подруга, замечательный человек и просто удивительный учитель русского языка и литературы. Она работала в нашей школе...

— Кто? Мы её знали? — Склонив головы, семья прочитала надпись на венке.

— Нет-нет. Она уже очень давно была на пенсии.

— А в нашей школе когда работала?

— Со дня её открытия.

Все замолчали, чувствуя какую-то неловкость и противоестественность ситуации: весна, солнце, праздник, радостно-приподнятое настроение и рядом — траур.

— Вот что мы сделаем...

Отец семейства, человек решительный и твёрдый, — именно таким его знала учительница по работе в родительском комитете своего класса, а потом и школы, взял из рук сына роскошный букет и протянул его Анастасии.

— Возьмите, пожалуйста, это от всех нас, от нашей семьи... в память о хорошем человеке... Пусть земля будет ей пухом.

— Но... но как же так... нет, я не могу... — робко пыталась возразить Анастасия. — Цветы сейчас такие дорогие, а букет... он вам самим нужен... Вы же его для вашей классной купили, для Марии Ивановны...

— Ничего-ничего, возьмите...

— Конечно берите...

— Марь Иванне мы еще купим, не проблема...

— Вон, киоск рядом, — наперебой уговаривали и родители, и дети.

Сквозь затуманившийся слезами взор Анастасия даже не заметила, как подъехал катафалк, и два мужичка из проворной ритуальной obsługi уже вытаскивали непритязательный гроб с крестиком на крышке, чтобы занести его в храм. Она сначала почувствовала, что вокруг что-то происходит, и только подняв глаза, увидела, как рядом с ней собралась небольшая толпа знакомых и незнакомых выпускников, их родителей, бабушек и дедушек. И какой-то неясный приглушённый говор шелестел, передавался из уст в уста. А ещё через минуту крышка гроба, обитая дешёвенькой красной материей с черным крепом по краям, была сплошь усыпана необыкновенной красоты и нарядности букетами цветов...

Она стояла, онемевшая и растроганная.

— Ну, мы пойдем, Анастасия Александровна, нехорошо на праздник опаздывать.

— Извините, мы не сможем на кладбище с вами поехать...

— Да, и на панихиду тоже... на последний звонок торопимся...

— Цветы ещё надо купить...

— Просили не задерживаться... Всего доброго, Анастасия Александровна.

— Мы на выпускной вас ждём обязательно.

И вновь она осталась одна.

Под сводами церкви на двух табуретках стоял гроб с телом Царицы Агриппы. Батюшка прочёл молебен «Со святыми упокой», посыпал на покров усопшей землю в форме креста, Анастасия едва успела поцеловать холодный лоб покойницы, как домовину накрыли крышкой, словно крышей, заколотили и вновь погрузили в катафалк среди моря цветов, в котором затерялся один-единственный венок с таурной лентой.

К кладбищу ехали какими-то зигзагами, видимо, объезжая столичные заторы и пробки. Где-то в районе проспекта 60-летия Октября заехали во двор и остановились, — наверное, у водителя здесь было какое-то своё заделье. В окно Анастасия неожиданно увидела памятник Ленину. Обветшалый и облупившийся Ильич стоял совсем рядом. Устремивший вперёд и вверх свою руку, он уже не указывал путь в светлое завтра, а тянул её к кому-то неведомому, словно просил вытащить его из прогнившего сегодня. Не зная, зачем она это делает, Анастасия взяла первый попавшийся под руку букет, вышла из автобуса и положила цветы к подножию монумента.

— Эй, смотрите, жмурика везут!

Пробегавшая мимо бойкая ватага пацанов остановилась на секунду у катафалка.

— Так это же к удаче — мертвеца встретить! — крикнул кто-то в ответ, и команда рванула со двора на улицу.

На кладбище всё свершалось по-деловому сноровисто и быстро. Могила была уже отрыта, в неё торопливо опустили гроб, без промедленья забросали землёй — Анастасия еле-еле успела кинуть первый ком — воткнули деревянный крест, на-

сыпали холмик. Казенные похороны просты и незатейливы, — постыдно-обыденное закапывание покойника в яму... За те пять минут, что кладбищенская бригада перекуривала, Анастасия украсила могилу цветами. Венок поставила ближе к кресту, чтоб надпись была заметна.

Над соседними могилами шумела молодая зелёная листва, и где-то далеко от погоста, в школе на Западе Москвы, где много лет работала Царица Агриппа, прощально и грустно звенел на празднике выпускников-одинадцатиклассников последний звонок. А на книжной полке в квартире Пеликановых нашла пристанище искусно вырезанная из дерева икона Анастасии Узорешительницы — с маленькой застывшей капелькой янтарной смолки кедрача на щеке. Когда и как появилась эта слёзка на святом лице, — Бог весть...



АЛЕКСАНДР ФЕДЮКОВИЧ



И скрип журавля, будто крик

Той, которая — мой свет

Прости меня, я в первый раз живу,
От этого ошибка за ошибкой...
В романе жизни новую главу
Читаю до сих пор с надеждой зыбкой:

Переверну очередной листок,
И всё у нас наладится, притрётся...
Уже усвоил я, что мир жесток,
Но нам двоим он точно улыбнётся!

Подарит радость, чтобы — через край...
Не растерять бы только веру в это.
— Я в первый раз живу, не укоряй,
А сядь поближе, не хватает света.

ФЕДЮКОВИЧ Александр Александрович родился в 1949 году в деревне Людвиново Брестской области Дрогичинского района. Образование средне-специальное, окончил ГПТУ-68 в г. Мозырь. Профессия монтажник-высотник. Стихи начал писать в зрелом возрасте. Публиковался в областных и районных газетах, в журнале «Сибирь», в «Иркутском альманахе». Коллективные сборники: «Перепутья», «Родники», «На перекрёстке». Автор книг: «Взгляды», «Россия-дом», «Басни», «Однолюб», «Привет из прошлого». Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

* * *

Скулил щенком сквозняк из подворотни,
Порой переходя на сиплый лай,
Скрипя по рельсам, на печальной ноте
Напев ямщичий выводил трамвай.

Синица голос пробовала звонко,
Копила воду первая капель,
Седым крылом задев, сизоворонка
Избавила от мокрой шубы ель.

Скользнула, охнув, белая одежда
И, лапами приветливо качнув,
Шепнула ель мне:
— Не теряй надежды,
Даже идя, казалось бы, ко дну.

Март наступал.
Шуршащая позёмка,
Как «Эскимо», облизывала наст,
А чудилось — бумагу нервно комкал
Поэт, не подобравший нужных фраз.

С другом

— Я шёл, мой друг, предела не встречал, Как, впрочем, я не видел и начала, Вот умер человек, геройски пал, А смерть его бессмертьем увенчала.	У бочки с пивом я уразумел: Вот верх, переверни бочонок — днище! А вот росточек кедра, как он мал! Но как уже далёк он от начала... Вот волны, что разбились о причал, А вот суда — уходят от причала.
— Всему начало есть и есть предел... — Так это же синонимы, дружище!	

Старик-комсомолец

Недавно последний старик Навек уходил из деревни. За гробом «кортеж» невелик — Бабульки идут, полудремлют.	Они и пошли, как один, Детишки ещё в добровольцы... Никто не дожил до седин, Егор лишь всю жизнь комсомольцем.
Но вот, ободрилась одна, Слезу промокнула подолом: — Когда полыхнула война, Егор заправлял комсомолом.	И пахарь, и жнец, и кузнец — Один на деревню мужчина... А, вишь, износился вконец — Ни дочери рядом, ни сына.

— Я, бабоньки, их не виню, Они там, поди, и не знают, В столичную их толкотню Известья не враз долетают...	И скрип журавля, будто крик, Деревня с собою прощалась.
Ушёл комсомолец-старик, Бабулькам недолго осталось...	Такие теперь времена — Поля и покосы пустуют... И кажется, будто страна С корнями своими воюет.

Банька по-чёрному

Ах, это блаженство, улада! Такого бы счастья — по гроб, Из душного тёмного ада Нырком кувырнуться в сугроб.	Куда там эдемскому саду — Здесь всё, как у добрых людей:
Вдохнув обжигающей стужи — В предбанник, и квасу: захлёб! Но не из стаканов да кружек — Из ковшика банного чтоб...	Кедровая шаечка, веник, Полок, можжевельный дух, Из каменки жар: — На колени, На голову дедов треух!
И снова в объятия ада, Нет, рая земного, ей-ей!	— Ну, зверствует веник, однако — Не семь, а семнадцать потов Согнал он с меня, забияка, Но я улыбаюсь — здоров!

* * *

Снежинки усеяли кроны, Где была листва — кружева, Бело, лишь в распадах укромных Рыжеет местами трава.	Ручей-говорун под сосною, Утихнув, готовится спать.
И благостно ранней зимою, И грустно, что птах не слышать,	Мой край, полусонное царство, Снегами укрыться спешит От нового русского барства, А кажется — в коме лежит.

Рябинкина осень

Пока далече зимние метели, Ноябрь не время лютых холодов, Но утром налетели свиристели, Невзрачные предвестницы снегов.	И неприглядно стало в палисаде, Но ветви вверх подались от земли.
Пошарились хозяйками в ограде, Рябину подчистую обнесли...	Пускай ноябрь, пусть меньше стало света — Подарит солнце толику тепла... Рябинка вспомнит и начало лета, И день, когда впервые расцвела.

* * *

В струях дождя	Месяц прошёл —
Слышался свист	Бег и прыжок!
Пущенных ангелом стрел...	Боже, какой полёт!
Пел уходя	
Август-солист.	Мне бы суметь
Господи, как он пел!	Стрелы дождя
	Слушать и песни петь,
Ноги колот	Прыгнуть — взлететь!..
Острым ножом	Шутит сентябрь:
Хрусткий сентябрьский лёд...	— Нужно вдвоём хотеть.

Не знаю

Всегда в цене душевное тепло,
Гостеприимство пользуется спросом...
Вот злоязычью меньше повезло,
Враждебность, хамство тоже под вопросом

Для всех живущих на святой Руси,
Для каждого, кто любит эту землю.
Пусть выпало невзгод — косою коси,
Всё Божьим изволением приемлют.

Да молятся, чтоб не было войны,
Да пояса затягивают туже,
Крестом отгородясь от сатаны,
А силой — от бряцающих оружьем...

Из века в век идёт, из года в год
Народ, иной Отчизны не желая,
Не сладко ест, порою горько пьёт...
И я «другой такой страны не знаю»!

* * *

Да, Вы любили не меня,	Я обогрелся у огня.
А я, чтоб Вас к себе приблизить,	Костёр не мне предназначался,
Бросал всему на свете вызов,	Но свет в моей душе остался,
Порой любовь свою кляня	Пусть Вы любили не меня.
За обретённый непокой,	Я до сих пор живу мечтой
Желанье стать необходимым...	И лучшей доли не желаю....
Но, покорённая не мной,	За то, что были не со мной,
Вы гордо проходили мимо.	Мой ангел Вас оберегает.

Да, Вы любили не меня,
Даря лишь толику участия,
А я считал и это счастьем,
Навеки добрый свет храня.

Вы на лиловый небосклон
Ежевечерне восходили...
Любил! И низкий Вам поклон
Уже за то, что не любили.

Станция Половина

По станции с названьем Половина
Я много раз транзитом проезжал,
Но лишь сегодня взгляд случайно кинул
На неприметный старенький вокзал,

Корнями прочно вросший в эту землю —
Усталый мужичок-сибирячок
Давно в пути, присел и тихо дремлет...
Составы мчат «Москва — Владивосток»,

Другие поезда от океана
Торопятся на запад, за Урал:
Курьерские, с вагоном-рестораном,
Товарные, какие-то с охраной...
Встречает, провожает их вокзал,

Вздыхая: — Суета...
А сам спокоен,
Уверен, Половина — центр Руси.
Невидное местечко, да святое,
То, что в душе носить — не износить...

Хоть на минутку выйду из вагона,
На все четыре ветра поклонюсь,
А заодно вокзалу и перрону —
За благость их, за умиротворённость
В мятущейся земле с названьем Русь.

Зарисовка

Последний гром раскачивает небо,
Последний дождь, безлюдные поля...
Лес пахнет прелью, избы свежим хлебом,
Что даровала матушка-земля.

Невидимым крылом коснулась ели,
И хвоя стала гуще и темней,
Осинка, с коей листья облетели,
Молчит, стесняясь наготы своей.

Пастух ещё выводит на отаву
Кормилиц небогатого села,
Речушке далеко до ледостава,
Но тень успокоения легла.

Под утро первый иней пал на травы —
Незванный, нежеланный, ранний гость...
Идёт, уходит август величаво...
Мне снова с ним проститься довелось.



СВЕТЛАНА ВОЛКОВА



Золотая веснушка

Сказки

Фуражка с молоточками

Дедушка девочки Даши никогда не расставался со своей фуражкой.

Он в ней и в жару, и в мороз. Он в ней и в поездку, и на сенокос. Над околышем фуражки колесо с крылышками. Такие фуражки носили в старые времена машинисты.

Однажды дед взял с собой в поездку Дашу, и она увидела паровоз. Он был черный, со звездой на чугунной груди. А внутри, в топке жарко горело пламя, свистел, вырываясь наружу, пар. Дед Иван двигал рычагами, подавал басистый голос гудок, и паровоз, тронувшись с места, мчался по рельсам. Тотчас пускался за ним вдогонку паровозный ветер — в рубашке нараспашку, лицо чумазое, кудри пропахли гарью. Дед подмигивал ему из окна, и глаза его из-под козырька блестели задорно и молодо.

ВОЛКОВА Светлана Львовна, прозаик, детский писатель. Родилась в Чите. Окончила филологический факультет Иркутского государственного университета. Работала старшим редактором на иркутском телевидении в редакции вещания для детей, где вела цикл передач «Спокойной ночи, малыши». Автор книг для детей: «Облачный пудель», «Василиса кудесница и Василисина лестница», «Трамвай Сарафановка — рынок», «Вовкины командировки», «Дед Полешко», «Село Котоваскино», «Сказки старого города» и др. По трем ее сказкам сняты мультфильмы, поставлена детская опера «Приключение Синего Фартучка» (композитор Н. Модель), которая идет в разных странах мира. Долгое время сотрудничает с детским журналом «Сибирячок», для которого придумала несколько персонажей. Лауреат премии П.П. Ершова (2014 г.) за книгу «Под Рождественской звездой», лауреат премии Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства по направлению «Литературные произведения» (2016 г.). Живет в Иркутске.

Дома дед уже не казался таким молодым. Вихор надо лбом был седым, усы щеткой — тоже. И фуражка была поношенной, блестело только колесико под околышем, да молоточки под ним крест-накрест.

— Дедушка, — приставала к нему Даша, — купи себе что-нибудь новое на голову.

Дед отмахивался:

— Дорого. Лучше я куплю тебе колечко. Будешь носить — вспоминай деда. — И веселые глаза его грустнели. Скоро он выполнил свое обещание, привез внучке кольцо с бирюзовым камешком. Камешек был выточен, как цветок — незабудка.

Точь-в-точь такие голубые незабудки росли на лугу, где косили сено для коровы Зорьки. Луг был заливной, и незабудки в начале лета заливало с головой. И от этого они были здесь особенно яркие. Но камешек в колечке горел еще жарче. Вжик-вжик — без устали пела дедова коса. Даша бродила рядом, шлепала в нагретой солнцем воде босыми ногами. Сколько над водой было стрекоз! Синих, розовых, пунцовых! Они то мелькали низко над речной гладью, то взлетали высоко в воздух.

Вот и в этот день они водили свои хороводы над речными волнами.

И вдруг все, как по команде, опустились вниз. Близко у берега, среди кувшинок плыла лодка. В ней стояла девушка, тонкая, как камышинка. На голове ее сверкала корона, усыпанная драгоценными камнями. Узкие радужные крылья стояли за плечами. Девушка вышла на берег, привязала лодку.

Дунул речной ветер, крылья за спиной девушки затрепетали. Она взмахнула руками, и взлетела в воздух легко, как пушинка. Потом сплела руки над головой и закружилась. Узкие крылья ее сплелись в павлиний радужный хвост. Это была Царица стрекоз.

— Хочешь как я танцевать? — вдруг остановилась она перед Дашей. — Научу, если мне колечко с камешком отдашь. В моей короне нет такого самоцвета.

Даша покачала головой:

— Не отдам. Колечко мне подарил дед Иван, чтобы я его вспоминала.

Рассмеялась царица стрекоз:

— Вот глупая девочка! Люди все забывают. Разве не хочешь ты быть как мы — красивой и беспечной?

Зажав в кулак колечко, Даша побежала к деду. Она ничего ему не сказала. Но танца царицы стрекоз не могла забыть. И принялась мастерить себе крылья: согнула проволоку, обтянула ее марлей, и танцевала, танцевала...

Была уже осень, когда они с дедом приехали на заливной луг, чтобы увезти припасенное для Зорьки сено. Зеленые ивы у речки пожелтели, незабудки поблекли, и стрекоз было не видать.

Потом долго тянулась, и наконец миновала зима. Во дворе дед Иван рубил дрова. Небо синело, избавившись от снега, весело блестела крыша на солнце. Все казалось таким новым! Только фуражка деда Ивана еще больше состарилась и осела, словно весенний сугроб.

— Дедушка, купи себе новую, — просит Даша, — ты ведь уже купил мне кольцо.

Дед прищурился хитро:

— Фуражка старая, а крылышки на ней, да и молоточки, смотри как сверкают. Нет, мы с ней расстанемся не скоро.

Даша вздохнула:

— Только не приходи в ней ко мне в школу. У нас будет концерт.

И Даша протянула билет:

— Вот тут написано твое место.

Дед Иван только вздохнул:

— Как раз в этот день мне в поездку.

День концерта выдался погожим на редкость. Словно горячим утюгом солнце снега утюжило, бежали ручьи, воробьи купались в лужах. Даша на воробьев заглядываясь, поскользнулась, выпал из рук ее узелок и упал в лужу. В узелке были крылья из марли увязаны. Вымокли они и стали грязными. Стоит она, плачет, и видит сквозь слезы: мелькают рядом крылья стрекозы.

— Нашла, о чем плакать! Иди за мной, будут у тебя крылья настоящие, новые и не из проволоки.

Привела она Дашу на заливной луг. Нетронутый снег еще лежал вокруг, но прибрежные вербы уже тянули к синему небу свое серебро. Под вербами сверкал на солнце стеклянный дом. Даша вошла. Два жука-златки — лакеи в блестящих ливреях почистили ее пальтишко и платье и провели в залу с зеркальными стенами. Сама Царица стрекоз вышла к Даше навстречу.

— Одумалась наконец-то! Что толку тебе от колечка? А за него ты получишь крылья, которых нет красивей и легче.

Царица хлопнула в ладоши, и перед ней встал Мастер — кузнецик.

Даша, словно во сне, сняла и протянула ему колечко.

— Сбей с него камешек — забуду. Да только ровно. Камешек вставишь в мою корону, — приказала царица.

Мастер кузнецик поклонился и вышел. Влетели служанки стрекозы в синем и пунцовом. Следом два толстых шмеля — медведки, пыхтя, втащили плетеные из ивняка корзины — сетки.

И у Даши в глазах замелькало. Шуршание, сверкание... все новые крылья служанки из сеток и корзин доставали. Даша примеряла то одни, то другие. Выбрала наконец самые легкие и себе по росту. Царица стрекоз снова хлопнула в ладоши. Жужжа, влетели пчелы и осы. Осы держали зажженные свечи. Пчелы растопили на их пламени воск и прилепили к платью новые Дашины крылья.

Даша на концерт не опоздала. Объявили ее танец, и она впорхнула на школьную сцену.

Танцевала она, словно играла с речными волнами. То скользила над ними, то в них ныряла, поднимая фонтаны сверкающих брызг. То высоко взлетала над сценой, то стремглав летела вниз. В зале хлопали и кричали:

— Браво! Бис!

Назавтра в газете появилась ее фотография. Деду Ивану ее показали. Как он был горд! А потом позвонили по телефону: Дашу приглашали танцевать на праздники в Большом городе.

Дед Иван радовался:

— И у меня туда поездка. Едем вместе.

Даша нахмурилась:

— Ты будешь в своей фуражке? Нет уж, я полечу самолетом. Мне прибыть нужно раньше.

Погода в Большом городе была совсем другая. Снег там давно растаял, на деревьях уже набухли почки. Праздник решили устроить на площади. Солнце сияло, гремели оркестры. На высоком помосте прыгали клоуны, звенели веселые

песни. И вот, сверкая слюдяными крыльями, появилась танцующая летунья. Оркестр смолк, потом, спохватившись, заиграл громче. Даша танцевала, уже поднявшись высоко над площадью. Круг за кругом, круг за кругом. Прохладная голубизна неба у нее под ногами казалась ей заливным лугом. Далеко внизу были доски помоста. И все ближе горячее сверкающее солнце между облаками. И вдруг раздалось шуршание. Горячие лучи солнца растопили воск. И одно стрекозьё крыло, медленно шурша, упало на помост. Даша беспомощно взмахнула руками. Зрители на площади замерли...

Паровоз деда Ивана только еще подходил к городскому вокзалу. Паровозный ветер, который мчался следом, увидел Дашу первым. Он влетел в распахнутое окошко, сорвал с деда Ивана фуражку, двумя молоточками отбил с нее крылатое колесико, и вверх подбросил. Блестящие Крылышки вдруг выросли и стали крыльями, и колесо, поднявшись над городскими башнями и куполами, крепко встало Даше под ноги. Что ей страшно, Даша не подала виду, и плавно опустилась вместе с ним. Люди хлопали, что-то кричали. Они решили, что танец так был задуман заранее.

Домой они возвращались все вместе: Дед Иван, Даша и Паровозный ветер. С тех пор каждый год, лишь наступает лето, в Большой город прилетает Паровозный ветер. Там теперь Даша учится и живет. Дед Иван ее уже ждет. Приехав, она бежит на заливной луг. Слушать, как днем и ночью стучит мастер кузнецник своим молоточком. Все хочет сбить с Дашиного колеска незабудку — камешек. Но только ничего у него не получается.

Золотая веснушка

Не было в этот день в цирке человека печальней, чем клоун Афоня. В трамвае у него украли портфель. И не было-то там ничего ценного, только рыжий парик да немного денег на новые туфли его внучке Веснушке. Парик был Афоне дороже всего, без него ему в голову, хоть убей, не приходило ничего весёлого. Да и появиться он как есть на публике, все сразу увидят, что он никакой не Афоня, а Афанасьевич — старый клоун.

«Меня теперь и Пегашка, поди, слушать не станет», — печалился он.

Пегашкой звали его коня. На нём он выезжал задом наперёд на арену, Пегашка брыкался, сбрасывал своего седока, Афоня догонял его на руках и хватался за хвост, чтобы тот не убежал. А на коня сверху, с натянутой под куполом проволоки, прыгала Афонина внучка Веснушка и круг за кругом гарцевала по арене.

Веснушка по-настоящему не была Афоне внучкой. Лет пять назад, когда Афоня катал возле цирка на Пегашке ребят, к нему подошла замурзанная, чумазая девчонка.

— Ты чья? — спросил клоун.

— Сама своя.

Афоня везде узнавал — и вправду, ничья. Девчонку отмыли, и на её лице так и засияли крупные веснушки. На шее у неё висела ладанка с запиской, а в ней говорилось, что родилась девочка в ноябре в день святых Козьмы и Дамиана.

— Была бы ты парнишкой, назвал бы тебя Кузькой, а так будешь ты у меня проживать Веснушкой.

Поселилась девочка у него в каморке, стало светлее в ней, словно заглянул туда май с одуванчиками.

Афоня шутил:

— Ты их как-нибудь пересчитай. На двадцать рыжих веснушек обязательно найдётся одна золотая, счастливая.

Он стал учить внучку ходить по проволоке. Из куска красного плюша от циркового занавеса сам сшил ей туфли и, чтоб не скользили, натёр подошвы мелом. Сейчас они были уже маловаты Веснушке, но она терпела — терпит же Пегашка стёртые подковы.

— Ничего, — утешал внучку Афоня, — скоро купим тебе новые.

Вот и купил... Теперь надо ему новый парик, а про туфельки нечего и говорить.

А внучка Афони всё думала: а вдруг дед, говоря про веснушки, совсем не шутил? Пересчитала — их оказалось двадцать одна. Ну, значит, одна точно — золотая! Тогда поспешила Веснушка на Потеряиху, где жила Арефьевна, бабка-знахарка. Она вывихи правила, переломы лечила, к ней ходили все цирковые. А ещё она умела сводить родинки и бородавки.

— Мне нужно веснушку свести, — сказала девочка бабке.

Веснушка, что сидела у неё на переносице, золотилась, точно маленькая звёздочка. Арефьевна достала из печки золы, отколупнула с полена сосновой смолы, смешала их, помазала этим веснушку, забормотала:

*Было липучим,
Станет сыпучим...
Не липни смолой,
Осыпья золой! —*

перевела Веснушку через порог и поймала веснушку в белый платок.

Поблагодарила Арефьевну девочка, а потом спросила, где ей сменить золотую веснушку на деньги.

— Иди к часовщику, он золотишко берёт, — сказала Арефьевна и, проводив до ворот, показала дорогу к часовой будке.

Вошла Веснушка — кругом часы стоят, часовые стрелки ползут, минутные прыгают, часы тикают невпопад: тик-так. Возле окна сидит человек, весь в тёмном, в глаз его вставлено чёрное стёклышко. Девочка развернула свой платочек, часовщик взял веснушку щипцами и бросил на маленькие весы. Долго сквозь чёрное стёклышко смотрел на весы, потом сморщился, как будто его комар укусил, и протянул Веснушке погнутый пятак.

Девочка глазам не поверила:

— За мою золотую веснушку — пятак медный?

— Пятак — тоже деньги, вот так! — и часовщик подтолкнул Веснушку к двери. — Не дам я больше тебе ничего. Иди, иди!

Вдруг потемнело за окном, засверкала молния, загрохотал гром. В будке тоже потемнело. Порыв ветра распахнул двери и сорвал золотую веснушку с весов. Она вылетела в дверь золотой мушкой.

Следом выбежала и девочка, поймала веснушку, вскочила в подошедший трамвай — только её вспоминай! Трамвай привёз её на базар. А там грозы и нет. Народ толпится, продавцы заывают. Ходит по базару цыганка, ко всем руку тянет:

— Позолоти ручку! А я погадаю!

Рука у цыганки и так золотая — вся в кольцах, браслетах. Веснушка открыла ей свою ладошку:

— Купите вот это — мне деду помочь надо.

Взглянула зорко цыганка.

— Это нельзя ни купить, ни продать. Талант это твой, твоё счастье, — махнула юбками и ушла.

Вернулась Веснушка домой, но деда не нашла. Он ходил по городу, заглядывая в переулки и дворы: не бросили ли воры где его рыжий парик? Было уже поздно, и Веснушка, устав ждать деда, пошла к Пегашке. Он теребил клочок сена и, подняв голову, вздохнул грустно:

— А в небе так много золотого овса.

Прихватив Пегашкину торбу, Веснушка забежала домой, надела туфли из красного плюша, распахнула окно и шагнула туда, где овёс был рассыпан гуще всего — в небо. Ей было не страшно, по проволоке идти гораздо страшнее. И не сколько-то совсем: подошвы натёрты мелом.

Она наполняла и наполняла торбу овсом, вдруг опять загрохотал гром, словно кто ударял молотом по наковальне.

Веснушка пошла туда, откуда чудился гром. Она увидела закопчённую кузницу, два кузнеца-богатыря били молотами.

И были они похожи, как братья: одинаковые волосы, одинаковое платье.

Веснушка им поклонилась. Оставив работу, они поклонились тоже.

— Вы братья, наверное? — спросила Веснушка. — Уж очень вы похожи.

— Да, мы братья, Кузьма и Демьян, — ответил один. — И кто ты, знаем тоже. Но купить у тебя золотую веснушку не можем. Может, слыхала: меж людьми нас зовут бессеребренниками. За кузнечную работу свою мы не берем с людей денег. Видишь, бежит остроухий пес? Это мы ковали для него ошейник. Беги на землю, остроухий, — потрепал его за загривок Кузьма, — пронюхай, кто у клоуна Афони портфель унес.

Кузьма нагреб из горна раскаленных углей в железный ковш.

— Положи эти угли на сердце вору, чтобы жгла его совесть.

Убежал остроушка.

Демьян попросил:

— Дай, девочка, мне свою золотую веснушку. Говорят, золото не золото, не побывав под молотом.

Положил он золотую веснушку на наковальню, несколько раз молотом по ней ударил, опустил в кадку, где плескалась прозрачная вода. А потом приложил Веснушке к переносице, она и пристала туда, где была.

— Теперь уж у тебя её не отнять, твою веснушку счастливую, — улыбнулся Кузьма.

— И никому ее не продать, — добавил Демьян. — Домой знаешь дорогу? Иди с Богом.

— Мне ещё торбу забрать нужно, — вспомнила Веснушка. — Я её полную зерна набрала.

— Тогда придётся тебе подождать.

Оставил работу Демьян, пошёл за торбой, а Кузьма всё стучал и стучал молотом, пока не сковал четыре подковы.

И вдруг раздалось знакомое ржанье.

— Пегашка? Как ты сюда прибежал? Как меня нашёл? Вон ведь какое большое небо!

— По следам твоим, наследила ты мелом по небу.

Подковали Пегашку Кузьма и Демьян золотыми подковами, взвалили на него торбу и посадили в седло Веснушку. Долго девочке вслед братья руками махали:

— Где нас искать, знаешь теперь!

Мигом домчал Пегашка до дому, встречает Веснушку клоун Афоня, держит в руках свой портфель.

Куфадей

Жила на Озерной улице бабушка Ильинична. А с ней Муркот, пестрый котище. Жили они душа в душу, но, бывало, иногда и ссорились. Поймает кот воробья, бабка увидит — давай в окошко стучать:

— Выпусти птицу, бессовестный!

Выскочит из дому и давай охаживать веником! Или заберется котище в погреб сметанки да сливок попробовать. Ильинична, если застанет, на весь день без обеда оставит. Тайком Муркот в погреб лазил. Да как ни хоронился, попался-таки. Тычет его бабка носом в сметанную лужу, приговаривает: «Вот тебе, воровнищу! Вот тебе!»

Разобиделся Муркот на хозяйку не на шутку. Стала она из погреба вылезать, а он ей и пожелал:

— Чтоб тебе с лестницы свалиться!

Оступилась Ильинична на ступеньке и сломала ногу. Еле наверх выбралась. И отправили ее соседки на больничной машине в город. Вот рад Муркот! Вот уж рад! Не успела машина отъехать, он уже в погребе. Только кто это на него из угла смотрит? Батюшки светы! Страшный какой! Худой, как скелет, в стежонку одет. На голове облезлая ушанка. И руку протягивает:

— Ну, здравствуй, котофей! А я — Куфадей!

А руки-то нету. Пусто в рукаве-то.

— Ты ко мне в гости, что ли? — спрашивает.

— Нет, — трясется от страха Муркот, — я за сметаной.

— Что ж ты боишься? — смеется безрукий, — бабки-то нет. Хорошо я ей ножку подставил? Да нет и сметаны. Хозяйка моя, Куфадеиха, унесла ее на базар. Так что здравствуй и прощай! — и опять протянул пустой рукав. Зажмурился кот — и из погреба стрелой. Забрался на печку, из дома ни ногой. Но тут дверь отворилась: Куфадей с Куфадеихой пожаловали.

— Мы, — говорят, — теперь тут полные хозяева. — Куфадеиха сразу в шкаф с головой. Вылезла из него разнаряженная, в бабкиной юбке, в кашемировой шали. Кот опять охнул: под платком рук и в помине нет! На столе после бабушки пироги остались. Уселись за стол новые хозяева и давай их хватать. Откуда у них и руки взялись! И не руки — ручищи загребушие. Муркот хвост трубой, ходит, мурлычет:

— А мне бы сметаны мисочку!

Куфадеиха ему:

— Была да вся вышла сметана! А корову доить ни за что я не стану. Я — барыня важная, руки трудить не приважена.

Куфадей доволен:

— Куфадеиха вся в меня. Руки есть — как хватать. А дело делать — их не видать.

Перебрались новые хозяева наверх из погреба и давай таскать все из дому. Перетаскали кур на базар. Потом и петуха черед настал. Корову увели: рады, в стаеке никто не мычит. Даже дрова продали безрукие:

— Зачем нам печку топить? Мы еду у торговков купим.

Продали топор и сани, даже мышеловку сбыли с рук. А мыши ушли сами. Кот Муркот отошал и погрузстнел. Пропадает на озере, карасей ловит. На двух кирпичках жарит их во дворе, а сам горюет:

— Сейчас-то тепло. А осень придет, что тогда будет?

Куфадей же с Куфадейкой и в ус не дуют, всем довольны. Одно им не по нраву — лето стоит жаркое больно.

Предлагает Куфадей хозяйке:

— Переберемся снова в погреб.

— Ну нет! Ни за какие коврижки! Давай лучше сбудем лето с рук. Вот и не будет жарихи.

И ведь нашли покупателя! Того самого, что купил у них корову, кур, сани и дрова.

— Чем плохо? У всех по одному лету, а у меня будет два, — рассудил он. Приехал за покупкой на телеге. Стал лето в узлы увязывать, укладывать в короба и мешки. Все это потом — и бочки с дождями, и корзины с облаками — на телегу погрузил.

Убивается кот:

— Пропал теперь я с головой и хвостом! Увезут теплое лето, а у меня ни еды, ни дров нету! Поеду и я туда, где тепло! — Изловчился и залез в мешок. А в мешке чего только нет! И ягоды там с грибами, ласточки летают, бабочки порхают. Пригляделся в темноте и поморщился:

— Э! Да тут комары, и пауты, и осы! Этим, братцы, лучше не попадаться!

Распустил он мешок, стал гнать шершней, ос и комаров. А те расплзлись по углам, притаились за швами.

Зато бабочки, пчелы и ласточки долго не ждали: вылетели из мешка и на Озерную стремглав.

— Эге! — сказал кот сам себе и открыл крышку короба с облаками.

Белые легкие облака выплыли сразу, а тяжелые темные тучи остались. Прихватил кот связку солнечных лучей, ту, что жарче и погорячей, спрыгнул с телеги и задал деру!

На диво установилась на Озерной погода. Облака курчавятся, ласточки щебечут, теплынь, благодать...

А Куфадей с Куфадейкой маются:

— Ой, света не видать! Что толку, что продали лето? Житья от жарихи нету!

Не стерпели, ушли в погреб и крышку за собой закрыли поплотней.

Опять пропадает кот на озере, ловит карасей, сушит и впрок.

Однажды утром проснулся кот от тележного стука. Покупатель, что лето купил, пожаловал.

— Ну-ка, — говорит, — отвечай, где новые хозяева?

Струхнул Муркот:

— Не знаю.

Покупатель шуметь:

— Вы что мне продали? Разве это лето? Три недели подряд солнца нету! Комары с тучами! А ловить их некому! Ласточки где? Где пчелы? Из-за твоих Куфадеев я остался без меду! Забирай все обратно!

— Мне, — говорит хитрый кот, — тоже неприятно. Но ваше приобретение мне совсем ни к чему. Но я его, так и быть, заберу, если кур наших вернете, дрова, корову и сани. Какое лето ни есть, а зима не за горами.

Почесал покупатель в затылке и думает про себя:

— Сбуду с рук гнилой товар, а там поглядим!

Пока ездил туда-сюда, растрясло узлы, короба и мешки, на ухабах, кочках, расплескались с дождями бочки, комары и осы разлетелись кто куда.

Кот рад не рад, что избавился от такого добра. Но для виду изобразил обиду:

— А где добро? Что я скажу хозяйке? Вы за него хоть кур и корову отдайте.

Вернул незадачливый покупатель все без разговоров.

Тут уж пришлось коту поворачиваться! Свалилось на него все хозяйство!

На хорошую-то погоду куры яйца несут корзинами, ведрами. Ломится огород от огурцов и помидоров. Хорошо хоть, доит корову соседка Ильиничны. Она и масло сбивает, сметану снимает и сливки.

Вернулась Ильинична из больницы жива-здоровая. Огород обежала и сразу в погреб — спускать горшки со сметаной.

Не пускает ее кот, трется у ног.

— Не лезь туда лучше, там Куфадеи живут. Ах, загребушие! Это он, Куфадей, подставил тебе ногу!

— Ничего, — говорит Ильинична, — у меня есть подмога.

Спустилась она в погреб и давай углы крестить.

Заверещали Куфадеи:

— Ой, не надо! Мы ничего плохого не делали. Это кот сметану ест. Вот тебе крест!

Но не смогли Куфадеи ни пальцев сложить, ни руки поднять, пусты оказались у них рукава.

Наверху кот беспокоится:

— Вылезай, хозяйка, скорее!

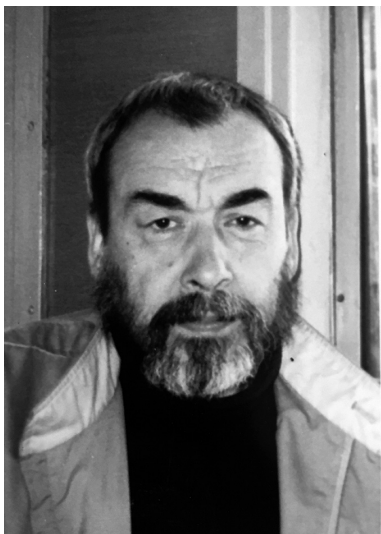
Ильинична снизу смеется:

— Были да сплыли твои Куфадеи.

Смотрит кот вниз, а в погребе пусто. Только валяются внизу две стеганные фуфайки, которые накрывали бочки с капустой.



МИХАИЛ КРЫЛОВ



Привет последних летних дней...

Печка-тройка

Я никогда не ездил на печах,
На русских, на разлапистых, беленых,
Боясь обидеть свой родной очаг
И строгость установленных канонов.

Ведь с печи начиналась жизнь в избе,
Да не могла б и теплиться — без печи...
И та брала весь груз забот себе,
Взвалив его на каменные плечи.

К тому же — в ней готовилась еда,
И вообще, в предназначенье строгом
Не предусматривалась никогда
Езда по вдрызг раздолбанным дорогам.

КРЫЛОВ Михаил Михайлович родился в 1940 году в Москве. Окончил Московский технологический институт пищевой промышленности по специальности инженер-технолог. Свыше 50 лет проработал по специальности. Одновременно с основной занимался литературной работой. Сотрудничал на московском радио. Был опубликован в таких газетах и журналах, как: «Слово», «Литературная Россия», «Крокодил», «Литературный Азербайджан», «Голос Родины», «Советский цирк», «Версты», «Вечерний Ташкент», «Арион», а также в коллективных сборниках. Автор пяти книг, в том числе двух поэтических — «Ночная птица» и «Печка-тройка». Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Но сказка не давала мне житья...
И иногда, в припадке рефлексии,
Мечтал промчать с разбойным свистом я
На печке вдоль по матушке России.

Но все мешало что-то... Всё никак
Не мог решиться. Да к тому ж, при этом
Я — не Иван, и вроде не дурак...
Ну, может быть, лишь с небольшим приветом.

Я долго ждал. И разбирала злость...
Неужто всё — я потерпел фиаско?
И все же верил. Вот и удалось...
Реальностью вдруг обратилась сказка.

Спасибо, что соседи помогли,
Сказавши как-то дружески при встрече:
— Езжай за всех, за честь родной земли...
Уж так и быть — даём тебе две печи.

Сбылось! Ну, грусть — тоска моя, молчи...
Спасибо, братцы. Выручили снова.
За пристяжных — соседских две печи,
Родимая моя — за коренного.

И, шапку оземь... Взмах кнутом... Вперед!
И вот, как ветер по России мчится,
Тобою снаряженная, народ,
Невиданная прежде, печка-птица.

Как будто, закусивши удила,
Летят все три, чтоб понимали люди:
Любые совершаются дела,
Когда о них мечтаешь, как о чуде.

Семь сорóк

Семь сорóк над старою берёзой
Вьются. Треску — господи спаси!
Мой сосед — угрюмый и тверёзый
Голову задрал на небеси.

— Вот, подумай... Что им все неймётся?
Мы стоим с ним на исходе дня
Возле деревенского колодца...
— Что им...? — вопрошает он меня.

Мы ворчим без пользы и без прока...
В вёдрах льдом подёрнулась вода.
Самая нахальная сорока
Нас с ним посылает иногда.

И откуда взялись, в самом деле?
Я не знаю, что сказать ему.
Но в деревне целых три недели
Нет от них покоя никому.

Семь всего. А шума на округу...
Вот ведь горлопанистый народ.
Осенью — другие птицы к югу
Все летят. Они ж наоборот.

Всё им плохо. Всё не слава богу...
А порою, наоравшись всласть,
Крутятся вокруг домов. И могут
Что-нибудь блестящее украсть.

Вечером, когда совсем стемнело,
Я, в избушке греясь у огня
И безделье променяв на дело,
Срифмовал все впечатленья дня.

Не шедевр, конечно. Зарисовка.
Небольшая. Три десятка строк.
И не размышлял над заголовком,
Озаглавив просто — «Семь сорók».

В городе в редакцию журнала,
Где когда-то был я привечён,
Я, не заходя домой, с вокзала
Заглянул. Да только не учёл,

Что теперь иная конъюнктура,
И народ в редакции другой...

Так меня редактор встретил хмуро,
Впредь к нему я больше ни ногой!

Близоруко глядяваясь в строки,
Он ворчал: — Хоть рифма не плоха,
Но кому нужны сейчас сороки,
В эру революции стиха?

Нет — хотя бы пару строчек матом,
И про толерантность упомянуть...
Дорогой, с подобным неформатом
Вам в любой журнал заказан путь.

Стих у Вас — замшелый и кондовый.
Старый штамп псевдонародных схем...
О глобализации ни слова,
Плюрализм не отражён совсем.

Наконец, решив, что хватит вроде,
Он, в грехах ужасных обвиняя,
После дёгтя вспомнил вдруг о мёде,
И решил попотчевать меня...

Завершил тоскливо и уныло:
— Да, не Бродский Вы, не Мандельштам...
Заголовок, впрочем, очень милый.
Жаль, что ударение не там!

* * *

Наш флаг на треть окрашен белым...
А мы в беспамятстве своём,
Где словом действуя, где делом,
Опять позиции сдаем.

Пусть на две трети красно-синий,
Но ждёт наш закадычный враг,
Когда взовьётся над Россией
И затрепещет белый флаг.

Враги едины и сплочённые,
Пусть их порой едва-едва...

А нас — сто сорок миллионов,
Но все — кто в лес, кто по дрова.

Довольно уповать на чудо.
Пора прийти в себя. Пора.
Уже очередной Иуда
Спешит за горсткой серебра.

Но все погоды ждём у моря,
И платим дорогой ценой
За право — замереть от горя
Над в вечность канувшей страной.

* * *

Рубят лес. Летят со свистом щепки,
Топоры вгрызаются, стуча...
Сталь тверда и топорища крепки,
Верен глаз лесного палача.

Почему палач? Зачем так грубо?
Ведь не людям головы сечет...
Скажут: — Обижаешь лесоруба,
Их у нас и так наперечёт.

Понимаю, что сравнение слишком...
Каюсь, не со зла, а сгоряча...
Не хотел обидеть — так уж вышло,
Просто, как и он, махнул сплеча.

Ведь без топора, как говорится,
Не согреться, не построить дом.
Сам рубил, но не могу смириться,
Ведь без топора, как говорится,
Ни согреться, ни построить дом.

С этой болью дерева живого,
С криком птиц у разоренных гнезд.
Падают деревья снова, снова...
Дорости мечтавшие до звезд.

В рубке леса — с нашей жизни слепка,
Очень трудно быть самим собой.
Дерево, топор ты или щепка —
Все давно расписано судьбой.

* * *

Октябрь. Тоскливо. Глухо. Сыро...	Мерцающие грозди ягод —
Сера деревня и пуста.	Привет последних летних дней...
Как гости из другого мира,	И жизнь — еще короче на год,
Калины льется свет с куста.	И на год — прошлое длинней.

* * *

Предатели... Спокойно ли вам ныне?	Похожи все предатели на свете.
Как живы вы, чья совесть не чиста?	Таких как вы — такие же и ждут...
Не тянет ли закончить на осине	Вот ворон — он не выключет, а эти —
Вас дни свои, иль броситься с моста?	И выключут, и вас же предадут.

Сейчас иная жизнь, иные нравы...	Хотя возможны к юбилейной дате —
Предатели порою на коне.	И орден, и медали в три ряда.
Поэтому и правые неправы,	Но только выше звания «предатель»
Когда вокруг неправые в цене.	Уже не заслужить вам никогда.

А ведь когда-то было все иначе —	Со дня того — вам без него ни шагу,
Петля на шею... Палача топор...	Пока навек не замолчат уста
Вы можете считать большой удачей,	Предавшего. Нарушил ли присягу...
Что изменилось многое с тех пор.	Сжег партбилет... Поцеловал Христа...

Последний журавль

Ноябрьское преддверие метели...
А там недолго до декабрьских вьюг.
Все журавли давно уж улетели,
А он не знает, что такое юг.

Но что ему такая непогода?
Хоть солнце жги, а хоть мороз озлись,
Десятки лет, в любое время года,
Он гордо и безмолвно смотрит ввысь.

Курлыканьем он неба не тревожит,
Весною не танцует на полях...
Да, он — журавль. Но он летать не может
И о живых не знает журавлях.

Для них людская радость или жалость,
Их провожают взоры далеко...
Он — чтоб ведро в колодец погружалось
И поднималось полное легко.

Но и его не пощадили годы.
Прогресс же как всегда жесток и груб.
Насос бездушный добывает воду,
И заколочен полусгнивший сруб.

* * *

В ночную тьму ушла из дома
Моя мятежная душа,
В объятия дождя и грома.
Я ждал её, едва дыша.

И где она всю ночь бродила,
Ни троп не зная, ни дорог?
Я ждал её. И тело стыло.
По жилам холод шел от ног.

Она под утро возвратилась.
Вошла, не поднимая глаз.
— Где ты была, скажи на милость?
Давно пробил урочный час!

Я не сужу, не упрекаю,
Всего лишь только жить хочу...
Она, дрожащая, рыдая,
Припала к моему плечу.



ВАСИЛИЙ МАЗНЕВ



Молодой коршун

РАССКАЗЫ ИЗ ДЕТСТВА

Пора покосная

Где-то в середине лета трава набирает силу и становится сочной. А на солнцепёке уже местами начинает жухнуть. Вот тогда-то и засобиралась семья Васька на покосы. В личном хозяйстве имелась коровёнка дойная, нетель-двухлетка да овечек несколько, и гордость матушки — пуховые козочки. И здорово эти козочки бюджету семейному помогали. В ту пору в сибирских сёлах у женщин был такой местный доходный промысел — вязание пуховых платков, шалей, как их в народе называли. Теплых, лёгких, как пушинки, и нарядных. Не каждая женщина могла себе позволить носить такой платок. А матушка была первейшая искусница в этом деле. И расходились её платочки-шалыки, добротны и с любовью связанные,

МАЗНЕВ Василий Иванович родился в 1947 году в селе Митрофановка Венгеровского района Новосибирской области. В 1966 году окончил 11 классов Венгеровской средней школы, после чего поступил в Иркутский политехнический институт на специальность «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность, как инженер-строитель, начал в институте «Иркутскгражданпроект», принимал участие в проектировании многих объектов в г. Иркутске. Руководил разработкой проектной продукции золото-медьизвлекательных фабрик на территории России (Иркутская, Волгоградская, Тюменская, Мурманская области, Якутия, Чукотка, Бурятия, Забайкалье) и Казахстана. Являлся руководителем экспертной группы по международному технико-экономическому обоснованию освоения Удаканского месторождения меди. Живёт в Иркутске.

по людям, рублей по 120 за штуку, не менее. Это были большие деньги в ту пору, и равнялись они месячной самой большой пенсии. Вязание шалей — труд очень кропотливый, требующий большого внимания, под силу, наверное, только терпеливой русской женщине. Долгими зимними вечерами вязала мама Васька это ажурное чудо в надежде купить на полученные за него денежки что-нибудь своим любимым детишкам. Да такое, чтобы было не хуже, чем у других, о чём не преминут отметить женщины в соседских разговорах. И это грело душу и придавало ей силы.

Обычно за зиму уходило на прокорм скоту два-три небольших стожка сена. Один для овец и козочек, обязательно из мелкоотравья, мягкого и душистого. Другой стожок — для коров, из грубой травы, осотом называется.

Как-то получилось тем летом, что поблизости от села отец не смог найти покосов. То ли не очень старался, то ли более расторопные подсутились и позанимали всё в округе. И тут семейство вспомнило о дядьке Валентине, родном брате отца. В ту пору дядюшка был личностью весьма интересной и самобытной. Председательствовал он в деревне Филошенка, что в сотне километров, на севере Венгеровского района. Деревня эта являлась центральной усадьбой колхоза. Раскинулась она на живописном берегу реки Аранцас, притока Тартаса, что течёт уже через родное село Венгерово, где Васёк и проживал с семейством. Народу в деревне немного, не более пятисот человек, а может, и меньше, одним словом, дальняя займка.

С утра загрузили в отцову машину все необходимое, да с первыми лучами солнца двинулись в путь неблизкий. Машина государственная, из местной сельхозтехники, где отец и работал. Он за рулём, мама рядом в кабине, а Васёк с дедом — в кузове, на специально сколоченной скамеечке. Ехали долго, с остановками и перекусами. И не потому, что так хотелось, а по причине того, что просёлочные дороги были вдрызг разбиты. Да и машина была не ахти какая резвая, бортовой грузовичок, знаменитая полуторка, битая и множество раз отремонтированная. Уже стало невозможно от тряски и долгого сидения на жёсткой скамейке, как наконец вдали показались первые деревенские избы.

Дальняя займка

По пыльной просёлочной дороге въехали на центральную улицу деревни. Дома стояли на ней деревянные, за высокими, рубленными из бревна высоченными таёжными заборами. Ворота солидные, с резьбой простецкой. Родная сибирская деревня, незатейливая по планировке, но жильё сработано добротно, из бревна соснового, на века. И тут дед, обычно не словоохотливый, речи повёл философские, с житейской хитрецей. Работёнка-то, мол, будет у нас с тобой, внучек, да и деньжата на прокорм тоже.

— Будет работёнка, будет, куда ей деться-то, — приговаривал дед, довольно поглаживая свою лысину.

А говорил дед о предстоящей работе, действительно, сущую правду, имея в виду кладку печей. Только посмотрел он на кирпичные трубы, торчащие над крышами домов, и тут же сделал вывод — дела печные в деревне совсем никудышные. Так оно и было. В районе хороших печников совсем мало, а уж тех, которые были, знали наперечёт. Особенно домохозяйки, для которых русская печь была самым главным инструментом в доме. Можно сказать, очагом семейным.

Дед Павел или, как его навеличивали, Павел Никитич, был одним из лучших печников в районе. Даже из дальних деревень за ним на кошевой конной повозке приезжали. А потом сами же и привозили после трудов праведных — так обхаживали только мастеров знатных.

В работе дед был суров и немногословен. Ваську пришлось испытать это на себе, когда взял дед его в помощники на лето в школьные каникулы. В работе он всегда наставлял Васька:

— Ты мой помощник и не должен вертеться у меня под ногами, когда я работаю. Видеть я должен твою помощь, а не твою суету. По движению моих рук и по работе, которую я делаю, ты должен угадывать, в чём я нуждаюсь. Либо мне нужно кирпич подать, либо обтесать его. Либо ведро раствора принести. Думай, а не жди окрика мастера, иначе ты — не помощник, а так себе.

Так и привык Васёк сызмальства к порядку и сообразительности. Повзрослев, стал от близких это требовать, но плохо получается — внуки все городские, душу деревни не приемлют.

Наконец подъехали к дому дядюшки. Усадьба его была собственностью колхоза, и при замене председателя он должен был освободить её, таковы были порядки Советского времени. О таких хоромы, что сейчас имеют чиновники, никто раньше и мечтать не мог, да и зачем? Все жили ровно, шибко богатеть смысла в наших краях не было, зато жили спокойно и весело, работали не нутужно, но основательно.

Весь оставшийся день семья пробыла на усадьбе не работая — как-никак, в гости приехали издалека. Есть о чём поговорить родственникам и о чём вспомнить, встречи ведь такие нечастые. Вечером взрослые собственного производства самогончики пригубили, как без неё-то, родимой, а потом песни пели русские, народные. Мама запевалой была — голос у неё звонкий и мелодичный, заслушаешься.

Ранним утром дядюшка поехал со всеми на покосы показать деляны на выбор. Отец уехал сразу назад в Венгерово — машина-то государственная. Дадена она была на короткий срок, вроде бы как мелкие запчасти в колхоз доставить и назад сразу.

Расквартировались

Сгрузила семья с машины свой нехитрый скарб на краю берёзовой рощи. Перед нею расстился большой луг, он-то и стал сенокосным угодьем. Все дружно приступили к устройству полевого стана. Жить тут предстояло больше недели, а погода могла быть невесть какой, и без укрытия — никак. Пока же светило солнце и, как говорили промеж собой в деревне, стояло ведро — устойчивая солнечная погода.

Ваську всё было в диковинку: новое место, незнакомая природа. А главное — ожидание работы, которой он раньше по малолетству своему не занимался. Дед обещал, что научит косить, а это ведь серьёзная мужская работа! Он загодя, ещё дома, и литовочку (косу) маленькую, но взаправдашнюю для любимого внука смастерил.

Балаган из молодых берёзок, укрытых ивовыми ветками, покрыли большим брезентовым пологом. И никакой дождь в нём не страшен, уже не раз проверено.

Соломку сухую на пол положили, заранее, еще в деревне, припасённую. Матрасы ватные положили поверх. Стало куда лучше, спи — не хочу, особенно после трудов-то праведных. Рядом с шалашиком кострище изготовили. Выкосили вокруг всю траву пожухлую, убрали мелкие сучья, чтобы пожар не случился от недогляду. Дед из лесу притащил две упавших от старости сосёнки на дрова — от них жар шибче, чем от других деревьев. Да и горят они веселее, потрескивают как живые. Матушка Васька, как домовитая хозяйка, разложила по местам посуду, продукты и всё такое, в хозяйстве нужное. Работу делали добротнo, не суетясь — обычное крестьянское дело, не впервой ведь.

Солнце уже на середину неба выползло, зависло прямо над головой, словно яблоко красное и спелое. Оттого и теплом подуло. Солнце в зените — полдень, стало быть, наступил. Жара несусветная, запахом разнотравья отдаёт. Хорошая погода — душа радуется! Плохо, что речушки рядом нет, а искупаться так хочется! Смотришь на солнце, а оно прямо над головой — это юг спереди, значит, будет. А за спиной — север, по левую руку — запад, а по правую — восток.

— Запомнить надо, чтобы в лесу не заблудиться, — подумал Васёк, оглядевшись вокруг. — Места-то неизвестные, таёжные, одно слово — урман непролазный.

Работать ещё не начали — не принято косить траву в полдень. В это время она становится жёсткой да и, говорят, витамины из неё улетучиваются. Вечером дед сделает первую проходку и литовочки отобьёт на утро. Потом обойдут покос все вместе. Косить тут надо не всё подряд, а только травку для мелкой скотинки, зелёную и разнотравную.

День уже за середину перевалил. Всё уложено и прибрано как надо, можно и отдохнуть.

Вечерняя вылазка

Вечерело, солнце скрылось за макушками деревьев. Густая тень от них покрыла ещё не скошенную траву и ставшую уже такой родной обжитую лесную стоянку. С берёзовой рощи потянуло прохладой, подул лёгкий освежающий ветерок.

«Ночь будет не такая душная, как вчера», — подумал Васёк.

Притомившись за день, дед с матушкой прилегли отдохнуть в балагане. И стал Васёк свободным от всяческих дел и поручений. Вот уж второй день доживала семья на покосе, а он так и не был ещё в лесу. А так хотелось попробовать местную клубнику, что в этих местах была сладкой да душистой, и росла в изобилии.

Небо высокое, чистое от облаков. До кромешной темноты была ещё уйма времени. В общем, подвернулся случай очень удачный для вылазки в лес. Васёк наскоро переобулся в кирзачи, а без них никак нельзя ходить в лес — опасно и боязно, частенько в лесу змеи попадаютсЯ, да не ужИ безобидные, а гадюки. Прихватив с собой лукошко и простецкий складной ножичек для храбрости, поспешил в сторону леса. Ваську казалось, что ягода там должна быть крупная и рясная, и спелости нужной.

Лес встретил его щебетом запоздалых птиц, шуршанием листвы и густой зелёной травой, доходящей до колен. Берёзы стояли вперемешку с кустами черёмухи и боярышника. Немного побродив вдоль кромки леса, Васёк понял, что места тут совсем не ягодные. Идти вглубь — зряшная затея, ну не растёт ягода без солнца! В надежде найти ягодную полянку решил он двигаться в одну сторону, на закат

солнца, а не рыскать как волчок по лесу. Ему казалось, да и все деревенские пацаны так думали, что чем дальше в лес, тем ягод больше. И она крупнее и слаще. Но, как оказалось впоследствии, и рядом-то ягоды было не меньше. Но пацаны жили своим умом и опытом, чем и гордились друг перед дружкой.

Долгонько шёл Васёк по лесу, продираясь сквозь густо растущий шиповник и кусачий боярышник, с трудом перепрыгивал через толстые стволы упавших от старости больших сосен. Подустав от борьбы с буреломами, хотел повернуть назад к балагану, но увидел впереди просвет между деревьями.

«На полянку, наверное, выхожу», — подумал Васёк и прибавил ходу. Но вышел он не на поляну, как думал, а на небольшое лесное болотце, уже давно высохшее.

Молодой коршун

В лучах заходящего солнца картина развернулась перед глазами впечатляющая. Этакое жёлтое блюдце, на котором торчат, как в пироге, высохшие болотные кочки в полчеловека ростом. Верхушки кочек одеты в травяные шапки, и местами на них алеют бусинки крупной алой клюквы. Берёзы плотным кольцом, как витязи в дозоре, обступили это маленькое чудо. Васёку показалось, что он внезапно очутился в сказке, до того всё это было необычно и завораживающе. Лёгкий ветер колыхал вершины высоких деревьев, создавая ощущение чего-то живого. И от этого стало немножко страшновато.

«Возвращаться надо, — подумал он, — земляника в этих местах, видно, сроду не росла, а клюкву собирать ещё рановато. Место незнакомое, ночь уж наступает, а путь назад не близкий».

Окинул последним взглядом волшебное болотце и уже хотел повернуть назад. Но то, что увидел у самой его кромки, заставило его остановиться. Могучая берёза со сломанной, видать громом, вершиной внезапно озарилась закатным солнечным всполохом. На самом верху, там, где ветки разметались во все стороны, возвышалось большущее птичье гнездо, в котором мог бы поместиться сам Васёк. Такого большого гнезда он в жизни не видел. В деревне, в берёзовой роще, что на острове у Подмарёвского озера, гнездились очень много грачей. Но гнёзда у них были намного меньше, размером с зимнюю меховую шапку взрослого человека. А тут такая громадина! Видно, птица была хищной и очень крупной. От этой мысли страшно стало: ведь кругом лес, и помощи никакой, если что случится. Но древний охотничий инстинкт, сидевший в нём, упорно подталкивал к дереву.

«Иди и посмотри, — нащёптывал он. — Ведь это не так страшно! В кармане у тебя защита, перочинный складной ножичек. Иди, иди, не бойся, ты же храбрый!»

Осторожно ступил Васёк на болотце, под ногами зачавкала водичка, видно, не совсем болотце высохло. Осторожно подошёл к дереву и внимательно стал разглядывать большое птичье гнездо. В нём стоит и не улетает большая птица, птенец ещё, наверное. Видно только недавно летать научился, потому и не боится человека. Чёрный коршун! Да, это был именно чёрный коршун — хищная птица, которая редко водилась в этих местах.

Плен

Молодой коршун одиноко стоял в гнезде и с интересом смотрел сверху на маленького человечка, который что-то громко кричал и размахивал руками. Птенец еще только начинал учиться летать, и только тогда, когда рядом были его грозные родители. А сейчас их нет, они улетели за кормом, оставив его одного, без присмотра, а тут такое происходит.

В начале Васёк попытался подняться по дереву к гнезду, но не смог. На стволе березы у самого гнезда не было сучков, и зацепиться было не за что. Тогда Васёк срезал тонкую и прямую березку, очистил от веток, у него получился длинный шест.

Шестом он начал стучать снизу по гнезду. Коршун забеспокоился и стал метаться. В конце концов это ему, видать, надоело, он подпрыгнул вверх несколько раз, расправил крылья и полетел. Медленно взмахивая широкими крыльями, он поднимался все выше и выше над болотом. Потом стал кружить над ним, паря в воздухе и медленно спускаясь к земле. Видать, устал от полета, силенок-то по молодости не хватало.

Совсем низко опустился коршун. С лету попытался сесть на болото, но, потеряв равновесие, упал, застряв между двумя кочками. Хлопает крыльями, а взлететь не может: капкан крепко держит.

Вот тут-то у Васька и мелькнула мысль поймать молодого коршуна. Бросился он бежать к месту, где упала птица, на ходу снимая рубашку. Подбежал, запыхавшись, а коршун так грозно смотрит на Ваську, шипит и головой мотает. Васёк зашел сзади и ловко набросил на голову птенца свою рубашку, он и успокоился. Осторожно завязал рукава рубашки, и коршуненок превратился в маленького ребенка, которого запеленали родители.

Васёк осторожно поднял тяжеленную ношу, прижал крепко к себе, и шустро зашагал к полевому стану.

«Нужно быстрее уйти подальше от гнезда, не то прилетят родители, большие коршуны, и тогда не поздоровится — заклевать могут».

С большим трудом дотащил Васёк свою добычу до полевого стана. Дед и маманя очень удивились и не могли поверить, как это маленький мальчик поймал такую грозную птицу.

Дед первым спросил, зачем Ваську коршун, и Васёк поведал, что давно хотел иметь свою собственную охотничью птицу: копчика или ястреба, а тут коршун попался — это еще намного лучше.

В деревне у одного пацана был домашний журавль, длинноногий такой. Отец его с охоты раненым привез, так они его всей семьей выхаживали, чтобы потом на волю отпустить.

— Ну что же, попытайся приручить коршуна, если у тебя получится, — сказал дед.

Мамка тоже была не против. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы делом занималось», — подумала она.

Васёк смастерил при помощи деда клетку из тальниковых прутьев, сверху накрыл ее куском брезента, чтобы дождь не капал. На пол набросал соломку и впустил коршуна в клетку.

Вначале он пытался вылезти в отверстия между прутьями, но ничего не получилось, и птенец успокоился.

Вот уже целых два дня жил молодой коршун в клетке, но корма никакого не принимал. Васёк приносил ему и хлеба, и рыбы, и мяса из супа, но он к этой еде даже и не прикоснулся.

Стоял в углу клетки, нахохлившись, и не двигался долго. Только большие выразительные глаза говорили о том, что он пристально следит за тем, что происходит вокруг. Временами он издавал резкие звуки наподобие клекота, наверное, звал своих родителей на помощь, а они его не слышали.

Встреча со змеей

Долго смотрел дед, как Васёк безуспешно пытается хоть чем-то накормить непокорного пернатого пленника.

— Иди-ка ты, унучек, — так почему-то обращались старшие в деревне к своим малым. — Иди-ка ты в лес да излови птенцу голодному змейку маленькую али ящерку, не то он у тебя с голоду помрёт.

В ловле змей деревенские пацаны имели кой-какой опыт, так как в окрестностях встречались они нередко. Особенно часто квартировались змеи в местах болотистых и клюквенных, где на покосах люди на них и натывались. Был и у Васька такой случай.

Как-то прошлым летом они с дедом сено косили на дальней поляне. Рядом с покосом раскинулся большущий рям. Так в народе называли болотистое место, на подходах к которому росли клюква и брусника. Всегда, когда шли в рям за ягодой, брали с собой ивовый прутик, гибкий, длиной в свой рост, не более. Прутик-то этот и служил орудием защиты, а вернее, нападения на змей.

В свободное от работы время отправился Васёк за брусничкой. Собирает ягоду, выбирая только крупную да спелую, полведёрочка уже набрал, а хочется ещё больше. Увлёкся в азарте, по сторонам не оглядывается, осторожность всякую потерял. Спина вот только ноет, разогнуться хочется. Ягоды-то собирать — это тебе не за грибами охотиться, там труд интеллигентный, ходи да поглядывай внимательно. Вконец уставший, он выпрямился во весь рост, надумав маленько отдохнуть. Огляделся вокруг — место незнакомое, угрюмое какое-то. Кругом болотные кочки да тальник, вдаль — водная гладь поблескивает. Лес, из которого вышел к болоту, уже далековато.

«Буду возвращаться и тогда ведёрко сполна и доберу», — решил Васёк.

Обернувшись назад, от неожиданности он замер на месте. В трёх шагах, на болотистой кочке лежала свернувшаяся в клубок большая гадюка! Наклоняясь за ягодой, он, видать, её не заметил и прошёл мимо, не нарушив её покой. С испугом смотрел он, как змея разворачивается, поднимая голову. Она шипела и вибрировала тонким язычком, предупреждая его, что готовится к защите, а в худшем случае и к нападению! Глаза Васька и гадюки встретились, и он очнулся от оцепенения. Выхватил из-за голенища сапога ивовый прутик и резко, как саблей, сделал выпад в сторону змеи. Удар прутика пришёлся чуть ниже змеиной головы. От сильного удара она, переломившись, упала и задёргалась в конвульсиях. Осмелев, Васёк подошёл к кочке, на которой лежала поверженная змея. Туловище её было в средней части какое-то толстое-толстое.

«Она, наверное, недавно проглотила мышку и спокойно её переваривала, — подумал Васёк, — а тут — я нехстати».

У деревенских пацанов было такое поверье, что убитую змею надо обязательно повесить на дерево. И умрёт она окончательно, только когда солнце сядет за горизонт. Если же ты так не сделаешь, то змея оживёт и когда-нибудь, встретив тебя в лесу, вспомнит и ужалит до смерти.

Сбросив змейку прутиком на землю, он наступил сапогом ей на голову, чтоб наверняка. Да не подрассчитал, лопнуло у неё брюхо, а оттуда полезли маленькие змеята! Беленькие такие, размером с пиявку, но уже делают стойку и пытаются шипеть! Одним словом, змеи — они и есть змеи. Гадюка та оказалась самкой. И никакую мышку она не проглотила, а была на сносях и ждала детенышей.

Бабка Шима

Как вести себя при встрече со змеями, Васька обучила его родная бабушка, когда он был совсем маленьким.

Бабушка с отцовской стороны, нареченная родителями Ахимией, в простонародье звалась бабой Шимой. Значилась она у наших деревенских знахаркой и повитухой. Ну, не такой уж чтобы знаменитой, но кое-что она всё же умела, и народ к ней хаживал время от времени. Ваську доводилось видеть, как она лечила детей от испуга. Испугается ребёнок какой-то неожиданности, а это в деревнях случилось частенько, станет бояться темени или ещё чего, один дома не остается, всего пугается и плачет. А ещё хуже — немтырём станет, молчит и не разговаривает, или заикаться начнёт, а до этого такой говорливый был. Вот тут-то бедные родители и вспоминают о бабе Шиме, и бегут к ней за помощью. В бабкином лечении самое главное было установить, кто или что испугало мальчика. Это как по нынешним временам диагноз поставить. И процесс этот вот как происходил.

Ставила бабка на стол большой эмалированный тазик с налитой до краёв водой. Не торопясь зажигала толстую парафиновую свечку. А когда парафин начинал плавиться и стекать со свечки, с троекратной молитвой подносила её к тазу. Расплавившись, парафин капал на холодную воду и, мгновенно остывая на её поверхности, превращался в причудливые узоры. Бабка внимательно изучала эти фигурки и только по одному ей понятному признаку объявляла окончательный диагноз.

— Малец-то ваш петухом испуган, — говорила она и тушила свечку.

Весь обряд происходил в полной тишине. Была бабушка Шима смуглой и смахивала на цыганку, что делало её таинственной и загадочной. После этого начиналось само лечение — наговорами и травами. Но Ваську это уже было неинтересно, да, собственно, это уже совсем другая история.

Но вернёмся к змеям. На кухне, на глухой стенке над бабушкиной кроватью висел шкафчик. В нём она хранила всяческие разности, нужные для знахарства. Как-то без спросу заглянул Васёк в этот шкафчик, развернул белую тряпицу, а там змейка лежит! От его неловкости и испуга змейка-то на пол и упала. Смотрит он на неё, смотрит, а она лежит себе спокойненько! Не ползёт и даже не двигается, присматривается, что ли? И тут он догадался — так ведь она же совсем неживая, да по правде даже мёртвая! Да и не змея это вовсе, а только высохшая её шкурка!

В природе многие змеи раз в год меняют шкурку, можно сказать, линяют наподобие зайчиков. Ползают они, ползают, а шкура постепенно отстаёт от них. И в конце концов они выползают из неё, но уже в новой шкурке, намного красивее старой.

Такую сброшенную змеёй после линьки шкурку находил Васёк потом не раз в лесу и самолично приносил её бабушке. От такого подарка пребывала она в большой радости и угощала внука гостинцами.

Ловля змей

И вот, по совету деда Павла, засобирався Васёк в лес поймать для голодного коршуненка змейку маленькую.

Охота на змей — занятие нешуточное и опасное. Опыт у Васька в этом деле небольшой, но имелся. Прошлым летом, на покосах отлавливал он змей, и не один раз. Главное в этом деле — быть смелым и решительным. Хорошее и надежное орудие для ловли смастерить также немаловажно. Недалеко от балагана Васёк заприметил молоденькую стройную березку высотой с рост человеческий.

Вот она-то как раз и годилась для этого. Срубив березку и тщательно очистив ее от сучков, на тонкой вершине сделал надрез и расщепил кончик пополам.

Вилка настоящая получилась. Осталось только раздвинуть вилку на толщину туловища змеи и закрепить это положение, просунув между лепестками вилки обычную палку-клин с палец толщиной. Стоит только выдернуть этот клин, как лепестки вилки сжимаются и накрепко охватывают тело змеи, и тогда ей уже никуда не деться.

Первую змейку Васёк обнаружил у самой кромки леса невзначай, чуть не наступив на нее. Осторожно шел он за ней, не делая резких движений, а она, причудливо извиваясь, все дальше уползала в чащу леса.

«Уйдет ведь хитрая, уйдет», — сообразил Васёк.

Но тут случилось то, чего Васёк не ожидал. На пути змейки сосна большая стояла, она-то и перегородила ход беглянке. От неожиданности змея остановилась, остановился и Васёк, буквально в трех шагах от нее.

Змея подняла голову и стала медленно заползать на дерево, всякий раз шевеля своим ядовитым язычком. Тут Васёк, изловчившись, прижал вилкой к дереву и отпустил палку-клин. Змея стала извиваться, бить хвостом по палке, но было уже поздно — ловушка захлопнулась, клин крепко обхватил ее тело. Обрадованный удачной охотой, Васёк поспешил к балагану.

Молодой коршун, как всегда уныло, стоял в углу клетки и, казалось, не обращал ни на кого внимания. Васёк открыл дверцу и подбросил змейку к ногам коршуна. Только один раз клюнул он змею в голову, та и затихла. Есть её не стал, не понравилась, видать, а может быть, объявил забастовку.

Коршун — птица вольная

Третий день после поимки коршуна выдался пасмурным. С утра моросил мелкий дождик, лениво и не переставая. Землю накрыло сплошным белым туманом, как лёгким пушистым одеялом. Запах скошенной травы усилился, и воздух, наполненный душистым настоем, вдыхался легко. И оттого на душе было радостно. На покосах такое редко встречается. В такую погоду не работают. Вот выглянет солнце из-за туч, подсушит скошенную траву, вот тогда и грести, и копнить, и стога метать можно.

А сейчас каждый должен сам себе найти занятие. Дед Павел, как всегда, начнёт литовки отбивать, чтобы были поострее, после чего косить сподручнее и легче. А делается это так. Толстое берёзовое полено ставится вертикально, или «на попа», как принято говорить среди деревенских. В верхнюю часть вбивается маленькая наковаленка — это такой квадратный кусок металла с хвостиком в форме гвоздя. Дед садится рядом и, положив полотно литовки на наковаленку, стучит по нему молотком — тук, тук, тук. Полотно расплющивается и становится тоньше. Потом дед берёт оселок (это такой точильный брусок) и легонько начинает затачивать полотно, то с одной стороны, то с другой — вжик, вжик, вжик. Ну, почти как кухонные ножи дома точат, только это намного сложнее и опаснее. После такой заточки литовка становится острющая, и траву косит как по маслу, без напряжения.

У мамки работа всегда одна и та же — вкусно накормить своих мужиков-работников. Приготовить еду на костре — дело кропотливое и непростое. Но ей это не впервой, и всегда всё получается вкусно. За уши не оттянешь!

Зная, что всё будет, как и должно быть, Васёк решил посмотреть на своего пернатого пленника. Осторожно подошёл к клетке. Молодой коршун стоял неподвижно в углу. Глаза его, живые и пронзительные, зорко следили за происходящим. Положенная ему с вечера еда была совсем не тронута. Только в мисочке заметно убавилась водица.

«Голодовку, видать, объявил, — подумал Васёк, — а может, это совсем и не его коршунская еда?».

Глядя на птицу, томящуюся в клетке, он подумал, что если птенец долго не будет есть, то погибнет. И впервые у Васьки мелькнула мысль: отпустить пленника на волю. А тот будто почувствовал, что сейчас решается его судьба — быть ему вольной птицей или нет. Он подошел к дверце клетки и сделал несколько коротких взмахов крыльями, показывая всем своим видом, что готов улететь в родное гнездо хоть сейчас! Васёк понимал: отпустив птенца, он навсегда расстанется с давнишней мечтой: на зависть пацанам, иметь собственного коршуна-охотника. Он подошёл близко к клетке, и глаза коршунёнка и мальчика встретились. Перед Васьком в клетке стояла молодая, сильная, гордая и вольная птица! И Васёк окончательно понял, что молодой коршун никогда не смирится с пленом, никогда!

Осторожно открыв дверцу клетки, он отошёл в сторонку. Коршун вертел головой и не мог понять, что от него хотят. Зайдя с другой стороны клетки, Васёк легонько постучал по ней палкой, направляя птицу к открытой дверце.

— Выходи же наконец, выходи, глупый, — раз за разом повторял он.

Пленник нерешительно двинулся к дверце, остановился на мгновение и сделал первый шаг к свободе. Озираясь по сторонам, он, видимо, пытался вспомнить где он и, самое главное, в какой стороне его родное гнездо. Окинув мальчика прощальным взглядом, коршун сначала медленно, а потом всё быстрее стал разбегаться, хлопая своими большими крыльями. Давалось это ему нелегко, никак он не мог подняться на крыло. На краю полянки всё же оторвался от земли и взлетел. Взлетел, тяжело взмахивая большими, отвыкшими от полета крыльями. Поднявшись над макушками деревьев, он стал парить над землёй, как это делали его родители, взрослые коршуны. Васёк вначале бежал за ним и пытался догнать. Но где там, разве угонишься! В конце концов он устал и потерял птенца из виду. Позже, вспоминая этот полет из неволи, Васёк так и не смог понять, как коршун определил, в какой стороне его родное гнездо. Это направление он почувствовал безошибочно, как будто кто-то позвал его оттуда.

Возвращаясь назад, к полевому стану, Васёк всё думал о своей мечте иметь собственную охотничью птицу. Он обучил бы ее рыбачить на реке, как не раз сам это видел. На рыбалке он бы выпускал своего коршуна, и тот бы ловил рыбу. И не только для него, но и для всех пацанов, когда ни у кого она не ловилась! Тогда все друзья умерли бы от зависти!

«И всё же правильно, что я отпустил коршуна на волю. Люди должны жить с людьми, звери со зверями, а птицы с птицами», — подумал Васёк и успокоился.

Мелко морозящий дождь как-то незаметно перестал, ветер утих, лесные птички выпорхнули из укрытий и защebetали весело и звонко. Стрижи закружили высоко над землёй, а это старый верный признак хорошей погоды. Радуга на горизонте появилась, да не одна, а целых две. Раскинулись они дугой от одного края земли к другому. Красота неземная!

«Природа так быстро изменилась к лучшему — это, наверное, потому, что я сделал то, что и должен был сделать настоящий человек», — подумал Васёк. И душа его наполнилась светлой радостью.



ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА



Мне сон был радостный и вещий

* * *

Вечер тянет бабу Надю
Сесть за пальцы в уголке,
Вышивает баба гладью
Клевер на льняном платке.

Вспоминает: в сорок пятом,
За извиистой рекой
Собирали с младшим братом
Клевер красный луговой.

Слаще он всего на свете!
Огоньком горит в руках!

И свистит-гуляет ветер
В детских впалых животах...

Развалился — эх, предатель! —
Туесок с прогнившим дном.
И догнал их председатель,
По лопаткам бил кнутом...

Тот трилистник незабвенный —
Цветом крови на платке.

Снится бабе: немец пленный
Клевер варит в котелке.

ЯКОВЛЕВА Екатерина Викторовна родилась в 1986 году в городе Заполярный Мурманской области. Стихи пишет с детства. Окончила Мурманский гуманитарный институт. Публиковалась в газетах: «Литературная Россия», «Мурманский вестник», «Вечерний Мурманск», в альманахе «Площадь Первоучителей». Автор поэтического сборника *«Дай мне целое»* (2015). Лауреат I степени премии имени К. Баева и А. Подстаницкого в номинации «Поэзия». Лауреат II степени всероссийского литературного форума имени Н. Гумилева «Осиянное слово». В настоящее время работает в городской больнице скорой медицинской помощи. Живёт в Мурманске.

* * *

Я не знал, как это страшно —
В дом, где были мы вдвоем,
Приходить как в сон вчерашний,
Падая в дверной проем.

Нет тебя... Что это значит?
Что за странный эпилог?
Сумасшедший, не иначе,
Выдумать такое мог!

Тишину не нарушая,
Не включив в прихожей свет,
На пороге, как у края,
Понимать: тебя здесь нет.

Слышу лишь, как глухо, редко
Сердце рвется сквозь висок.
И земля, как табуретка,
Вылетает из-под ног.

* * *

Дождь июльский, полуночник
Ненароком отыскал
Твой игрушечный совочек
В груди теплого песка.

Птицей тронутую ветку,
Тихий щебет, летний гул,
Ты, упав, разбил коленку,
Ветер ласково подул.

Вспомнил твой звенящий голос,
Смех в тени цветущих лип,
Золотой, как хлебный колос,
Локон, что ко лбу прилип.

Словно прикоснувшись к тайне,
Замер дождь, в себе храня
Хрупкое еще дыханье
Новорожденного дня.

* * *

Белобрысый парень Кольча
В знак того, что мы друзья,
Смастерил мне колокольчик —
Славный, да звонить нельзя!

Несуразный как хозяин,
Только память дорога!
Словно бы из света сваян,
А возьмёшь — дрожит рука.

Звук бежит — да спотыкнётся,
Захлебнётся на бегу,
Ловит зыбкий лучик солнца
Дыркой в глиняном боку.

Вдруг увидишь берег отчий,
Травы трогают плечо.
Кто услышит звон тот, Кольча,
Тот вернуться обречён.

* * *

Ступлю босыми в зверобой,
Укравший золото у солнца,
И детство, словно пес слепой,
К колену моему прижмётся.

Там, запрокинув вверх лицо,
Клен к небу тянется устало.
И время свёрнуто в кольцо —
Конец всё там же, где начало.

Не вздрагивай же, бог с тобой,
Мне сон был радостный и вещий,
Что где-то ждут меня домой,
Мои не убирают вещи.

На дверце кованной печной
Чугунный конь сгибает шею...
На сердце, как на водопой,
Спешит и, припадая, млеет.

* * *

Нарисовать бы, только не умею,
Спасаясь этим от тоски и страха,
Цепочки лунный блик на смуглой шее,
Затерянный за воротом рубахи.

И твои пальцы, пахнувшие «Примой»,
Дрожащие, как будто бы на флейте...
Я говорила: жизнь проходит мимо,
А жизнь вся уместилась в том моменте,

Когда твои засушливые губы
Причиной жажды становились сами,
А дальше был лишь мир простой и грубый,
С покинутыми где-то чудесами.

* * *

Она была во сне, как наяву,
Её лицо от нежности светилось:
«Прости меня, от радости реву,
Не то б не развела такую сырость».

На подоконник грудью налегла,
Горшок с цветком поправила привычно.
«Подранок милый, как твои дела?
Какая блажь тебя терзает нынче?».

О, нынче клёны яростней горят
И под ноги швыряют рыжей пылью,
И я иду, как прежде, наугад
По грани между вымыслом и былью.

Ждать не умею... И на красный свет
Перебегаю мокрую дорогу.
На этой стороне мне правды нет,
Да и на той, я чувствую, не много.

В ларьке хотела прикупить конфет,
Которые ты любишь — козинаки.
Опомнилась. Купила сигарет.
По-детски дождь захныкал: «Враки! Враки!».

Да нет, дружок, всё так, — я говорю, —
Нам и во сне свиданье — божья милость,
Смеюсь в лицо больному сентябрю,
Успею плакать. Я не разучилась.

Бойё

По-сучьи зубы обнажив,
Застив холодной пылью небо,
Металась тундра. Ты был жив,
Как никогда доселе не был.

Шёл белый пламень, как в аду,
В ладоней потемневших корки
Вгрызался. Ждал, что упаду
Я в снежный сон, слепой и горький.

Среди людей, среди собак —
Всё было для меня едино!

Здесь каждый третий был мой враг,
И от него смердило псиной!

Ты спас бы, слова одного
Хватило б, и движенья даже!
На страже сердца моего,
И маленькой души на страже.

Но слово — будто не моё —
Застыло в нервном шатком свете.
Кричу беспомощно: Бойё!
И крик заполняет ветер.

* * *

Вытряхиваю всё из кошелька,
Смотри, старик, и я могу быть доброй,
Хотя тащусь по свету, словно с торбой,
С душой пустою, как твоя рука.

Аккордеон закашлялся и смолк,
Ему минута только — отдышаться,
Скукожились рубли в дрожащих пальцах,
Монетка закатилась под сапог...

Поверишь ли, в тебе я узнаю
Далёкого родного человека,
Которого не видела полвека —
Лица почти не помню, но люблю!

Да, музыка — внутри, а не вовне,
И глухота к ней — тяжкое увечье,
Но мне её услышать было легче,
Когда ты руку протянул ко мне.

* * *

Лишь одной из многих она была,
В ночь совсем истаяла как свеча,
Но макушкой солнечной подожгла
Деревянный выступ его плеча.

И ночную тьму перерезал свет,
Заплясал огонь, как цепной медведь:
«Что болит в груди, где и сердца нет?
И да может ли пустота гореть?»

По безликой улице побежал,
Полыхал как факел, а после сник,
И с дождём на пару тушил пожар,
Заливали вместе за воротник.

Наконец, к утру он совсем потух,
Чёрной пылью кашлял в большой кулак,
Отраженью в луже сказал он вслух:
«Так тебе и надо, дурак».

* * *

Друг мой, потеря вчерашняя,
Был или не был, ответь!
Эта ли жизнь — настоящая?
Это ли, милый, не смерть?

Спросишь: о чем же я сетую?
Скажешь: назад не гляди...
Детскую песенку светлую
Мы утопили в груди.

В сердце холодном, как в проруби...
Но позабыть не смогу,
Как хоронили мы голубя
В чистом январском снегу.

* * *

Спешил мальчишка малых лет,
В большом пальто на хрупком теле,
За пьяной матерью вослед,
Во двор, где сломаны качели...

И вдруг упал... Под ним земля
Холодно-скользящая, как мрамор.
«Устал я... Подожди меня!
Я не могу так быстро, мама...»

Но голос треснул, как стекло,
Лицо — подобием оскала...

Мать отвечала глухо, зло:
«А кто б спросил, как я устала?»

Минута эта длилась век,
И опустевшим небо стало.
Упала пуговица в снег,
Звездой последнею упала.

И он с трудом подняться смог,
Начерпав снега рукавами,
И я увидела, как Бог,
Устав, закрыл лицо руками.

АЛЕКСАНДР ДИВЕЕВ



Затуманилось сердце надеждой

Старый дом

Всё тебе непривычно кругом.
Осмотришься. Улыбнись. Не спеши.
Ты вошла осторожно в мой дом,
Старый дом одинокой души.

Ставни окон, как веки, открой.
Здесь не смерть — летаргический сон.
Здесь давно не живёт домовой,
Как и я — всё скитается он.

Серых дум облака разгони.
Ты поплачешь потом, а пока
Паутину повсюду смахни
Бедным веником из полынка.

Окна тёплой водою умой.
Приберись. Отдохни. И, как знать,

Может быть, не случайно, в трюмо
Голубую увидишь тетрадь.

И на росной забытой заре,
После светлых бессонных часов,
Как в Дивеевском монастыре,
Окупись в мой источник стихов.

Ранним утром, халатик надев,
Ты сойди потихоньку с крыльца
И послушай щемящий напев
Развесёлого раньше скворца.

Этой грустью прошита вся Русь.
Не пугай ты его, не тревожь, —
Я сюда никогда не вернусь,
Да и ты — погостишь и уйдёшь...

ДИВЕЕВ Александр Алексеевич родился в 1951 г. в деревне Ундольщино Ртищевского района Саратовской области. Выпускник экономического факультета СЭИ. Автор поэтических книг *«Звезда Антарес»*, *«Планица Души»*, *«На кресте любви»*. Публиковался в журналах «Волга–XXI век» (Саратов), «Природа и человек. XXI век» (Москва), «Странник» (Саранск), «Новая Немига литературная» (Беларусь), «ДОН новый», «Наш современник» (Москва), альманахах «Стрежень» (Тольятти), «Литературный Саратов». Победитель, призёр, лауреат и дипломант 39 поэтических международных и других конкурсов. Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2014». Живёт в г. Ртищево.

Паломник

Ветром столетий минувших повеяло.
Ёкнуло сердце. Душой встрепенулся.
То ли я просто приехал в Дивеево,
То ли на родину предков вернулся?

Сколько дорог и тропинок мной пройдено!
Всё же привёл в край заветный Спаситель...
Здравствуй, Четвертый Удел Богородицы, —
Дум моих светлых святая обитель!

Очарованьем величья неброского
Всей своей сущностью я наслаждался:
К раке с мощами святого Саровского
С благоговением я приложился.

Там, где ступала Царица Небесная —
Лица паломников светлы и кротки.
Тихо прошёл вдоль Канавки чудесной я,
Перебирая с молитвою чётки.

Думы тяжёлые, мысли порочные
С сердца смахнуло спокойной волною
Там, где с целебной водою в источнике
Утром купался я с лёгкой душою.

Храмы... Соборы... Наклонная звонница...
Сколько Небесного, дивного сколько!
Чудо закончилось. А за околицей
Старый автобус сломался надолго.

Кто-то шутил: «Собрались, видно, грешники».
Сникли улыбки. Уж стало смеркаться.
А мне казалось: из времени прежнего
Кто-то со мной не хотел расставаться...

Кулёма

Фотографий на стенке немало:
Мать, отец, муж, невестка, сынок...
И все видели: снова упала,
О родимый споткнувшись порог.

Как, заплакав от старческой боли,
Утешала себя: «Невзначай».
А надясь — вместо сахара соли
Намешала в малиновый чай.

Для неё не осталось опоры.
Всё зовут за собой облака.
Сердцем чувствует старая: скоро
Сын приедет за ней. А пока...

Не сидится без дела кулёме
(Так, себя упреля, зовёт).
Посшибала* траву возле дома,
Дескать, тут ещё кто-то живёт.

Телефон... Сразу сбилось дыхание.
«Не дозвонишься? Как до Кремлю!
Как я тут? Да всё отдыхаю,
Телевизор смотрю да дремлю...»

Затуманилось сердце надеждой,
Что не скоро уедет, хоть впрок
Припасла чёрный узел с одеждой
И землицы родной узелок...

За чужие ль грехи или просто,
Что душою уж больно светла —
Бабка мимо родного погоста
На чужбину свой крест пронесла...

Ты уходишь всё дальше

В дорогое окошко мне теперь уже не достучаться.
А зелёная краска, словно листья, пожухла на раме...
Я сюда вырывался — Боже праведный, каюсь! — нечасто,
Говорил, улыбаясь: «Вот и я! Не ждала? Здравствуй, мама!»

Вечер тихий приветил тишиною за отчим порогом.
Старый пруд и деревня в звёздном свете опять утонули...
Ты уходишь всё дальше по дороге, где ходят и боги.
Я в сомненьях терзаюсь: «В жизни вечной тебя догоню ли?»

Предназначено роком мне во мгле долгих лет раствориться,
В изумленье ль с обрыва полыхнуть огнегивым болидом, —
До последнего дня я в одиночестве буду молиться,
Чтобы светел был путь твой в тёмном холоде царства Аида.

... На невзгоды не сетуй. Бренной жизни поток быстротечен.
Всё же счастлив ты, если осознал в сонме грусти и гама,
Что живёшь-то всего-то ради светлой единственной встречи,
Ради слов несказанных: «Вот и я! Не ждала? Здравствуй, мама!»

*Посшибала — скосила кое-как.

Звёздные колокольчики

Если думы и грусть снова бранный покой мой нарушат,
Стану слушать в ночи, позабыв про усталость и сон,
Как в небесной тиши колокольчики звёздные — души —
Разливают окрест свой хрустальный таинственный звон.

Он струится с небес, звон нисходит от звёзд синеоких.
А его волшебства... ну, не много ли мне одному?!
И в колени свои я в раздумьях уткнусь, одинокий:
«Что случилось со мной? Почему ж я один? Почему?»

А в ответ огоньки тихо гаснут в полночных окошках
И сизифова грусть снова мается с камнем в груди...
Неужель заросли муравой к Вечной Жизни дорожки,
Поезд жизни земной всё стоит на запасном пути?

Я невольно очнусь. Тишина — как на старом погосте.
Вот и время пришло закрывать Храм в предутренний час...
Может быть, звон пришёл к нам в печали из Вечности в гости,
А возможно, звонят колокольчики просто по нас.

Станут звёзды вокруг потихонечку блёкнуть и падать.
Колокольчиков звон... Он Божественной лире сродни...
Переполнит к утру души звёздные светлая радость:
Как же! — вспомнили их, если в окнах проснулись огни...

Огни

От любви мне стало холодней,
И давно от страсти не пьянею...
Гонит Муза, гонит лошадей,
Я не знаю, что творится с нею.

Гаснет вечер, ночь уже близка,
И ямщик мой плётки не жалеет.
Пышут жаром вороных бока,
Дождь холодный душу мне лелеет.

Далеко ли? Времени в обрез?
Это, друг мой, лишь Всевышний знает.

Как благословение небес —
Призрачно огни вдали мерцают.

Кто-то всё же пустит на ночлег, —
На Руси жить без добра устали.
С Музой, как с подругой светлых лет,
Проведу я ночь на сеновале...

Ветер, стужа. Рядом уж огни, —
Золотые, жёлтые, родные!
Только разлетаются они,
Как созвездий звёздочки чужие...

Хрустальный август

Не ругай меня, что снова я пою о звёздах синих, —
Без меня им, может, грустно в бесконечных небесах.
Время катится беспечно, но зачем-то я и ныне
Имена их повторяю наяву и в лучших снах:

«Вега, жёлтая Капелла, белый Сириус, Антарес,
Как рябина — Бетельгейзе и Полярная звезда...»
За плечами годы шепчут: «Отлюбилось, отмечталось...»
Звёзды ясные мигают: «Утечёт всё, как вода...»

Ты прости меня, что реже о тебе я вспоминаю —
Прежних чувств не растревожат ни жалейка,
ни свирель...

А вокруг хрустальный август, и, в безмолвии сгорая,
Рыжей осени в угоду льётся звёздная капель.

Если чёрной лунной ночью затрепещется сердечко,
Сон увидишь ты прекрасный — не смотри его, проснись,
Выйди из дома тихонько, прислонись к берёзе-свечке
И на звёзды голубые, улыбнувшись, помолись.

В срок печальный кану в вечность, в брэнной жизни
намытарясь,

Веря в то, что надо мною будут ластиться всегда
Вега, жёлтая Капелла, белый Сириус, Антарес,
Как рябина — Бетельгейзе и Полярная звезда...

СЕРГЕЙ ПОГОДАЕВ



Дорожу лишь сказкой о Святой Руси

Далёкая война

Глобален мир и замысел глобален.
А где-то люди бродят средь развалин:
для них уже настал конец времён.
Ты не виновен в этих преступлениях?
Ты весь в благополучных отдаленьях.
Не иск пока, а риск тебе вменён.

* * *

Порой сознаю удивлённо:
живу, словно надо отжить.
А после вернусь просветлённым:
реваншем себя ублажить.

И хочется, в общем-то, мало:
предстать настоящим, другим.
И всем доказать запоздало —
всем, кто не ценил меня, — им!

Конкретно кому — непонятно!
Ещё непонятней — зачем?
Что прошлое? — смутные пятна.
Клубок отработанных тем.

И зыбкая памяти бездна
досадные прячет слои:
вдогон искупать бесполезно
былые ошибки свои.

ПОГОДАЕВ Сергей Егорович, родился в Братске в 1959 году. Окончил геологоразведочный факультет Иркутского политехнического института и международный факультет ИрГТУ по специальности «Реклама». Работал токарем, геологом, машинистом котельной, строителем. Стихи публиковались в журнале «Сибирь» и «Литературной газете». Автор книг «Когнитивный резонанс» (2014) и «Проекции» (2018). Живёт в Иркутске.

Родился сын

Закатываю шторы, как поднимаю флаг;
неспешно выпиваю кружку чая.
Родился сын: я счастлив, мечтательно размяк —
ЕГО звеном важнейшим назначая.

И я во что-то встроен, и я звено в цепи,
и я к чему-то прочному пришёл же!
Мне предки завещали: упорствуй и терпи;
продолжи род ответственно, продолжи!

Родился сын, наследник, и мысли всё о нём!
А в думах — поколений вереница.
Совсем я успокоюсь, когда весенним днём
у сына тоже первый сын родится!

Гимн

Мы тоскуем в нашем гимне
по иной стране.
Значит, всё же взяли Зимний
те, кто жил «На дне»!

Возникают пустоты

Возникают пустоты, растворяется нить.
Не отпущен с работы друга я хоронить.
Эта вечная гонка, ненормальный режим —
вот и рвётся где тонко в пятьдесят с небольшим!

Говорил же он как-то, что смертельно устал.
Мы пехота де-факто, и понятен финал:
скоро всем поколеньем тихо выйдем в тираж —
импульс наших стремлений дальше не передашь.

Не давить бы на жалость, нужным быть перестав.
Чтоб игра продолжалась, заменяют состав.
Да и годы — к закату, пик давно позади.
Соответствуй формату или дома сиди!

...Нам обещано место и в посмертном строю.
А узнаем с небес-то мы Россию свою?
Неизбывность разлуки начинается тут.
Может хоть наши внуки лучше нас проживут!

Дорожу лишь сказкой

Достаются крохи от земных щедрот:
То ли мы так плохи, то ли строй не тот?

И отцы терпели над собою кнут,
ради смутной цели избегая смут.

До какой опушки через топь и грязь
нам катить царь-пушки, с нищетой мирясь?

...Злюч я в глине вязкой, желчен я еси!
Дорожу лишь сказкой о Святой Руси.

...Был бы вождь-надёжа — справедлив и яр —
поднялись бы всё же супротив бояр!

Верецагин

Уж не знаю, за что мне обидно, но я мзду до сих пор не беру!	Очень трудно придётся России: появилась вдруг в людях гнильца.
В положенье своём незавидном всё служу, прогоняя хандру.	...Пусть запомнят меня молодые «честь имеющим» до конца!

Тост

Сколько вы пережили, милые вы мои!
Как надрывали жилы ради своей семьи!

Вырастут наши дети — им бы достигнуть звёзд!
Мы же — за всё в ответе — тянем посильный воз.

Дачи купить успели, холим клочки земли.
Ставя простые цели — Родину сберегли!

Судеб драматургия... Не было б вот, войны...
Счастья вам, дорогие, — с праздником всей страны!

Старик

Старческий серпантин, творческий серпентарий. Вот и дожил до руин бедный поэт-пролетарий.	Верю, что он хотел труд воспевать когда-то! Вирши про честный хлеб, сборник «Моя бригада».
Каждому свой удел, помыслы и расплата.	Искренен был и слеп: думал, народу — надо!

Глух испокон народ
к тонкостям изъяснений.
Не приставай — пошлёт,
хоть ты и трижды гений!

...Прав ли старик, говоря:
«И поделом стихоплёту!»

Может быть всё и зазря,
но ведь по большому счёту!

Где наш рабочий класс,
согнанный с пьедестала?

Гордости нет у масс,
самосознания мало.

Двадцать первый

Прежний век был волкодав —
номер двадцать.
Нас учили: если прав —
не сдаваться!

Создавать пора стачком,
огрызаясь.
Двадцать первый — век-очко,
век-мерзавец!

Путём зерна

*...получить урожай зерновых хорошего качества
от семян массовых репродукций невозможно.*

Из статьи в интернете

...Путём зерна. Путём зерна...
Душа земле родной верна —
литературной ниве.
Но мы — плохие семена.
Ты преврати нас в хлеб, страна!
Вскорми другие имена —
так будет справедливей!

Постепенность

Постепенность во всём — ошибаться нельзя,
впрочем, помню: рука шахматиста
превращает обычную пешку в ферзя,
а слона боевого — в статиста.
Невозможен победный исход-результат,
безусловно, желанный когда-то;
не видать мне и зрелого пата:
продолжают маневры войска невпопад.

Есть ли что-нибудь нам за пределом «доски»?
Не позволят стоять даже сбоку.
Разжимаешь стального цейтнота тиски
завершением партии к сроку.
Я, как этот король, проторчал в затишке,
подчиняясь стандартной разметке.

Тоже нонсенс: «свободные клетки»!
Чуешь пальцы стратега порой на башке.

И этюды теперь — беспросветная дичь:
быть разменянным больше не модно!
Собирался настичь, собирався постичь:
настоящая мудрость — бесплодна.
Всё ни шатко, ни валко — своим чередом;
еле слышен тревожащий зуммер.
Но, покуда «властитель не умер»,
добиваюсь ничьей хоть, упорным трудом.

Раб

В начале было Слово,
и в Слове было «раб».
Дождлся выходного —
стихи писать пора б!

Гневлив и неприкаян,
отзывчив, но бескрыл.
Не обессудь, Хозяин,
и я твой дар зарыл!

Ярмо одно и то же:
паши, пока живой!
Несчастный раб, я должен
талант вернуть с лихвой!

...Всё просто и непросто:
непишущий поэт
сыграет роль компоста
для рвущихся на свет.

...Режим автопилота:
работа, дом, семья.
Не пишется мне что-то —
выматываюсь я.

Проявленности Бога
в мерцании сердец.
Нелепый ты немного,
страдальческий венец!

Сон о приближенье

Сон о приближенье, о «почти».
О молчком съедаемом сухпае.
Некая непройденность пути
на твоей ладони проступает.

Надо постараться, надо смочь!
Как-то одолеть и эти вёрсты.
Ночь, покуда правит миром ночь,
белые ущелья не развёрсты.

Похвалялся, идучи на рать,
а теперь оправдываться впору:

жизни не хватило отыграть
данную в запальчивости фору!

Не особо много ты постиг:
нам доступно только приближенье;
только уяснение из книг
сути бесконечного движенья.

Снежная встречает целина
поезд, замедляющийся мимо.
Путнику, что смотрит из окна,
поле перейти необходимо.

* * *

Неизвестный читатель, присягнувший Сети, как больного в палате ты меня посети.	Это разве не чудо — интернета среда! Ты прочтёшь ниоткуда — я писал в никуда.
---	--

Почитай мои вирши — неплохие вполне, о гордыне-вампирише, об изнанке-цене.	Только каждый тут, кстати, не открою секрет — Неизвестный Читатель и Безвестный Поэт!
---	--

Циклоп

Циклопу жалко глаза —
глаз где-то есть, зараза:
йог, слопанный на ужин,
не завершил рассказ.

Вздыхнул циклоп уныло,
дослушать можно было!
Он так в пещере нужен —
надбровный третий глаз!

Дерево

«Верхушка, вольготно под солнцем тебе?
Там птички поют о счастливой судьбе!
А мы тут стоим и не ропщем —
корнями, вот, держимся, в общем!»

...Вершине весь свет, а не мне, не комлю!
Ведь я это, тёмный, всю тяжесть терплю —
моя корневая система!
Не правда ли, острая тема?

Пусть спилят что выше — я пнём доживу,
чужую на срез принимая листву!
Зато, заработавший грыжу,
хоть неба кусочек увижу!

...Повалено ветром, лежит на боку
огромное дерево в самом соку —
как будто низвергнуто с трона.
Уж слишком пышна была крона?

Аввакум

В тесном тамбуре — словно в таборе,
правда, курят все — не поют!
Выпивающий, выступающий,
выживающий русский люд.

Восприму я бред о причинах бед;
колыхнётся дум пелена.

От иных трудов не вкусить плодов:
вроде истина... и — стена!

А вселенная — тяжеленная!
Чёрный трюм она, белый шум!
Оглянись вокруг — затухает звук.
Это вакуум, Аввакум!

* * *

Светлое изнеможение.
Нужно немного поспать.
В принципе, да, достижение —
самого края опять.

Цель безгранична во времени —
ей весь ресурс моих сил!

Об уменьшении бремени
я никогда не просил.

Делаю, господи, делаю —
делаю я, что могу!
Жизнью оплачена целую
встреча на том берегу!

* * *

Вечное Синее Небо.
Снова душой я не здесь.
Кроме понятной насущности хлеба
сфера духовного есть.

То, что над смертными нами,
над коллективной судьбой.
Всадник незримый качнёт стремянами,
плетью взмахнёт голубой!

Чуток возникшей струною
замер я, словно молясь.
С духами предков, родной стороною
чувствую, чувствую связь!

Сутью проникнуться мне бы:
даст и последний приют
доброе Вечное Синее Небо —
пристальный наш Абсолют!



ПРОКОПИЙ ГРОМОВ

Прощальный взгляд на Российско-Американские колонии

При переходе колоний Российско-Американской Компании во владение Соединенных Американских Штатов, на прощанье с нашими питомцами, бросим беглый взгляд на их прошедшее и настоящее в отношении церковном.

В 1697 году во обдержание России поступила северо-восточная оконечность Азии — Камчатский полуостров. Пообжились, поосмотрелись здесь русские населенцы, и не утерпело их ретивое, чтоб не отведать счастья и на водах океана, разделяющего северо-восточный берег Азии с северо-западным Америки.

Сержант нижнекамчатской команды Емельян Басов, прельстившись грузом мехов, добытых экспедицией Беринга на прилежащих к Камчатке островах, построил небольшой шитик, и летом 1743 года на этом утлом суденышке пустился по волнам океанским для боброва промысла к Берингову проливу. Удача была наградой отважному. Он решился предпринять и второе, и третье, и четвертое плавание, — и каждый раз возвращался в Камчатку с огромным уловом морских бобров, простиравшимся иногда тысяч до шести, не говоря о котиках и голубых песцах. Возвратившись из второго плавания, по словам его, с (...) островов 6 октября 1746 года, он сделал первый вклад в Нижнекамчатскую Успенскую церковь, состоявший из 48 бобров, 13 маток и кошлоков, 70 песцов, 60 котиков и 58 хвостов бобровых и кошлоковых (по нынешним ценам более чем на 10 т. р. серебр.). А в третье плавание открыт им остров, с которого привез он в Камчатку 50 фунтов самородной меди, получивший название Медного. Примеру Басова последовали потом купцы Серебряников, Чупров, Чебаевский, Трапезников и другие, которые за земноводные сокровища, приобретаемые от островитян, не остались у них в долгу, указав им путь к Сокровищнице Небесной.

На первый раз промышленниками вывезено было в Камчатку в 1764 году шесть алеутов, которые приняли православную веру, и были окрещены священником Ключевской церкви Максимом Лазаревым. Затем на судах промышленников купцов Бичевина, Ламского, Чебаевского и других привозимы были алеуты с островов Умнака, Акутана и Уналашки, принимали здесь святое крещение, и, по возвращении на родину, свет благодатной веры мало-помалу разносили между соплеменниками. Извещенный об этом иркутский епископ Софроний поставлял Камчатской проповеднической свите в обязанность пронести слово Евангельской проповеди на острова Алеутские; а компания тотемских купцов Петра и Григория Поповых даже предлагала настоятелю Камчатских церквей протоиерею Стефану Никифорову готовое судно для отправления на Алеутские острова миссионера и для возвращения его потом на счет же компании в Камчатку. Только никто из тогдашнего Камчатского духовенства, к сожалению, туда не поехал.

Между тем, как частные компании, посещавшие Алеутские острова, не были очень разборчивы в средствах приобретения, подрывали одна другую, хлопотали о скорой наживе и не щадили бедных островитян, несмотря на благосердный наказ императрицы Екатерины II, подтверждавший промышленникам обходиться с новыми их собратьями алеутами ласково, без малейшего притеснения и обмана: рыльский именитый гражданин Григорий Иванович Шелихов наказ царицы приложил к своему сердцу. Соединившись с курскими купцами, братьями Голиковыми, он задумал образовать компанию, более отвечающую требованиям человеколюбия и порядка, и наименовал ее Американскою. Изготовив и вооружив в Охотске три судна, 16 августа 1783 года отправился на них в Восточный Океан. Прозимовав на Беринговом острове, в следующем году, плывя по направлению Алеутских островов, 21 июня Шелихов пристал к острову Кадьяку. Неприязненно встреченный островитянами, Шелихов сумел их не в долгое время привязать к себе ласковым обращением и подарками до того, что они стали к нему стекаться тысячами и охотно давать аманатов. Шелихов прежде всего устроил на Кадьяке школу для 25 мальчиков, и постепенно приучал островитян смотреть на себя как на их друга. После утверждения своего пребывания в Кадьяке, возведения крепостцы на другом острове Афогнаке, и после описания берегов Шелихов положил таким образом первое основание Российским колониям в Америке. Компания Шелихова учреждена была на паях; обоснованный им складочный капитал в 1796 году уже по смерти* его составил из 724 тыс. р., внесенных 20 торговыми домами, и разделен на 724 акции по 1000 рублей каждая. А в 1799 году 8 июля компания эта принята под Высочайшее покровительство и названа Российско-Американскою.

С уважением произносится имя приснопамятного Григория Ивановича Шелихова, как доброго сына отечества, до самоотвержения потрудившегося на пользу общественную. И церковь хранит память его во благословении. Первою жертвою во благотворение его Богу за успех дела было ходатайство пред правительством, чтоб как можно скорее внести во мрак диких племен свет Христов, прислать на открытые им острова веропроповедников. Все издержки компания принимала на свой счет.

Шелихов, по занятии Кадьяка, в 1787 году возвратился в Иркутск, и первым делом его, как доброго, ревностного христианина, было представление правительству о назначении в Америку Духовной миссии для проповеди слова Божия народам, приобретаемым под Российскую державу.

Предложение Шелихова тем было удобоисполнимее, и тем более давалось Правительству простора не стесняться составом миссии, что предлагавший ее Григорий Иванович Шелихов и доставление миссионеров в Америку, и содержание их принимал на себя. Святейший Синод в 1793 году определил послать на Кадьяк духовную миссию под начальством известного образованностью и честным житием Валаамской обители иеромонаха Иоасафа Болотова, которому ради большего благолепия в служении по именному повелению даны были митра, наперсный крест и сан архимандрита. В помощь Иоасафу из той же Валаамской обители

**Григорий Иванович Шелихов родился в 1748 году, а скончался в Иркутске 20 июня 1795 года, на 47 году своей жизни. Погребен в ограде Иркутского Знаменского монастыря против алтаря. Богатый над могилою, обложенный мрамором мавзолеем с рельефом из бронзы его портретом возбуждает душевное уважение к достойному сыну отечества. Его супруга Наталья Алексеевна, скончавшаяся в Москве 25 марта 1810 г., поставившая над ним памятник, много вспомоществовала возведению вокруг Иркутского Знаменского монастыря каменной ограды.*

даны три иеромонаха: Ювеналий (из горных офицеров), Макарий и Афанасий; два иеродиакона: Стефан (из офицеров) и Нектарий; монахи: Иоасаф и Герман, и два церковника.

Иоасаф Болотов, как не рядовой миссионер, вызывает более подробное о себе слово. В 1761 году 22 января Тверской губернии, Кашинского уезда, в селе Стражкове у священника Ильи Болотова родился сын, нареченный Иоанном. Рано обнаружили в Иоанне Болотове ум и энергия. Начально обучался он в Кашинском уездном училище, находившемся в Дмитровском монастыре, затем обучался до богословского класса в Тверской семинарии, а окончил курс в числе отличнейших в Ярославской семинарии, и поступил на должность учителя в Угличское духовное училище. По истечении четырех лет на этой должности принял иночество в Ярославском Толгском монастыре на 26 году от роду с именем Иоасафа. Из Толгского монастыря перешел в Югскую Дорофеевскую пустыню, а из нее в Валаамский монастырь.

24 марта 1794 года архимандрит Иоасаф Болотов прибыл со своими спутниками в Иркутск, и 2 мая отправился в подлежащий ему путь в Америку. На острове Кадыке миссионеры нашли русское поселение. О добром, сострадательном сердце о. Иоасафа свидетельствует следующий анекдот. Перед отправлением в Америку счел он за долг побывать в селе Стражкове и принять благословение престарелого своего родителя. Потом был в Кашине, где находилась сестра его. Проходя к сестре мимо избы, находящейся под горою, что близ Кашинской Введенской церкви, увидел он крестьянина, который в нетрезвом состоянии попавши в эту трясины, никак не мог из нее выбраться, хотя до твердой земли было не более двух аршин. За неимением при себе трости, Иоасаф снял с себя единственную шелковую рясу и бросил ее утопающему вместо веревки. Бедняк ухватился за полы рясы и избавился от верной смерти, вытащенный Иоасафом (слышанное от сестры его покойным П.И. Пежемским). По природной даровитости, отличавшей Иоасафа и необыкновенным даром слова, скоро ознакомился он с языком туземцев. Не замедлил построить на Кадыке деревянную церковь, и в короткое время успел обратить в христианство несколько тысяч островитян, послав Ювеналия и Макария проповедниками сперва по всему острову Кадыку, а затем и на другие острова, о чем сказано будет подробнее в своем месте. О. архимандрит Иоасаф писал к родным своим в высоком восторге, что Господь благословил труд его, расположив сердца язычников к принятию истин святой Веры, так, что нередко приходилось ему с сотрудниками совершать в один день крещение над сотнями. А чтоб из самих же туземцев иметь на будущее время священно- и церковнослужителей, с этой целью открыл он училище, приносившее желаемые плоды.

Но ревнитель дела Божия Шелихов и этим не удовлетворился. Где же, думал он, приготовленным в Кадыкском училище туземцам принимать рукоположение в священников? Надо будет отсылать их для этого в другую часть света, к архиерею Иркутскому, как к ближайшему к Америке, хотя между Кадыком и Иркутском лежат десятки тысяч верст чрез океан, Охотское море, чрез топи, более чем на тысячном протяжении залегающие между Охотском и Якутском. С какими трудностями, с какою медленностью и с какими издержками сопряжена будет эта посылка! Да и вообще, влияние Иркутского архиерея на миссию, которую нельзя же не подчинить ему в известных отношениях, не будет ли только номинальное, а между тем неизбежные формальности в сношениях не послужат ли вообще к замедлению предназначения миссии? Обдумав это, Шелихов с компаньоном сво-

им Голиковым сделали правительству новое представление, чтоб в Америке на острове Кадьяке учредить епископскую кафедру. Содержание архиерея компания опять брала на себя; кандидат на епископство был уже на лице опробованный: и Святейший Синод, с высочайшего соизволения, в 1796 году определил: архимандрита Иоасафа Болотова возвести в сан епископа; иметь ему пребывание, по-прежнему, на острове Кадьяке, и именоваться *епископом Кадьякским, викарием Иркутским*. Ему предписано для рукоположения выехать в Иркутск, и принять оное от здешнего епископа Вениамина.

Расстояние было причиною, что Иоасаф не мог прибыть в Иркутск ранее 30 ноября 1798 года (он квартировал в Иркутске у Василия Шелихова, надобно думать, брата Григория Ивановича). Ему спутствовали из Америки иеродиакон Стефан и один из церковников. Но как обратный путь в Америку не мог предначаться ранее мая, когда раскрывается река Лена, по которой лежит водяной путь до Якутска, то декабрь, январь, февраль и март архимандрит Иоасаф употребил на изготовление к подлежащему дальнему путешествию, а главное, на приготовление себя к принятию нового высокого сана. Затем в 6-ю неделю В. Поста 3 апреля 1799 года было его наречение во епископа Кадьякского, а 10-го числа в неделю Ваий, самое рукоположение, совершенное иркутским епископом Вениамином в Иркутском кафедральном соборе. По каноническим правилам епископа должны рукополагать три, и только в крайности, два епископа. В настоящем случае допущено было исключение по той причине, что другого епископа, ближайшего, нужно было вызывать из Тобольска, — на расстоянии взад и вперед 6 т. верст. А это было бы и затруднительно, и медленно, и чрезвычайно дорого для компании, на которую упали издержки.

10 мая 1799 года преосвященный Иоасаф со своими спутниками выехал из Иркутска; в Охотске был помещен на компанейский корабль «Феникс» и, конечно, взоры и сердце его были обращены к острову Кадьяку в Америке. Но судьбы Божии неиспытаны, и неисследованы пути Его! Корабль «Феникс» в Кадьяк не пришел и назад не возвращался, — со всеми бывшими на нем погиб без вести. Вот истекает уже с того времени седьмое десятилетие, а об участи корабля и плывшего на нем первого просветителя алеутов Иоасафа, ни малейшего открытия — где, как и что с ними случилось. Гадали, по некоторым признакам, что кораблекрушение случилось уже близ Кадьяка, говорили даже, будто бы в виду Кадьяка, но только гадали и говорят. Одному Богу известны подробности события и причины, почему епископ Иоасаф не допущен к дальнейшему духовному деланию в Америке. При разговоре об этом событии с бывшим генерал-губернатором графом Н.Н. Муравьевым-Амурским, я услышал от него замечание, которого, казалось бы, нельзя было ожидать от сановника светского: преосвященный Иоасаф, сказал он, погиб потому, что рукоположен был, в нарушение канонов, одним епископом.

В заключение скажем, ссылаясь на летопись покойного П.И. Пежемского, что от преосвященного Иоасафа осталось описание острова Кадьяка в топографическом, климатическом, статистическом и нравственном отношении, которое было послано им из Иркутска в Св. Синод, и напечатано в октябрьской книжке 1805 года журнала *Друг просвещения*.

Преосвященный Иоасаф, как иркутский викарий, отличен был от других викариев совершенною, кроме наименования, независимостью от епархиального архиерея. Он получал указы непосредственно из Св. Синода. При нем назначалась своя *Консистория Кадьякская*; Святейший Синод даже сам назначал в нее

секретаря из синодских канцеляристов Константина Кокшарова, но за выходом его Кокшарова в ведомство Адмиралтейств Коллегии, секретарем Кадыякской консистории утвердил отрекомендованного с отличной стороны иркутским епископом Вениамином канцеляриста Иркутской консистории, переименованного в губернского секретаря, Михаила Иванова Громова (родной брат моего отца. *Редактор-издатель*), который однакож умер в Иркутске 24 мая 1800 года. По выезде преосвященного Иоасафа из Иркутска епископом Вениамином получена была для передачи ему высочайше пожалованная бархатная архиерейская ризница, которая и была отправлена на другой год в Кадыак, и дошла благополучно. Архиепископ иркутский Михаил во время своего управления просил у Святейшего Синода дозволения ризницу эту по ненадобности в Америке перевезти в Иркутский кафедральный собор, но соизволения не получил. Она пригодилась на Кадыаке через сорок лет для своего епископа Иннокентия.

Шелихов, по занятии Кадыака и Афогнака, возвратившись в 1787 году в Иркутск, встретился здесь с известным ему по уму, деятельности и отваге каргопольским купцом Александром Андреевичем Барановым, имевшим торговые дела в Восточной Сибири. Шелихов упросил Баранова отправиться в Америку и занять место правителя в новых его заведениях. Баранов предложение принял, и в 1790 году достиг Кадыака. Для его деятельного ума владения русских, заключающиеся в пределах островов Кадыака и Афогнака, были слишком тесны. И первым шагом Баранова было занятие мест на материке Америке в Кенайском и Чугацком заливах; здесь усмирил он диких, враждебных обитателей и покорил под власть России. В 1796 году основал селение в Беринговом Заливе, или Якутате, а в 1799 году занял обширный остров Ситху, где обитали и обитают многочисленные, сильные, жестокие и браннолюбивые колоши. За эти подвиги по ходатайству главного правления Российско-Американской компании в Петербурге император Александр I возвел Баранова из купеческого сословия в достоинство коллежского советника и наградил орденом Св. Анны 2-й степени. В Ситхе утверждена главная фактория и заведена торговля с приходящими сюда иностранными кораблями. В последствии времени возведение здесь в 1817 году храма во имя Архангела Михаила усвоило месту наименование Новоархангельска. Между тем незабвенный Григорий Иванович Шелихов в 1795 году в Иркутске скончался.

Тогда как Баранов расширял в Америке пределы Русских владений, русские миссионеры распространяли в ней православное христианское учение. Скажем теперь подробнее об участии каждого из прибывших сюда с архимандритом Иоасафом в 1794 году. Иеромонахи Макарий и Ювеналий в том же году осенью объехали весь Кадыак и окрестили всех жителей. В следующем году Ювеналий отправлен был в Нучек, где окрестил более 700 душ чугач, затем всех жителей в Кенайском заливе. В 1796 году он переправился на Аляску, и здесь был убит туземцами, которым не понравилась его проповедь, как думают, потому, что воспрещала многоженство.

Иеромонах Макарий в 1795 году был отправлен в Уналашку и окрестил всех алеутов этого отдела. Но, как говорил он, ему предлежало спасать жизнь свою не от туземцев, а от русских кампанейских прикащиков, на этих островах свирепствовавших, которых удерживал он от варварского обращения с алеутами. Выведенный всем виденным из терпения, он подговорил одного из тоионов Лисьих островов с несколькими алеутами бежать в Россию для принесения правительству жалобы. В байдарах достигли они Охотска, из которого перебрались в Якутск. От-

сюда Макарий писал преосвященному Вениамину, что он с сопутствующими ему алеутами имеют донести государю императору о важных делах, но боятся, что по влиянию Шелихова и Голикова их схватят в Иркутске и не допустят прости-раться дальше к лицу государя, потому просил распоряжений преосвященного об ограждении его от насилия в Иркутске. Преосвященный донес обо всем Синоду. Из Петербурга предписали, чтобы Макарий тайну свою в запечатанном конверте прислал чрез иркутского преосвященного в Синод; но буде на это не согласится, то преосвященный предоставил бы ему свободный пропуск чрез Иркутск до Петербурга. Все же это кончилось тем, что государь император, выслушав Макария, приказал отправить его обратно в Америку и подтвердил, чтоб миссионеры оставлять мест своих самовольно не отваживались; а гражданским властям в Иркутске поставлено в обязанность удерживать компанейских промышленников от жестокого обращения с алеутами и с другими американскими племенами. Макарий обращен из Петербурга в Иркутск в одно время с прибытием сюда из Америки архимандрита Иоасафа; в его свите отправился в 1799 году снова в Америку и разделил с ним участь общей безвестной гибели.

Иеродиакон Стефан погиб в море с преосвященным Иоасафом; а иеродиакон Нектарий в 1806 году выехал в Иркутск, скончался в сане иеромонаха в Киренском монастыре. Монах Иоасаф помер в Кадыке в 1823 году. Один из церковников потонул на Кадыке, а другой в свите архиерея.

Затем оставались в Америке иеромонах Афанасий, да монах Герман. Сей последний с самого прибытия на Кадык поселился особо на отдельном острове Еловом и занимался здесь молитвою, хозяйством и обучением грамоте и трудолюбию сирот алеутских девушек и совершал подвиг свой до конца жизни, последовавшего на Кадыке в 1837 году.

После безвестной гибели епископа Иоасафа на морском пути, и по смерти Шелихова, мысль о назначении туда нового начальника миссии, а равно и об учреждении там викариатства, не возобновлялась. Единственным священнослужителем по всей Америке оставался от прежней свиты иеромонах Афанасий. По мере распространения на всех островах христианства, настояла надобность выписывать священников из Иркутска. Но не говоря о том, с какими это было сопряжено трудностями, в Иркутске нельзя было рассчитывать и на охотников ехать в новую часть света, известную пока своими дикими обитателями, да грозившую заезжему духовенству совершенною, без начальственной главы, беззащитностью в случае тесноты от кого бы то ни было, каковое опасение особенно усилил своими рассказами бежавший оттуда иеромонах Макарий.

С 1806 года совершал кругосветное плавание известный морскими заслугами и пленом у японцев Василий Михайлович Головнин на шлюпе «Диана». При нем был соборный иеромонах Александро-Невской лавры Гedeон. В проезде чрез Америку Гedeону поручены были на острове Уналашке два креола (выродки от русской и американской крови) с целью рукоположения их в Петербурге во священников для Америки. В Камчатке Гedeон отделился от морского вояжа и возвращался с креолами в Петербург чрез Охотск землею. По прибытии же туда, один из креолов умер, а другой — Прокопий Лавров, по просьбе главного правления Российско-Американской Компании, учрежденного в Петербурге, в 1809 году от митрополита Амвросия принял рукоположение во священника для своей родины Уналашки.

Это был опыт назначения в Америку священников из туземцев, но опыт, на первый раз, очень неудачный. В 1810 году на компанейском судне «Мария» следо-

вал назначенный в Ситху правителем колоний, бывший начальником в Охотске, Кох (этот господин, оставивший в устах охотских жителей свое кощунственное самохвальство: *на небе Бог, на земле Кох*, — ехал на смену Баранова, утомленного необычайною деятельностью и преклонными летами, просившего себе увольнения, которое получил однакож не ранее 1818 года. В сем году 20 ноября, не без слез об оставляемой Ситхе и Америке, Александр Андреевич Баранов поместился на кругосветное судно «Кутузов», возвращавшееся в Россию под команду капитана Гагемейстера. Но через четыре дня по выходе с острова Явы в Батавии, 16 апреля 1819 года скончался в море, и воды Индийского океана приняли тело заслуженного 73-летнего старца.); с ним же следовал и священник Лавров. Судно зашло в Камчатку. Священник Лавров объявил здесь разные претензии на недодачу себе условленных компаниею денег, на притеснения ему и грубое с ним обращение во время плавания из Охотска компанейских прикащиков, и не пожелал следовать в Америку. К тому же и смерть Коха в Камчатке послужила к утверждению его, Лаврова, в его упорстве. Кох был иноверец, 25 января 1811 года священника Лаврова в 3 часа пополудни экстренно потребовали к Коху; Лавров нашел его без языка и без чувства. Бывший тут командир шлюпа «Диана» Головнин, сын Коха Иван, лейтенанты Петр Рикорд и Яков Шахов, гардемарин Якушкин и мичман Бабушкин письменно уверяли священника Прокопия Лаврова, что Кох желал присоединиться к православной церкви, что незадолго перед приходом его, священника, повторял несколько раз: *Прокопий! Аминь!* И потому просили отпеть его по чину православной церкви. Но Лавров не согласился, — и, конечно, если бы это несогласие вытекало из его убеждения, не заслуживал бы нарекания: но как это была выходка нетрезвого его поведения, своеобычая и упрямства, то тем он дал только случай окончательно убедиться, что для Америки особа его не находка; почему и не настояли много о возвращении его на родину, особенно, когда Коха не затруднился отпеть по-православному священник Петропавловской Гавани Александр Черных.

В том же 1811 году священник Лавров выехал в Иркутск, а в 1814 году ему назначено было священническое служение в Гижиге. Много огорчений перенес от Лаврова иркутский епископ Михаил. На требования Иркутскою консисториею отчетов по церкви, Лавров отвечал: знать не знаю ни Иркутской консистории, ни Иркутского архиерея; меня рукоположил во священника первенствующий член Синода митрополит Амвросий, которому одному и могу повиноваться! — Много хлопот причинил он и иркутскому губернатору Трескину, когда своим невозддержанием, забиячеством и буйством вынудил гижигинского комиссара на самоуправство с ним, Лавровым. Дело возникло большое, которое несчастный Лавров покончил своею страшною смертью. Он удавился.

После неудавшегося таким образом расчета Российско-Американской Компании иметь в Америке священников из своих туземцев, она вынуждена была обратиться о снабжении таковыми американских церквей к епархиальному преосвященному иркутскому Михаилу, который на первый раз снабдил в 1816 г. Ситху священником из Охотска Алексеем Соколовым; а в Кадьяке оставался от первой миссии дряхлый иеромонах Афанасий.

Но что придумал этот дряхлеющий? Давно наскучило ему жить в Америке, и он просил дозволения на выезд. Однакож Святейший Синод не находил достаточных причин к удовлетворению его желания. И вот он, по примеру Макария, заявил, что имеет открыть Святейшему Синоду важнейшую тайну. Ему было пред-

ложено или доверить эту тайну иркутскому преосвященному Михаилу, это было в 1823 году, или прислать в Синод в запечатанном конверте.

— Ни того, ни другого сделать не могу, — отвечал Афанасий; — только в присутствии Святейшего Синода могу высказать секрет мой.

Ему позволили выехать. Явившись в Святейший Синод, старец сказал:

— Я постриженец Валаамского монастыря, в нем и умереть желаю, — вот весь мой секрет.

К дряхлости старика и уже к видимому от лет и от суровой жизни между дикарями ослаблению умственных его способностей, явлено снисхождение, и преосвященный митрополит Серафим радушно принял его в Валаамскую обитель. Место его на Кадьяке было замещено, по просьбе компании, священником из Якутска, Фрументием Мордовским.

Между тем в Иркутске в начале 1823 года получается указ, которым Святейший Синод предписывал избрать священника в Иркутске и послать в Америку на остров Уналашку.

Крайне затруднило поручение это преосвященного Михаила. Несмотря на его убеждения, даже на жребии, избираемые соглашались лучше идти в солдаты, чем ехать в Америку. И в этом упорстве, высказывавшемся, по-видимому, в ущерб распространения Православной церкви на островах Алеутских, раскрывался обширный план домостроительства Божия для новоприобретенного края, — путями сокровенными, ведомыми Богу, подготовлялись, по выражению одного из пророков, *много чада пустыя нежели имущия мужа*, не плодящей языческо-американской церкви пришло время ее процветания.

Неожиданно предстал пред лице преосвященного молодой священник г. Иркутска, Благовещенской церкви, окончивший курс в здешней семинарии, Иоанн Вениаминов, и объявил, что желает следовать в Америку. Преосвященный Михаил дорожил подобными людьми для Иркутска, и несколько поколебался. Но настояние о. Иоанна было непоколебимо. И 7-е число мая 1823 года можно считать зарею светлой будущности православия в Русской Америке. В этот день отец Иоанн выехал из Иркутска.

Вскоре после отбытия о. Иоанна в Америку, повторился опыт назначения туда священника из туземцев. Из Америки возвращался некто вояжный (так именовались нанимавшиеся туда для услуг компании на условный срок люди рабочие) по прозванию Нецветов с сыном, имевшим матерью алеутку, Иаковом. Отец и сын, оба искусные в церковном чтении и пении, пришли к преосвященному Михаилу принять его благословение. Владыка прозрел в юноше-креоле сосуд, благопотребный для Американской церкви, и предложил отцу отдать его в духовное звание. С радостью согласился на это вояжный, и креол Иаков тут же принял от Преосвященного наставление ходить в Иркутскую семинарию и слушать уроки богословские да по истории церковной. Большие дарования выказал Иаков Нецветов преимущественно по истории. Через несколько времени преосвященный Михаил рукоположил его во священника и отправил на остров Атху. На этот раз с лишком сорокалетним служением в Америке отец Иаков, впоследствии протоиерей, отмеченный знаками монаршего воздаяния, вполне оправдал выбор преосвященного Михаила.

Отец же Иоанн Вениаминов, ознаменовав свое служение на Уналашке подвигами, которые составляют достояние истории, через десять лет переселен был в главное центральное место Российско-Американского управления, на остров Сит-

ху, иначе в Новоархангельск, вместо Соколова, перемещенного в Кадьяк взамен Фрументия Мордовского, который не захотел жить, и которого не захотели иметь в Америке. После 15-летнего пребывания своего в новой части Света отец Иоанн неотложною надобностью напечатать Катехизис и Евангелие от Матвея, переведенные им на алеутский язык, — вынуждился побывать в Петербурге и Москве. А что его ожидало в столицах? Звание Божие к принятию высшего служения в сане епископском. 15 декабря 1840 года открыта отдельная от Иркутской Епархия Камчатская, в состав которой вошли, главным образом, русская Америка, Камчатка, и область Охотская. Епископом новооткрытой епархии поставлен отец Иоанн с переименованием его Иннокентием, и с водворением его на острове Ситхе, в Новоархангельске. И открылось в колониях Российско-Американской компании обширное поприще равноапостольской деятельности.

Берем с полстолетия с того времени, когда Шелихов на острове Кадьяке в первый раз поставил русскую ногу, произнес русское слово, возвестил русское имя, и не без удивления видим, как в эти пятьдесят лет далеко и широко распространились в новой части света русские владения, распространились не страхом оружий, которых большого запаса не имели русские промышленники, не насилиями, когда горсти пришельцев туземные жители могли противопоставить силу во сто крат большую: но ласками (конечно, правило не без исключений), снабжениями и умением русского человека сойтись и ужиться со всяким племенем.

Извлекаем из Энциклопедического словаря (изд. 1835 г.) обзор раскинувшихся русских колоний по островам и материку Америки и частью на юго-восточной оконечности Азии.

«Народонаселение колоний составляют: русские, креолы и туземцы разных народов.

Русские находятся в службе компании по условиям на известное время. Они принадлежат к сословиям духовенства, офицеров и нижних чинов морской службы, купцов, мещан и крестьян. Число их простиралось к 1-му января 1834 года мужеска пола 601, женского 76, всего 677.

Креолы составляют особое сословие, происшедшее от смешения европейцев с американцами. Число их к тому же времени состояло: мужеска пола 538, женского 502, всего 1040.

Туземцы или природные жители суть следующие:

I. Американского происхождения. Алеуты Ближних и Андреяновских островов, Лисьей гряды и Шумагинских.

II. Эскимосского или Гренландского племени. Кадьякцы, аляскинцы, чугачи, алегмюты, киятайгмюты или киятенцы, кусоквигомюты, квихпахмюты, нунивокмюты, аякмюты, укивокмюты, тачикмюты и жители острова Св. Лаврентия.

Разнящиеся языком: кенайцы, гольцаны и уголяхмюты.

III. Обитатели островов северо-западной Америки. Колоши или колюжи, обитающие от Якутского или Берингова залива до границ России с 54° 40'. Индейцы Нового Альбиона, живущие в окрестностях селения Росс, основанного Барановым.

IV. Азиатского происхождения. Курильцы, обитатели грады Курильских островов.

Из сих природных жителей обращены к православной вере все вообще обитатели островов Курильских (Курильцы обращены еще до водворения русских в Америке проповедниками камчатскими и состояли в ведении Камчатской церкви, по духовным отношениям, до 1833 года, с которого при преосвященном Ир-

кутском архиепископе Мелетии перечислены, по просьбе Компании, к ее отделу Атхинскому. *Ред.*), Алеутской гряды, Кадыака, часть аляскинцев, чугач, кенайцев, алегмют, кускоквимцев и несколько колош. Прочие остаются во мраке идолопоклонства.

По местному положению все исчисленные племена считаются подданными России, но в списках Компании состоят только курильцы, алеуты, кадыакцы, аляскинцы, часть алегмютов, кенайцев и чугачей. Всех их к 1834 году было исчислено мужского пола 4416, женского 4517, обоего 8993. Но число других народов, заключающихся в пределах Российских владений, можно полагать до 50000 душ обоего пола. По счислению о. Иоанна Вениаминова, составителя записок об островах Алеутских (Ч. I. Стран. VII) народонаселения в нашей Америке: известного по описям 10312, известного, но не состоящего в описях до 12500, совсем неизвестного приближено до 17000, всех 40000. Но счисление по словарю относится к 1834 году, а счет отца Иоанна к 1839, между тем в 1838 году в Америке свирепствовала оспа: то после этой эпидемии умаление племен на 18 тысяч дело понятное.

Промышленность Российско-Американской компании составляют: бобры морские и речные, выдры, лисицы черные, чернобурые, сиводушки, красные и белые полярные; рыси, росوماхи, волки, медведи, выхухоли, белки, норки, песцы белые и голубые, коты морские, моржи, киты и сивучи. Последние принадлежат к полезнейшим животным, которых шкуры идут на гребные суда, известные под названием байдарок; мясо и жир в пищу; кишки и горла на одежду, предохраняющую от мокроты и необходимую для морских переездов.

Во взятое время (по 1834 год) Конторы и фактории компании были: 1. Главная Новоархангельская на острове Ситхе, 2. на о. Кадыаке, 3. на о. Уналашке, 4. на о. Атхе, и 5. в Россе на берегах Нового Альбиона».

К сему статистическому обзору, заимствованному из Энциклопед. Словаря, прибавим для полноты, что церквей к этому времени в Русской Америке было четыре: Кадыакская во имя Воскресения Христова, построенная архимандритом Иоасафом в 1795 году; Ситхинская во имя Михаила Архангела, построенная в 1817 году при священнике Соколове; Уналашкинская во имя Вознесения Христова, построенная в 1824 году при священнике Иоанне Вениаминове на месте существовавшей здесь с 1808 года прекрасной часовни, и Атхинская во имя святителя Николая, построенная в 1825 году при священнике Иакове Нецветове.

В таком виде было положение церковных дел в Америке, когда вышла она из независимости от Иркутской епархии в конце 1840 года, и поступила в ближайшее управление своего первого епископа, преосвященного Иннокентия, которого Святейший Синод полагал наименовать Камчатским и Североамериканским; но государю Николаю I угодно было повелеть — именоваться ему Камчатским, Курильским и Алеутским.

Теперь посмотрим, в каком составе передана Православная Российско-Американская церковь в среде Российско-Американских колоний новому, иноземному правительству Соединенных Штатов.

Известно, что через десять лет после открытия Камчатской епархии, к ней сверх Америки, Камчатки и Охотской области причислена была и область Якутская, отчисленная от Иркутской епархии. Преосвященный Иннокентий переселился из Америки в Якутск, а его место в Америке на о. Ситхе, в Новоархангельске, занял данный ему викарий, которому указано именоваться епископом Новоар-

хангельским. Первым епископом Новоархангельским был Петр Екатерининский из инспекторов Иркутской семинарии. Затем, когда упрочилось присоединение к России Амура, преосвященный Иннокентий получил повеление устроить свою резиденцию на Амуре, в Благовещенске; а для Якутска ему дан второй викарий, которому велено именоваться епископом Якутским, и таковым был Павел из протоиереев г. Красноярска. Но незадолго до уступки Российско-Американских колоний Соединенным Штатам викарные епископы Петр и Павел поступили один на место другого, первый в Якутск, последний в Америку.

Итак, жребий передать населяющих Российские колонии в Америке православных туземцев новому правительству пал на епископа Новоархангельского Павла, на которого устремлены теперь взоры России, расстанется ли он, и если расстанется, то как, когда и на каких условиях с отторгнутыми от православной России духовными своими чадами, и на кого их, в случае разлуки, оставит?

По сведениям, доставленным бывшим наперед сего священником при Иркутском кафедральном соборе, и отсюда поступившим на служение в Америку, о. Николаем Ковригиным, к 1868 году состояло церквей православных в Америке девять:

I. В Новоархангельске на о. Ситхе кафедральный собор во имя Архистратига Михаила. К нему приписана часовня во имя Преображения Господня в Озерском Редуте.

II. В том же Новоархангельске крестовая при Архиерейском доме церковь Благовещенская.

III. За стеною у колош церковь во имя Святой Троицы, которая во время бунта колош в 1855 году была разорена, но опять возобновлена в 1858 году.

IV. В расстоянии 600 миль (морская миля — 1 $\frac{3}{4}$ версты. *Ред.*) от Новоархангельска церковь на острове Кадьяке в гавани Св. Павла во имя Воскресения Христова трехпрестольная. К ней приписные часовни: 1. На южной оконечности Кадьяка Трехсвятительская, 2. На западной оконечности — в селении Карлук Вознесенская, 3. На о. Афогнаке в Рубцовском селении во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 4. На том же острове в креольском селении Селезневых Успенская, 5. На полуострове Аляска в селении Катмайском, Троицкая, 6. На острове Еловом Сретенская, и 7. На о. Укамок во имя Божией Матери Казанской.

V. На острове Уналашке, в гавани Илюлюк церковь во имя Вознесения Господня, в расстоянии от Новоархангельска 2000 верст. К ней приписаны часовни: 1. В Макушинском селении во имя св. Григория Богослова, 2. На юго-западной в Калехтинском селении Преображенская, 3. На южной оконечности в Черновском селении Богоявленская, 4. На острове Умнаке в Николаевском селении Николаевская, 5. На о. Акунь в Артельновском селении Успенская, 6. На острове Тигалда во имя пр. Иоанна Лествичника, 7. На о. Перегребном Вознесенская, 8. На о. Унимак в Шишалдинском селении во имя Всех Скорбящих радости, 9. На о. Аватанак Николаевская, 10. На о. Борька в Сиданском селении Николаевская, 11. На о. Коровинском во имя Казанской Божией Матери, 12. На о. Унга в Грекоделаровском селении во имя Владимирской Божией Матери, 13. На полуострове Аляска в Бельковском селении Воскресенская, и 14. в Марасевском селении Покровская, 15. На западной оконечности полуострова Аляски в Павловском селении Петропавловская, 16. На о. Св. Павел Петропавловская, и 17. На острове Св. Георгий Георгиевская.

VI. Атхинская церковь на о. Атха в гавани: «Назан» Николаевская в 2500 верстах от Новоархангельска. К ней приписаны часовни: 1. На о. Атту Успенская, 2. На о. Амля Крестовская, 3. На о. Беринг во имя святителя Иркутского Иннокен-

тия, 4. На о. Медный Преображенская, 5. На о. Симусир во имя Божией Матери Казанской, 6. На о. Шумшу Троицкая, и 7. На о. Атха в новой гавани молитвы отправляются летом в палатке, а зимою в частном доме.

VII. Кенайская церковь в Кенайском заливе при реке Кахну, в редуте Св. Николая, Николаевская, от Новоархангельска в 1500 верстах. К ней приписаны часовни: 1. В каменно-угольной экспедиции во имя Архистратига Михаила, и 2. На о. Пучек, в редуте Св. Константина Преображенская.

VIII. Нушагакская церковь в Бористольском заливе при р. Нушагак, в Александровской одиночке, Петропавловская в 2800 верстах от Новоархангельска.

IX. Квихнакская церковь при р. Квихнаке в селении Икагмют, во имя честного животворящего Креста, в 3500 верстах от Новоархангельска. К ней приписаны часовни: 1. В заливе Тебенькова, в редуте св. Михаила Покровского, и 2. в Калмаковском редуте при р. Кускоквим Преображенская.

К девяти американским церквям принадлежало туземных (сведения сии заимствуются из сообщенной от его преосвященства, епископа Петра ведомости за 1866 год.) чад Православной веры:

	м.п.	ж.п.	всего
Креолов	— 832	— 837	— 1669
Алеутов	— 2116	— 2127	— 4243
Колош	— 12	— 15	— 27
Кенайцев	— 401	— 474	— 875
Чугач	— 237	— 229	— 466
Угаленцев	— 77	— 70	— 147
Аллегмютов	— 166	— 160	— 326
Медновцев	— 21	— 1	— 22
Кускоквимцев	— 844	— 703	— 1547
Квихнакцев	— 271	— 188	— 459
Инкалитов	— 317	— 282	— 599
Куюканцев	— 94	— 98	— 192
Кольчан	— 193	— 162	— 355
Унягмютов	— 94	— 83	— 177
Агульмютов	— 34	— 22	— 56
Малеймютов	— 49	— 33	— 82
Магмютов	— 1	—	—
Итого правосл. туземцев	5759	5484	всех 11243

Таким образом, если зависимость, по крайней мере, в территорию, уступленную Соединенным Штатам отошли *девять* православных русских церквей и при них *тридцать шесть* молитвенных домов или часовен; да с лишком 11 тысяч из взысканных в Новом Свете Россиею, чрез служителей ее церкви вскормленных млеком Православия обитателей Америки и Алеутских островов, исключаются из списков православного народонаселения в нашем отечестве.

Но стяжавшая вас Мать ваша, Православная Российская церковь, никогда попечительностью своею не забудет вас, чада Веры, отторгнутые обстоятельствами от лона ее. Только вы пребудете с нею в единении духа. Стойте в Вере, вам преподанной, держите предания, им же научитесь, и молитесь, чтоб Господь не попустил вас приложиться в научения странна и различна. Из-под законов, благотворно поставляющих благо народное в строгом блюденнии начальства и подчиненности,

вы переходите под управление, провозглашающее свободу и равенство (Не могу забыть анекдот. Раз в Камчатке довелось мне сделать визит одному гражданину Соединенных Штатов на его корабле. После обыкновенных приветствий он закричал: «Стуард! Шампэнь!» В каюту явился другой гражданин, природный американец, высокий, стройный, дюжий, курчавый, с темновидным лицом детина, без сапогов, с бутылкою и штопором в руках, ловко откупорил бутылку, и наполнил для нас бокалы. «Что вы платите в месяц такому ловкому служителю, *servileur*?» — спросил я хозяина; «О! не называйте его *servileur*, он может обидеться, — сказал заботливо гражданин с бокалом в руке про стоящего со штопором, — он то же самое, что я, *c'tsl la mene chose*». «Да, — сказал я, — он откупоривает и наливает, а вы пьете; он босой, а вы в отлично лакированных сапогах — *c'tsl la mene chose*». Американец сам расхохотался над этим рельефным равенством), однако ж равноправности вам не обещающее (Высочайше ратификованного договора 3 мая 1867 г. Статья III. Ирк. Епарх. Вед. № 48). Но, какие бы ни последовали в отношении вас постановления нового правительства, помните, что для христианина везде истинная свобода, от других не зависящая, свобода от темных дел, противных принятому вами Евангельскому учению: *аще Сын вы сводит*, Единородный Сын Божий Иисус Христос, которого вы poznали и возлюбили, *воистину свободни будете*.

В договоре между Россией и правительством Северо-Американских Соединенных Штатов читаем в ст. II: «Постановляется, что храмы, воздвигнутые российским правительством на уступленной территории, остаются собственностью членов Православной церкви, проживающих на этой территории и принадлежащих к этой церкви».

В ст. III: «Жители уступленной территории могут по своему желанию возвратиться в Россию в трехгодичный срок, сохраняя свою национальность; но если они предпочтут оставаться в уступленной стране, то они, за исключением однакож диких туземных племен, должны быть допущены к пользованию всеми правами, преимуществами и льготами, предоставленными гражданам Соединенных Штатов, и должны быть оказываемы помощь и покровительство в полном пользовании свободою, правом собственности и исповеданием своей веры».

Эти статьи договора естественно возбудили вопросы: как понимать, что православные храмы в Америке остаются *собственностью* членов православной церкви? Что должно следовать с пребывающим ныне при сих храмах православным русским епископом и с прочим там русским духовенством? Если они пожелают получить там право гражданства и остаться навсегда, тогда прекратится об них материальная забота России. Но если думают возвратиться в Россию, то откуда должны получать теперь содержание, кто будет там поддерживать между туземцами православие после их выезда?

Завеса приподнимается. По крайней мере, в настоящее время разрешен один из этих вопросов, относительно содержания духовенства. Нижеследующие сведения заимствованы из официальных бумаг, полученных преосвященнейшим Вениамином, епископом Камчатским (имеющим пребывание в Благовещенске на Амуре) из Америки.

От нашего Правительства назначено сверх выданного ранее единовременного пособия, с 1 марта сего 1868 года православному духовенству, служащему в Новоархангельске, следующее содержание в месяц:

Преосвященному епископу Павлу — 150 долларов (Доллар равняется 5 ру-

блям на прежний ассигнационный счет, или 1 р. 43 копейкам на серебро. Месячный оклад Преосвященному будет состоять из 214 р. 50 к. серебр., а годовой оклад из 2574 рублей серебром).

Протоиерею Павлу Кедрованскому — 100 дол.

Священнику Николаю Ковригину — 90 дол. Да ему на разъезды по миссии (преимущественное миссионерское служение о. Николая Ковригина у колош) — в год 50 дол.

Священнику Василию Шабалину — 60 дол.

Диакону Василию Шишкину — 30 дол.

Диакону и столоначальнику Д. Правления Василию Кашеварову — 40 дол.

Псаломщику Василию Шишкину — 25 дол.

Пономарю Семену Соколову, в том числе и за просфоропечение — 25 дол.

Дьячку и регенту певчих Моисею Саламатову — 20 дол.

Причетникам: Никандру Чернову, Александру Бурцову, Михаилу Нецветову, Павлу Шайшникову, каждому по 10 дол. в месяц — 40 дол.

Пономарю Егору Саламатову, Григорию Чеченеву и служителю Федору Бородину каждому по 8 дол. — 24 дол.

Независимо от сего сиротам духовного звания пособия должны производиться в прежнем размере на счет сумм, ассигнуемых на содержание духовенства.

После удовлетворения жалованием состоящего в Новоархангельске духовенства, находящийся здесь капитан 2 ранга А.А. Пешуров от 4/16 апреля сего года извещил Преосвященного Павла, что на днях отправляется по отделам колоний пароход «Александр», причем представляется случай и, может быть, единственный в нынешнем году, переслать находящимся на островах лицам духовного ведомства их годичное содержание. Просил составить в Новоархангельском духовном правлении подробный и поименный расчет, какое количество денег потребуется на этот предмет для причтов Кадьянской, Уналашкинской и Ахтинской церкви, принимая в основание содержание, производимое ныне Ситхинскому духовенству в Новоархангельске с 1 марта, и предоставляя Преосвященному к имеющей исчислиться на содержание духовенства поименованных трех церквей сумм приложить некоторое количество на церковные расходы и просфорне. Прием денег назначил из Новоархангельской конторы Российско-Американской компании с тем, чтоб выдать их немедленно с расчетом князю Максуту и г. Пешурову сообщить копию с расчета. Что касается церковнослужителей и миссионеров в Кенае, Нушатаке и Квихнаке, присовокупил г. Пешуров, то они могут быть снабжены впоследствии на пароходе «Константин».

Вследствие сего Новоархангельское духовное правление предоставило преосвященному Павлу следующее расписание окладов.

На острове Кадьяке при Воскресенской церкви:

Священнику Петру Кашеварову — 70 доллар. И на разъезд в год — 60 дол.

Дьячку Александру Костычину в месяц — 22 дол.

Пономарю Николаю Сороковикову в месяц — 20 дол.

Просфоропеку в месяц — 3 дол.

На острове Уналашке при Воскресенской церкви:

Священнику Иннокентию Шаяшникову в месяц 70 дол. И на разъезды в год по приходу — 80 дол.

Дьячку Ивану Балакшину в месяц — 22 дол.

Пономарю Андрею Лодочникову в месяц — 20 дол.

Просфоропеку в месяц — 3 дол.

На острове Атхе при Николаевской церкви:

Священнику Василию Шабалину в месяц — 60 дол. И на разъезды в год по приходу — 50 дол. И на дрова — 40 дол.

Дьячку Иннокентию Лесникову в месяц — 22 д. И на дрова — 20 дол.

Пономарю Егору Саламатову в месяц — 15 д. И на дрова — 10 дол.

Просфоропеку в месяц — 3 дол.

А всей суммы к трем церквам в год — 5240 дол.

Его преосвященство епископ Павел положение это утвердил 8 апреля 1868, и, как викарий признал нужным копию с сего журнала предоставить на архипастырское благорассмотрение Его Высокопреосвященству (Епархиальному преосвященному Камчатскому).

Правда, и Новоархангельское духовное правление и преосвященный Павел, назначенные им с 1 марта оклады признали значительно уменьшенными против того содержания, какое получало здешнее духовенство от Российско-Американской компании деньгами и натурою, и недостаточными для его существования. Г. Пещуров вполне согласился, что эти оклады едва достаточны для приличного существования духовенства в здешнем крае, однакож не решился взять на себя увеличить их, но уведомил Преосвященного, что при предоставлении требуемых от него г. Пещурова соображений о будущем содержании духовенства, он не преминет донести об этом.

В царстве русском, на его жалованье состоят не только духовенство всех иноверных христианских исповеданий, находящихся в пределах России, да и магометанские муфтии. Соединенные Северо-Американские Штаты расчетливее. Православные церкви в уступленной им территории они назвали собственностью остающихся там членов православной церкви, во имя этой собственности следовательно обязанных содержать и поддерживать храмы, а самому духовенству ассигновали ниже единого доллара. Но это может быть только до тех пор, пока не установятся отношения в рассуждении подданства. На это скажут, что члены Российской духовной миссии, находящиеся в Пекине, не подданные Китая; а правительство Китайское, независимо от получаемого ими из России жалования, выдавало им от себя ланы на дворы и на холопей (См. Ирк. Епарх. Вед. 1864 г. № 10, стран. 156). Цивилизованная нация объясняет такой факт крайней простотой китайцев.

Отраднa благопопечительность нашего правительства об остающемся в Америке нашем духовенстве: но еще отраднее то, что наше православное духовенство признается так необходимым и для Русской Америки.

В Сан-Франциско до уступки нашей Америки Штатам имел пребывание агент Российско-Американской компании г. Клинковстрем (Приятное напоминание! Г. Клинковстрема я, автор настоящей статьи, венчал в Камчатском Петропавловском соборе в 1842 году с дочерью камчатского купца Евгениею Федоровною Калмаковою, когда на судне «Мореход» под командою его, г. Клинковстрема, в первый раз посетил Камчатку в 1842 году первый ее епископ, преосвященный Иннокентий). Для исправления духовных треб в своем доме просил он в 1861 году священника из Новоархангельска, и, с разрешения преосвященного епископа Новоархангельского Петра был отправляем туда священник Иоанн Петелин с причетником, снабженный походным антиминсом для совершения литургии. Это было, как мы сказали, до присоединения колоний наших к чуждому владению.

Иркутские епархиальные ведомости. Прибавления. 1868. № 37. С. 419-421; 38. С. 430-433; № 39. С. 436-443; № 40. 451-458; № 41. С. 462-466.



Убьют ли русскую литературу?



Война Запада против России набирает обороты не только на экономическом, но и на идеологическом фронте. И в эту борьбу вовлекаются всё новые и новые материальные и людские ресурсы. Враги уже давно поняли, что расчленив Россию можно только в том случае, если пятая колонна внутри нашей страны откроет второй фронт. И распад СССР подтвердил, что они выбрали единственно верную тактику.

Предателей в верхних эшелонах власти всегда можно найти. Но будет ли снова молчать народ, когда новые горбачёвы и ельцины начнут расчленять уже саму Россию? Вот это — главный вопрос! Сегодня — вряд ли возможен такой сценарий. А чтобы народ промолчал завтра, нужно самым активным и всесторонним образом продолжить работу по переформатированию его сознания. Денно и ночью внушать нашим гражданам, что прошлое и настоящее России мерзопакостно и что «светлое будущее» возможно при одном условии: если народ возьмёт на вооружение «общечеловеческие ценности». Ну, а что представляют собой эти «ценности», мы наблюдаем уже больше четверти века.

Одна из важнейших задач противника на идеологическом фронте — подорвать веру в героическое прошлое нашего народа, переписать Историю и обесценить русское Художественное Слово. Внушить гражданам, и прежде всего молодёжи (она — будущее страны), что не было ничего значительного ни в советской литературе, ни в русской литературе XIX века. К решению этой задачи подключают не только представителей пятой колонны, но и тех, сознание которых уже «пошатнулось», и они попали в разряд «заблуждающихся». И порой уже трудно разобрать, кто находится рядом с тобой: враг России или всего лишь клонувший на «наживку» нашего противника? Сегодня заблуждающиеся опасны: заблуждения с годами вырастают в непроходимые дебри.

Пример этого мы можем видеть сейчас на Украине. Целенаправленное промывание мозгов подрастающему поколению уже дало там свои плоды.

Да и в других странах ближнего и дальнего зарубежья можно наблюдать нечто похожее. Вот только Россия, несмотря на все усилия псевдолибералов и псевдопатриотов, пока держится. И в этом немалая заслуга российской литературы, кото-

рая столетиями пыталась сохранить в читателях самые чистые и светлые чувства. А потому, чтобы уничтожить Россию, следует в первую очередь разделаться с российской культурой вообще и с российской литературой в частности. И попытки в этом направлении не прекращаются с девяностых годов. Примеров достаточно и в театральной деятельности, и в кинематографии, и в телевизионных проектах. Немало публичных людей, кто сознательно, кто по недомыслию, старательно забрасывают комочками грязи то, что наш народ привык считать национальным достоянием.

К примеру, небезызвестный Дмитрий Быков весьма преуспел в охаивании русской литературы. В книге «Советская литература. Краткий курс» он отводит каждому писателю главу, в которой высказывает своё видение творчества того или иного писателя или поэта.

Например, такой его пассаж:

«Горький одержим безобразным. Именно благодаря этой особенности... он и навоевал читателя... Это-то отсутствие нравственных тормозов — и, более того, отрицание человеческой морали... чувствовалось в Горьком с самого начала».

Антон Павлович Чехов, по мнению Быкова, тоже отвратителен:

«Чехов отчасти напоминает своего Лопухина, сына крепостного (как и он сам), который скупил вишнёвый сад русской литературы лишь для того, чтобы его вырубить».

Не восхитила Быкова и поэзия Сергея Есенина:

«Мандельштаму до есенинского культа так же далеко, как Есенину до мандельштамовского таланта; да что там — Блоку, талантливый эпигоном которого Есенин был с деревенского своего начала и до творческого конца».

Литературный талант М.А. Шолохова Быков частично признал, но по-своему истолковал «Тихий Дон». И это не удивительно. У Быкова было лишь два варианта. Объявить Михаила Шолохова бездарем — но это уж слишком! И он пошёл по другому пути: весь его комментарий к роману сводится к тому, что «Тихий Дон» — произведение антисоветское. Поэтому свои рассуждения о романе он заканчивает фразой: «Патриоты, откажитесь от Шолохова. Он — не ваш».

В своей книге Быков периодически касается истории советского государства. О И.В. Сталине он пишет: «Сегодня иногда встречаешь суждения о том, что Сталин... был менеджером модернизации, благодаря которому мы провели величайшую индустриализацию и т.д. Между тем никакой модернизации Сталин не проводил — он её угробил».

Похвалы удостоился Леонид Леонов, но, видимо, потому что Быков причислил его к скрытым антисоветчикам. И в качестве доказательства по-своему прокомментировал его философско-мистический роман «Пирамида».

Быков уделяет внимание тем литераторам, которые (или родственники которых) в той или иной степени пострадали от советской власти. Так, мы можем прочитать главу о творчестве Варлама Шаламова, Исаака Бабеля, Юрия Домбровского, Веры Пановой, Василия Аксёнова и других.

Поразительно, но в книге Быкова нет глав, посвящённых Владимиру Маяковскому, Алексею Толстому, Константину Симонову, Константину Паустовскому, Юрию Бондареву, Василию Быкову, Чингизу Айтматову, Виктору Астафьеву, Евгению Евтушенко, Валентину Распутину, Василию Гроссману и многим другим литераторам, которые составляют гордость советской литературы. Но зато есть многостраничные главы, в которых анализируется творчество Александра Шаро-

ва, Николая Шпанова, Фёдора Парфёнова и других писателей и поэтов, творчество которых никак нельзя назвать значимым.

Быков расхваливает на все лады постмодернистские изыски и кульбиты Виктора Пелевина. Но мы-то понимаем, почему он это делает. Как сказал один умный человек, «если попытаться одним словом определить состояние человеческой души в эпоху нынешнего «глобализма», то это слово будет ползучим, безжалостным и пластающим: смысложизнеутрата». Привести российский народ к подобному состоянию — давнее желание так называемой западной цивилизации.

Характерно для позиции Дмитрия Быкова и такое заявление:

«В русской литературе 70-х годов XX века сложилось направление, не имеющее аналогов в мире по антикультурной страстности, человеконенавистническому напору, сентиментальному фарисейству и верноподданническому лицемерию. Это направление, окопавшееся в журнале «Наш современник» и во многом определившее интеллектуальный пейзаж позднесоветской эпохи, получило название «деревенщики»».

Как тут не вспомнить слова Юрия Бондарева:

«Наша свобода — это свобода плевать в своё прошлое, настоящее и будущее, в святое, неприкосновенное, чистое».

В политическом болоте каждая лягушка мечтает стать вождём. Совсем недавно Д. Быков публично заявил, что намерен написать о предателе генерале Андрее Власове книгу, в которой будет отображён его подвиг. И ведь напишет, энергии и эрудиции ему не занимать. И получит какую-нибудь очередную престижную литературную премию. Рецензенты дружно похвалят очередной «шедевр», и каждый из них положит в карман свои тридцать сребреников.

А наши дети и внуки будут читать эту мерзость. Они ведь не знают, что о советской власти Валентин Курбатов, выражая мнение наших лучших писателей, сказал: «И называть этот период только «совковым» можно только от духовной слепоты и лени ума... мы не привились к прежней советской традиции, к лучшему и живому в ней. И это было национальное предательство».

Был упомянут лишь один небольшой кусочек из обширного полотна борьбы с российским самосознанием. Думающие читатели (а другие эти строки и не прочтут) легко дополнят картину своими примерами.

Надо смотреть правде в глаза: попытки убить русскую литературу будут всё настойчивее и изощреннее. Время не ждёт. Нужно что-то предпринимать для более активного противодействия этим попыткам. Бороться с непреодолимыми обстоятельствами можно только созданием новых возможностей.

Журнал «Огни Кузбасса»

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Избушка под крутой горой

ОЧЕРК

В поисках Култука

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ*

Как назвать учёного, который в доказательство своей теории приводит цитату из вымышленного романа, или, скажем, писателя, для подтверждения художественных достоинств своего опуса призывающего на помощь мнение исследователя беспозвоночных?

Я прожил в Култуке более тридцати лет, и мне всегда любопытна не только современная, но и историческая действительность этого замечательного во многих отношениях посёлка. Я с интересом читал «Родовое гнездо» Виктора Дёмина, гражданина и верного сына своей малой родины, он приезжал из Иркутска в родительский дом, мы подолгу беседовали и о Култуке, и об истории России, и о многом другом, что нас сближало.

Когда я заканчивал книгу «Избушка под крутой горой», о култуковских поселениях, возникла необходимость предварить её краткой историей возникновения посёлка. В своей небольшой дачной библиотеке обнаружил книгу «Путешествие в страну мраморных гор» (авторы С. Гольдфарб, А. Кобенков и А. Харитонов) о Слюдянском районе, подаренную мне учителями литературы Култуковской средней школы Л.Д. Спец, Е.Н. Лучиной и В.Л. Потаповой, о чем свидетельствовала дарственная надпись.

Увесистый, в твёрдом ламинированном переплёте журналистский труд, полный случайных сведений. О Култуке там сказано мало, к тому же цитаты из Виктора Дёмина по объёму превосходят всё написанное авторами сборника о нашем посёлке, его повествование является самым ярким, естественным по языку и конкретным в «Путешествии в страну мраморных гор». Не могу в доказательство не привести небольшой отрывок: «А разве наши сибирские села, наши деревни, прародители наших сибирских российских городов, составляющие мощь и славу нашего Отечества, не заслуживают золотых страниц российской истории? Об этом мало, досадно мало написано. Почему мы скромничаем, имею в виду историков и краеведов, не пишем, или мало пишем об истории и красоте нашего края, и деяниях простого люда, наших предков, которые веками облагораживали и обустроивали Сибирь, в которой будут жить наши дети, внуки и правнуки.

Говорят, каждый кулик свое болото хвалит. Да, это так. Для человека нет милее места, чем малая родина, его дом, его речка, его леса и горы, где он родился, крестился, вырос и вышел в люди. Я тоже, как тот кулик, не могу не замолвить несколько слов о своем гнезде, благодарю Господа Бога, что он подарил мне и моим односельчанам это святое место на Земле.

*Публикуется журнальный вариант очеркового повествования.

Отряд казаков под командованием старшины Ивана Похабова пришел, вернее, приплыл, от истока Ангары на юг Байкала в устье реки Похабиhi в 1647 году, чтобы застолбить и присоединить эти земли к России. Он же заложил и Култушное зимовье — первый форпост России на востоке. За Култуком, в сторону севера и юго-востока, до берегов Тихого океана простирался целый континент, включая приамурские степи, на котором не было ни одного укрепленного зимовья, подобного Култушному. Они появились позже.

Тут возникает интересный вопрос, которым еще не задавался ни один историк, исследовавший южный Байкал: почему Похабов избрал местом стоянки не устье реки Култушной, одно из благодатнейших и красивейших мест, а устье небольшой, но полноводной безымянной речки, которую позже, как и местность, окрестили в честь первопроходца?

Позже, в 1675 году, подвиг Похабова и его казаков скромно засвидетельствовал в своем дневнике российский писатель и географ, посол русского царя Алексея Михайловича Николай Спафарий: «На самом Култуке есть река Култушная, и там пристанище есть, а Култуком называют самый край узкий Байкальского моря, где оно кончается».

Издатели книги не удосужились указать хотя бы в оглавлении, кто из авторов какую статью написал, поэтому я буду исходить из своей логики, мне кажется, что за историческую часть отвечал С. Гольдфарб, как доктор исторических наук, а А. Кобенков и А. Харитонов состоят в книге по писательской линии. По характеру этот сборник в большей степени составительский, чем авторский, если исходить из объёма цитируемых текстов.

С первых же култужских страниц, у меня возникают вопросы. В исторической части приводится довольно большая цитата из романа Ивана Калашникова «Дочь Купца Жолобова», которая начинается так: «На восточном берегу Байкала есть маленькая деревушка Култук». Первое, что меня смутило, — исторический очерк начинается с литературной цитаты, а второе, что с географической точки зрения бесспорно, наш Култук стоит на западной оконечности Байкала. Что же получается? А получается очень забавная картина. Похоже, что автор, писавший сии строки, не бывал в Култуке, впрочем, это и не обязательно, тем более в наше время, когда существует виртуальная реальность интернета. То, что автор очерка не знает географии мест, о которых пишет, тоже не большая беда, он же историк, а не путешественник. Конечно, Иван Калашников мог ошибиться или намеренно переместить «маленькую деревушку» на другой берег и вообще написать чёрт знает что, это его право, он же не историк, а романист, если сказать ещё точнее — сочинитель. Назвать же сочинителем историка, который должен опираться на факты и достоверные источники, будет означать его некомпетентность и может звучать как оскорбление.

Но вернёмся к герою романа: «Долго он был в сем роде забвения. Между тем делалось светлее и светлее, туман начинал редеть и подниматься подобно завесе, открывая постепенно взорам путешественника скрывавшиеся за ним предметы. Сперва открылись мысы ближайшие, потом начали, так сказать, восставать из моря и отдаленные: Кадильной, Посольской и другие, подёрнутые синею пеленою».

И эта картина, скорее всего, родилась из безграничной фантазии писателя. Попробуем разобраться. Большой и Малый Кадильный расположены примерно в 18-20 км от поселка Большое Голоустное по берегу Байкала, и из нашего Култука

их ни при какой погоде не увидишь. Мыс Большой Кадильный можно увидеть в ясный день из Переёмной, Прибоя или Мишихи.

Посольского мыса в настоящее время на карте Байкала нет, и может быть, никогда не было, но есть известный Посольский монастырь, есть Посольский залив, есть Посольский сор. Но даже если так когда-либо назывался выступ в море, то он должен находиться поблизости. Название это по историческому свидетельству относится к середине семнадцатого века. Здесь в 1651 году были убиты и похоронены члены русского посольства в Монголию царский посол Ерофей Заболоцкий, его сын Кирилл и их спутники. Посольство везло казну, с ним ехали монгольский посол, переводчик и промышленные люди. Миссия шла на судне и причалила к берегу, где на неё напали с целью грабежа ясачные люди хана Тарухая-табуна. Погибли 8 человек из 20 членов миссии, которые сошли с судна на берег.

Неточности встречаются и у Николая Щукина в исследовании «Море или озеро Байкал»: «За Хамар-Дабаном возвышается голец Шибет; Байкал окружен горами. Высочайшие из них лежат близ юго-восточной оконечности озера или, по-тамошнему, «култука». Здесь, в 50 верстах от берега, возвышается знаменитая гора Хамар-Дабан».

Заметим, что «култук» у Щукина в данном эпизоде не посёлок, а оконечность Байкала, согласно принятому в русских словарях значению — угол, кут, мешок, тупик. Отсюда и происхождение названия посёлка.

В другом месте Николай Щукин пишет: «Теперь кругоморская дорога идет от Иркутска через реку Ангару на запад, по горам, до юго-западного окончания Байкала, где стоит деревня Култук. Последний спуск к этой деревне простирается на 7 верст, однако же, дорога тележная. В Култуке берут верховых лошадей и едут восемь станций по высочайшим горам, имеющим до 1000 сажен от поверхности морской: тут нередко встречаются подъемы и спуски под углом 45°. Первый подъем — верстах в 10 от Култука на гору Култушную, с которой открывается бесподобный вид на Байкал. Дорога вилает направо и налево до вершины горы; потом идет по гривам гор все выше и выше, до станции Слюдянской, на расстоянии 30 верст. Здесь переменяют лошадей и, перевалившись через гору под Хамар-Дабан, подъезжают к самому грозному исполину. Берега Байкала пустынные и безжизненные: скучны для человека общежительного, но клад для живописца и мизантропа.

Только в юго-западном углу моря стоит порядочное селение Култук, оживляемое в глубокою осень приходом обозов из Кяхты и обратно».

Расстояния в 10 и 30 верст, на которые указывает автор — примерные. Есть и другие неточности, например, дорога «идет по гривам гор все выше и выше, до станции Слюдянской, на расстоянии 30 верст». В разное время верста имела различное значение, в XIX веке 500 сажен, до Петра I — 700, ещё ранее — 1000.

Остановимся, чтобы перевести дух: зачем автору понадобилось от Култука забираться в хребты, чтобы достичь Слюдянки, расположившейся на берегу моря, когда до неё можно добраться по ровной местности вдоль Байкала? Подразумеваю, что автор не ездил этим трактом, а использовал какой-то непроверенный источник.

Так что же это такое? В первом отрывке оконечность озера названа юго-восточной, а во втором — юго-западной. Кто же прав? Если уж учёные люди не могут договориться между собой, куда нам, любителям, податься, какую выбрать точку зрения, чтобы с этой точки сказать окончательно, как назвать оконечность Байкала на юге? Возьму компас и пойду искать место, в котором юг сходится с западом и востоком.

Но в данном случае, меня больше интересует посёлок Култук (или поселки?).

Я пришёл к выводу, что Калашников описывает совсем другой Култук, «на восточном берегу», а Гольдфарб нашёл у него тот Култук, который хотел найти, не обращая внимания на стороны света. У Калашникова в сюжете человек некий, «судя по платью... путешественник», сидит на камне «подле морского берега». И далее: «Сперва открылись мысы ближайшие, потом начали, так сказать, восставать из моря и отдалённые: Кадильный, Посольский и другие, подёрнутые синею пеленою». С такой же неопределённостью можно сказать, что герой романа сидит на западном берегу. Мыс Кадильный находится на западном, Посольского мыса на картах нет, но есть Посольск на восточном берегу. Из современного Култука, как ни старайся, даже в бинокль означенных объектов не увидишь. Можно, конечно, определить примерное место, в котором должен находиться наблюдатель, чтобы хотя бы теоретически лицезреть одновременно оба объекта, но вероятнее всего оно должно находиться где-то посреди байкальских вод...

«Култук» как географическое название в нашей области встречается неоднократно, есть посёлки в Слюдянском и Усольском районах, есть два залива с таким названием, возле нашего Култука и в Баргузинском заливе, есть Култучная гора и Култучная речка в окрестностях Култука, есть речка Култушная в Забайкальском крае, впадающая в Витим. А если войти в поисковую систему Интернета, то можно оказаться и на Каспийском море, что доказывает тюркское, а не бурятское происхождение названия, на которое указывает Калашников. В Википедии читаем: «Мёртвый Култук (бывший залив Цесаревича и залив Комсомолец) — ранее залив у северо-восточного берега Каспийского моря, ныне пролив в залив». Владимир Иванович Даль также указывает на тюркское происхождение слова.

Я уверен, что в девятнадцатом веке на Байкале было два Култука. Это заключение я вывел из той путаницы, в которую меня завёл Станислав Иосифович.

Примерно в одно время побывали на Байкале А. Мартос в 1823 г. и Н. Лорер примерно в 1827, предлагаю посмотреть на их описания Култука, одного и того же по версии Гольдфарба.

А. Мартос: «Култук построен правильно. В нём 21 дом, но улица расположена параллельно изгибу моря. Култукские окрестности заслуживают кисти художника Вернета, страстного любителя подобных приморских видов. Кедры величавые осеняют соседственные горы. Отсюда уже недалеко устья рек Слюдянки, богатой царством минералов, и Похабихи, которую называют в честь того Похабова, который построил острог Иркутский; сверх того, во многом как и воин и политик был полезен для службы русских царей. Култук, к чести жителей и местного начальства, содержится в такой опрятности, которую можно найти в окрестностях Норвегии и Голландии. Жители имеют изобильное хлебопашество и рыбные промыслы. Омули, сиги, хариузы и налимы водятся во множестве...».

А вот описание Н. Лорера: «Тем же лесом стали мы подниматься в гору; мороз был страшный, и я побаивался за моего слугу, немца. На рассвете на одном из перевалов я увидел впереди высокий хребет гор и узнал, что горы эти называются Хамар-Дабан и составляют границу нашу с Китаем. Мы стали спускаться, лес редел. Вправо (*Заметь, читатель! — В.К.*) блестел замёрзший Байкал, и в ногах наших далеко внизу открылся Мёртвый Култук, т. е. с десятков шалашей, служащих жилищем тунгусам, самоедам и поселенцам. С шумом подъехали мы к единственной избе Мёртвого Култука. И хозяин её вышел нам навстречу на крылечко. Бодрый старик, заложив руки за пояс, смотрел с удивлением на новопришельцев. Поздоровавшись с ним, я просил у него позволения нанять у него помещение».

Во втором описании Лорера говорится: «Култук окружён горами и скалами. Колоссальный Хамар-Дабан угрюмо высится над высотами, у подножья которых, на берегу Байкала приютился скромный уголок наш. Ни в каком календаре, ни на одной карте Азии... Вы не ищите Мёртвого Култука: это брошенный, забытый кусок земли. Одни тунгусы, бог знает, как его обрели, бог знает, как в нём прозябают без хлеба».

Предупреждал же Лорер, не ищите Мёртвого Култука.

И первое и второе описание Лорера относится к какому-то другому, не нашему Култуку. Об этом говорит и название «Мёртвый Култук», при подъезде Байкал открылся справа, но если ехать из Иркутска, он всегда будет слева. В Култуке, по описанию Мартоса, 21 дом, «жители имеют изобильное хлебопашество и рыбные промыслы. Омули, сиги, хариузы и налимы водятся во множестве», а через два года у Лорера: «это брошенный, забытый кусок земли. Одни тунгусы, бог знает, как его обрели, бог знает как в нём прозябают без хлеба». Не мог же Култук, за два-три года, по впечатлению Мартоса, к чести жителей и местного начальства, содержащийся в такой опрятности, которую можно найти в окрестностях Норвегии и Голландии, — вдруг превратиться в гнилой голодный угол. Никакой революции, никакого глады и мора не было. Значит, мы имеем перед глазами другой Култук. И ещё Лорер сказал, что не найдёшь его ни в каком календаре, ни на одной карте Азии. А Станислав Иосифович нашёл, но не там...

Если бы Станислав Гольдфарб не запутал меня окончательно, я не пришёл бы к открытию, что когда-то на берегу Байкала было два Култука, и находились они на разных берегах. Действительно, легко учиться на чужих ошибках, к тому же и исправлять чужие ошибки гораздо легче, чем свои.

Култукские поселенцы

То были самые ясные годы жизни, ещё теплилась надежда на светлое будущее, — завтра будет лучше, чем вчера — разносился из репродукторов бодрящий мотив, вокруг больших городов возводились микрорайоны, счастливые люди справляли новоселья, во множестве организовывались дачные кооперативы — горожане устремились на землю, подвластные зову крестьянской крови.

Писательских кооперативов не было, и не могло быть. Во-первых, писателей мало, во-вторых, эта сложная категория советских граждан была страшно индивидуалистична, и всё же дух общины захватил и нас, возникло некое стихийное поселение в Култуке, на южной оконечности Байкала. Там поселились и жили в летние месяцы писатели Ростислав Филиппов, Михаил Трофимов, Валентина Сидоренко, Анатолий Байборodin, Петр Реутский, Ким Балков, наездами и проездами, следуя за ягодами и грибами в Тункинскую долину, останавливались Валентин Распутин, Альберт Гурулёв, Геннадий Гайда, Василий Забелло, Александр Семёнов, Валерий Хайрюзов и многие другие. По аналогии с московским «Переделкино», Всесоюзным писательским Домом творчества, с чьей-то легкой фразы мы стали называть его «Недоделкино», не вкладывая в это какого-то особого смысла, кроме иронического. Недоделкино да Недоделкино.

Култук возник на горизонте не случайно. В то время жил там постоянно писатель Михаил Просекин, своими родовыми корнями уходивший в эту землю, работал в Слюдянке в районной газете, а когда вступил в Союз писателей, ушёл на вольные хлеба и поселился на улице Лесной, почти в конце распада, начинавшегося от переезда на Транссибирской магистрали, и идущего вверх по разло- жине, между двумя довольно крутыми склонами, с юга на север. Света там было немного, солнце появлялось из-за восточного склона ближе к обеду, а до ужина уже скрывалось в берёзовых и осиновых кронах западного. Но картошка и прочие овощи там нарождались и радовали новообращённых дачников. Место не было идеальным для огородничества, холодный ветер с Байкала, покрытого льдом до начала мая, устанавливал свой климат. Но нам, природным неопфитам, и эта суро- вость казалась ласковой и необходимой.

Как почти всякий сибирский мужик, Миша был и охотником и рыбаком, и гриб- ником и ягодником, и столяром и плотником. Он был нашим проводником по ягод- ным и ореховым местам, и не одну ночевку мы провели с ним у костра, где-нибудь на Комаре, на Чайной, на Трубе, на Быстрой, на Лазуритке, на Грязном ключе, на Танковой дороге, на Бурутуте, и ещё бог весть в каких местах, которым и названия нет — негодья да неудобья, где даже черти не осмелятся селиться. И поздней осе- нью, когда в наспех сооружённом шалашике, принакрытом полиэтиленом, и зябло и сыро, улыбнётся удача, и в тесной прогнившей зимовьюшке удастся пристроиться на поднарах, и уже хорошо, и уже довольно, — в тепле и сухе.

Дом у Михаила был просторный пятистенник, с рублёными сенями, с баней во дворе. Он сам обшил избу изнутри горбылем, — зимними вечерами облагоражи- вал ручным рубанком. Покрытые олифой стены приобрели экзотический вид, в отличие от традиционных белёных крестьянских изб. Нашлась и медвежья шкура, и изюбриные рога, и жилище обрело вид охотничьего домика.

Миша приезжал в город, приходил в Дом литераторов на Степана Разина, рас- сказывал о богатствах тайги, о красотах байкальских, народный язык его был от- кровенным и образным:

— Слушай, смородина нынче уродилась как котовы яйца. Поехали завтра.

Таёжный сезон начинался с черемши, затем шла красная, чёрная смородина, жимолость, за жимолостью — голубица, за голубицей — черника, за черникой — брусника и кедровые орехи. Ещё водилась на каменных россыпях за Карантином черная кислица, ее ещё называли каменная смородина, и даже ирга, по внешней похожести на садовую культуру.

Таёжное дело зависит от фарты, а вот оказавшись на земле, нужно что-то было с ней делать. Прежние, исторические дачники, дачники Чехова, русской класси- ческой литературы, были дворяне или разночинцы, и дача для них имела смысл загородного жилья, препровождения времени «на природе», где и сад, возделы- ваемый другими, и труд, выполняемый другими, имели чисто эстетическое зна- чение. Можно было бродить, восхищаться растениями и цветущими вишнями, рассуждать о вечности, ругать царя, кликать бурю, не допуская мысли, что ее вне- запные порывы сметут и вызвавших её: «Пусть сильнее грянет буря».

Мы же были огородниками, в нас проснулись крестьянские гены, и, засучив рукава, копали грядки, сажали редьку, репку, свёклу, морковку и прочую огород- ную мелочь, о возделывании которой не имели ни малейшего понятия. Но так как

этим занималась вся страна, то молва, обмен опытом, советы соседей по огороду, случайный разговор в электричке, — всё годилось «в строку» земледельческого сочинительства.

И ещё одной причиной облюбования Култука была наша, говоря старинным языком, «безлошадность»: никто из нас не имел автомобиля. Электричка помогала два раза в сутки точно по расписанию за три часа, если не случалось непредвиденных стояний в пути, добраться до Вербного, а там километр с небольшим по лугу параллельно стальным рельсам или прямо по насыпи, по шпалам, сходя на обочину, когда проносился товарный состав или пассажирский поезд. Надежно и даже выгодно, потому что билет на автобус стоил дороже, и останавливался он в центре поселка, а электричка иногда могла остановиться прямо на переезде, в двухстах шагах от наших домов. Но это уже зависело от машиниста, от его характера, от его сговорчивости и просто настроения. Он был и бог, и царь, а для нас и герой, — и никакое управление железной дорогой ему не указ. Иногда набиралась большая компания из нас и местных жителей, а это действовало на машиниста безотказно.

Электричка того времени — что-то наподобие цыганского табора, самостийной республики, такая веселая вольница, конечно, далекая до Запорожской сечи, все же мирный народ, но чем-то отдаленно ее напоминающая. Проехать без билета считалось чуть ли не правилом хорошего тона, и каждый, кто был склонен к мелкому авантюризму, обманывал контролеров. Кассиров тогда в электричках не было, а касс не было на большинстве остановок. Контролеры, если и появлялись, то в будние дни ехали, как правило, от Иркутска до Большого Луга, чтобы вернуться в Иркутск обратной электричкой. Пассажиры, сядшие в электричку после Большого Луга, соответственно ехали бесплатно.

Миша Просекин, опытным путём познавший эту систему, всегда брал билет только до Большого Луга, если контролеры все же появлялись, покупал у них билет на две-три остановки дополнительно. У Ростислава Филиппова был проездной участника войны с Афганистаном, который ему торжественно вручили на одном из выступлений.

Иные садились в электричку без билетов вовсе, а если появлялись контролеры, называли предыдущую остановку, то есть методика бесплатного проезда или с частичной оплатой была доведена до совершенства. Наиболее прыткие, мы их называли «бегунами», и относилось это исключительно к молодежи, при появлении контролеров перебежали в другой вагон, на остановке по платформе возвращались обратно в «проверенный» на свое место. Но и железнодорожники приспособились к реальности. Бывало, какой-нибудь заполошный заяц прыгает-прыгает из вагона на платформу, с платформы в вагон, и присядет, счастливый от обмана, а контролеры и войдут с двух сторон, как внезапный спецназ. И подступят к злоумышленнику, и до Иркутска его, стиснутого с боков, везут, и доставят куда положено, и взыщут с него за все недоплаты оптом.

Туристы закрывали рюкзаками маломерных таёжников, объём которых позволял уместиться под лавкою, но и это тоже бывало разоблачаемо. Короче говоря, борьба была нешуточная. Беганье от контролеров было неким не олимпийским видом спорта с преодолением препятствий, и пассажиры в большинстве своем относились к нему с веселием.

Сегодня не успеешь войти в вагон, как к тебе подходит кассир, а при необходимости появятся и представители «Желдорхраны» или полиции, так что массо-

вые соревнования на тему, кто кого обманет, остались за стуком доперестроечных чугунных колес. Хотя мелкая выгода и сегодня не исключается, всегда найдётся гражданин, считающий, что обмануть государство дело благое.

В конце восьмидесятых, начале девяностых годов, когда люди боялись вечерами выходить из дома, когда бандитские разборки и бытовой грабеж стали нормой жизни, электричка, особенно вечерняя, напоминала эпизод из киношного триллера конца света: какие-то редкие мутные и темные люди пили и курили прямо в вагонах, местная шпана по трассе с «полторашками» вваливалась «с гиканьем и свистом» в вагон на одну-две остановки; и когда в поисках тепла переходишь в другой вагон, видишь только что разбитые с усердием и тщательностью окна — ни одного целого, — утешаешься, как ни странно, тем, что и в мерседесах тоже нет надежного укрытия.

Да что там разбитые окна! Однажды вечером, возвращаясь в Иркутск, только отъехали от Большого Луга, кто-то выстрелил из ружья в электричку, пуля прошила четыре оконных стекла и просвистела между скамейками на уровне наших тел, обрызгала острой алмазной крошкой и чудом никого не задела. Было понятно, что «ворошиловский стрелок» целился в пассажиров, но не учёл, видимо, скорости движения поезда. Помощник машиниста заглянул в вагон и, не отвечая на наши вопросы, удалился в свой отсек. Поезд, не остановившись, катился по своей колее. Примерно в это же время в другом поезде, за сотни километров от нашего, выстрелом с обочины был убит в поезде брат писателя Николая Зарубина. Просто так. Из прихоти.

* * *

Первым соблазнился Култуком Ростислав Филиппов. Он купил дом у Михаила Ивановича, старого цыгана, участника войны, разведчика. Они договорились так, что Михаил Иванович еще долго жил в зимовье рядом с домом, пока не переехал к своим приемным дочерям в Иркутск. Михаил Иванович был человеком рельефным, но, чтобы не утомлять читателя, лучше приведу стихотворение Ростислава Филиппова, которое и образно и живописно ярче покажет портрет и характер этого человека, чем я своей скупой строкой.

*Изба — чертоги в Култуке.
И рядом ходит в полной славе
с ромашкой белою в руке
июль — улыбчивый красавец.*

*И не читаю я газет.
И не смотрю на телевизор.
Я здесь бросаю дерзкий вызов:
Газетам и экрану — нет!*

*Великолепно в Култуке!
Ни слова о по-ли-ти-ке!*

*Но мой сосед Михал Иваныч,
пенсионер, кроликовод,
но мой сосед Михал Иваныч
никак забыться не даёт!*

Ему известен шар земной.
Ему известна вся планета.
Ведь как разведчик полковой
он лично сам прошёл полсвета.

К тому ж, хотя весь день кролям
он косит сено, клетки чистит,
всенепрерывно по ночам
подолгу слушает транзистор.

И утром двери заскрипят,
сосед войдёт, воздымет руки
и грохнет об стол: — Вот подлюки,
что в Гватемале-то творят!

Допьём вчерашнее вино.
И я узнаю в три минуты,
что там, в Париже решено
и что... ну эти... — фу-ты, ну-ты,
а вроде вникнут всё равно.

Я ухожу к себе на грядки
полоть морковку и салат.
Июль. Жара. Лягушки в кадке.
Покой. Шмели в цветах гудят.

Глядь — Михаил Иванович рядом.
— Давай покурим мой табак.
— Смотри-ка, туча снова градом
грозит, как Рейган, так-растак.

И снова — травка да муравка...
Сгребает сено... Чинит дом...
Да, кролик — к пенсии добавка.
Прибавка, понял я, с горбом.

Бывает, выпьет граммов триста
и час-другой в тени лежит.
Шотландская овчарка Криста
его привычно сторожит.

Он отдыхает, но при этом
собаке строгий даст наказ:
— Следи за подлым Пиночетом,
чуть что — всех передушишь враз!

Великолепно в Култуке...
Дожди не мучают покамест...
Взглянул в окно — там ходит август
с ранеткой красною в руке.

Уже осеннюю угрозу
почуял свет, почуял цвет.

*Уже на мясо зверпромхозу
сдан подлый кролик Пиночет.*

*Синей становится Байкал
от холодов ночных, похоже.
Уже на землю лист упал.
И гриб в тайге пропал. Но все же*

*великолепно в Култуке!
Опять приехала подруга...
Сосед мой Кристе вдалеке
кричит: — Не лайся, Тетчерюга!..*

И все же не могу не добавить о Михаиле Ивановиче, слишком уж колоритная была фигура. Он поселился на улице Лесной в крайнем доме, за которым начиналась тайга, лет за десять до Просекина. Не от простой жизни, в местах не столь отдаленных (а в Сибири у нас всё близко) заработал туберкулёз и поселился на отшибе, в стороне от людей, доживать скудные, по определению врачей, остатные деньки. А чтоб было какое-то заделье — не ждать же безносой сложа руки, — стал разводить кроликов, и как сам он мне говорил, именно крольчатина и вода из ручья, которую он считал целебной («и живая вода из ручья» в стихи Р. Филиппова перетекла из этого распада), вернули ему здоровье: легкие зарубцевались. Михаил Иванович, как почти все прежние сидельцы, мог и печь сложить, и сапоги стачать, а уж подшить валенки — плёвое дело. И портняжить тоже наверняка бы смог, если бы нужда заставила, мог держать в руках и шило и иголку. Да и коновалом был известным на весь Култук, приглашали нередко хряков вылаживать.

Но однажды случилась оказия, о которой и соседи помнят, и он сам не прочь был иногда за стаканом водки — рюмок он не признавал — рассказывать эту историю, но надо было обязательно попросить или напомнить, сам об этом никогда не заговаривал. Рассказчик он был редкого живописания, если по случаю начинал вспоминать истории из фронтовой жизни, я сам бывало не одну ночь слушал его, да сожалею теперь, что по лености своей не записывал, мало в дырявой памяти со временем что осталось, это была та правда, о которой не прочтешь даже у Виктора Петровича Астафьева.

Просто анекдот

Привезли Михаилу Ивановичу горбыль. Надо заметить, что данный пиломатериал, кто не знает, это продольные горбушки от брёвен, когда их пропускают через пилораму и получают лафет, а из него в дальнейшем пилят брус или распускают на доски. В советское время это были бесплатные отходы производства, и чтобы не захламлять территорию пилорамы, горбыль развозили по поселку и сваливали там, где нуждающийся житель укажет. Можно было и самовывозом брать сколько хочешь, или заказать знакомому шоферу, или заплатить на предприятии за вывоз, и тебе доставят по адресу.

Самосвал пришел утром. Михаил Иванович стал показывать куда сваливать, водитель стал сдавать к забору, а Михаил Иванович не успел отскочить, и его мужское хозяйство, когда доски поехали с кузова, оказалось резко прижатым выдвинувшейся горбылиной к забору, и он потерял сознание. Шофер сбежал на ручей,

набрал ведро ледяной воды и привел несчастного в чувство. Штанина была разорвана, шофер побледнел и молча смотрел, только глаза бегают вверх — вниз. Но разорванной оказалась не только брючина, но кое-что более важное для Михаила Ивановича.

— Чего уставился, яиц живых не видел? Дуй за водкой, — эту фразу, когда он рассказывал кому, Михаил Иванович всегда заканчивал, прищулив правый глаз, понимал, что она коронная в рассказе. Слушатели обычно грохались со смеху.

Тем временем Михаил Иванович готовился к операции. У него были специальная игла и нитки, которыми он зашивал у борова то же самое место. Через минут пятнадцать вернулся шофер. Михаил Иванович вымыл водкой руки, протер нитки и иглу, налил до краёв в стакан и не спеша, глотками выпил, занюхал половинкой лежавшей на столе луковицы, и приступил к делу.

— Может, в больницу поедem? — содрогаясь внутренне, не мог успокоиться шофер.

Совсем молодой парень с отвислыми руками и птичьим профилем был глубоко испуган и не мог скрыть волнения.

— До свадьбы заживет, — выдержав длительную паузу, спокойно ответил Михаил Иванович.

Свадьба, конечно, понадобилась для красного словца, но зажило скоро и надежно.

Иногда приходила к Михаилу Ивановичу култуковская женщина Валентина, улыбающаяся, хозяйственная, нигде не работавшая, наводила у него порядок, стирала, мыла, варила еду и жила у него до определенной поры. Он рядом с ней выглядел подростком, она по широте кости своей была раза в два шире его, а если измерить по периметру груди, то и в четыре. Когда она глубоко вздыхала, казалось, он преспокойненько мог бы поселиться у неё за пазухой. Разновеликость внешних форм не мешала им сожительствовать мирно и нешумно.

Но была в этой женщине одна странность. Когда Михаилу Ивановичу приносили пенсию, он непременно отмечал это частное, но не столь частое, как хотелось бы, событие, для чего отправлял Валентину в магазин, все же она была значительно моложе его, к тому же знала, что еще кроме спиртного нужно закупить на ближайшее время. В предвкушении праздника он забивал кролика, а так как магазин находился внизу, в поселке, и до него надо было спуститься вниз почти на километр, а потом вернуться обратно, он не торопясь начинал чистить картошку, чтобы потушить с крольчатинной...

Валентина не возвращалась ни через час, ни к ночи, ни на следующий день. Но проходила какая-никакая неделя, и она вновь являлась не запыхавшись, как ни в чем ни бывало, как солнце в ясный день из-за увала, и Михаил Иванович, попевая ей, оставлял ее в доме до следующей пенсии.

* * *

Я купил небольшой домик на улице Льва Толстого, на отшибе от других писателей, на окраине, под горой, за которой начиналась тайга. На улице Лесной дома не продавались, хотя изначально мой взгляд был обращен туда, где жили Просекин, Филиппов.

Примерно в одно время с нами поселились на Лесной улице Михаил Трофимов с Валентиной Сидоренко, общих детей у них не было, трофимовские Настя

с Иваном и Валентинин Пашка со товарищи обшелушивали за сезон все возможные и невозможные ягодники и кедровники, ловили рыбу в слюдянских озерах, стреляли из рогаток кедровок, которые крикливыми стаями перелетали из одних угодий в другие прямо над нашей горой.

Способ охоты был давним, и никто даже из старожилов не помнил, когда он зародился. На вершине горы, на лысой опушке подвешивалась на сук какая-нибудь металлическая посуда или кусок жести. По ним били куском металлической трубы или длинным прутом. Кедровки слышали этот дальний стук, вероятно принимали его за удары промыслового колота, извещающего о начале сезона, и летели на этот звук, другого объяснения я не знаю. Когда они подлетали близко всей стаей, поджидавшие их охотники начинали свистеть, а есть среди них большие мастера художественного свиста, кедровки, принимая этот свист за свист крыльев стервятника, резко падали вниз, рассаживаясь на ветки деревьев или на перекладины, специально сооруженные для удобной стрельбы. Пока кедровки соображали, что происходит, добычливые и цепкие сорванцы успевали отстрелять одну-другую зазевавшуюся птицу, снова били в «колокол», и всё повторялось до той поры, пока перелет не заканчивался.

Кедровок у нас не любят, потому истребляют безжалостно, как будто мстят им за то, что они могут в одночасье спустить шишку на огромной площади. Утешает, что она не находит часто орехи, которые прячет в лесной подстилке, и со временем они прорастают, поднимаются высоким кедровым лесом, снова давая пищу и себе и людям.

* * *

Наши улицы пересекались у переезда, мы ходили к друг другу, обменивались семенами и советами, говорили и о литературе, но длительности и основательности в наших разговорах не было, мы были заняты конкретным трудом, получая редкие минуты отдохновения уже в сумерках или в темноте, после позднего ужина, готовясь ко сну, который всегда бывал желанным, крепким и кратким.

Я сколотил из досок несколько прямоугольных каркасов для грядок, чтобы земля не осыпалась по сторонам. Жена Тамара занималась посадками. Но ни она, ни я не знали, как всходят семена, какой имеют вид, поэтому в начале грядки стояли таблички на стойках, выстроганных её братом Романом, резчиком по дереву. На каждой из них стамеской он рельефно вырезал название овоща, который должен появиться на свет Божий на данной грядке. Геометрия была выверена: ровные прямоугольные параллельные грядки радовали нас.

Михаил Просекин пришёл вечером, звал на следующий день пойти за черемшой. Посмотрел на сооружения, почесал затылок:

— У вас тут как на литовском кладбище...

Умел он кратким и ёмким народным словом изобразить картину.

Когда полезла зелень из серой, сыпучей земли, никакие таблички не спасали, с трудом распознавались хилые культурные ёлочки моркови среди ошетинившихся сорняков.

И, видимо, зов земли, любовь к ней пробудили в нас доставшуюся от предков потребность, и сделали это занятие необходимым на долгие годы, и не столько в смысле результатов, сколько самой неожиданности и радости труда.

Тайга, природа для нас, сибиряков, нечто большее, чем просто лес или река. С детских лет мы естественно и незаметно вживаемся в окружающее нас пространство, прорастаем в него, как деревья, и становимся неотъемлемой частью, становимся сами этой природой, и уже не можем жить без походов в лес, без рыбалки и охоты, и это не развлечение, а образ жизни. Чиновники, предприниматели, творческие люди и все другие, объединённые званием сибиряка, родственны не столько территориям, сколько общими пристрастиями.

У Михаила Просекина был мотоцикл «Урал» с коляской, обшарпанный, помятый, выдавший и глубокие кюветы, и тяжелые колдобины, он называл его «Артамоном». Машина незаменимая для таёжных дорог; всегда можно вытащить, выкатить из любой ямы; подтолкнуть, если забуксует. Далеко в тайгу и на нём не уедешь, вокруг Култука крутые склоны, поэтому больше приходилось топать пешком. Но за черемшой в район Тибельтей ездили на мотоцикле. Оставляли трёхколёсного работягу на обочине, и уходили собирать черемшу.

Артамоном назван в его повести «Дом из силикатного кирпича» автомобиль главного персонажа, председателя исполкома Дениса Матвеевича Рябых, которому он передал много своих черт и внешности и характера, и даже название собственного мотоцикла: «Наличествовал при Сысоевском поссовете старый, возможно, самого первого выпуска «бобик» с человеческим именем Артамон, с выцветшей и опавшей брезентовой крышей, тряский, скошенный вбок, на удивление живучий, благополучно миновавший все сроки списания». Ну а если средство передвижения названо так же как у автора, то и пристрастие к рыбалке у героя — просекинское, и сама рыбалка выписана с любовным чувством: «О-о, какие виды рыбной ловли знал Денис Матвеевич!.. Водил он по лунной дорожке, уложенной вкось реки, искусственную мышь из нерпичьей шкурки и лавливал пудовых тайменей; нет-нет, не стоит слушать байки о неимоверной борьбе с этой рыбой, бежит она с заключенной крючками пастью, ушибленная и потерявшая удаль, легко и податливо, только успевай подматывать леску. Налавливал он, сколько хотел, горбатых толстокожих окуней; те берут червя или блесну жадно, нарасхват, а идут наверх тоже покорно, без лишних выкрутасов, со вздыбленными колючками плавников. А сколько повыдергал на своём веку ленков и хариусов! Доставал из-под берега голыми руками, не боясь никакой земной твари, раздавленных в боках от печени налимов; они ведь хищники, вовсе не вялые, как думается, и брать их надо хватко, вздав, и моментально выкидывать на берег... Освоил он и зимнюю рыбалку, даже соорудил фанерную будку с железной печкой, отапливался по целым ночам и ловил на Байкале омуля, правда, уже этого, выведенного по науке, маленького и юркого, безвкусного; там нужна особая чуткость, потому как берёт он наживку разборчиво, немного держит её в губах; подсекать его следует легонько и тащить наверх равномерно, внатяжку, без малейших рывков». Иногда автор доходит до таких подробностей, которые можно назвать пособием для начинающих рыболовов: «При ловле карасей другое убажение души, тут иной смак. Снасть берётся самая простейшая — тонкое удилище метров пяти, привязывается леска 0,3 мм в сечении, поплавков не больше напёрстка, крючок № 4; наживляется обрывок дождевого, средней толщины червя. Карась берёт вроде бы по принуждению, лениво как-то и уходит куда-нибудь в сторону, в тину, в заросли. Вот здесь-то и надо не упустить момент, вздёрнуть кончиком удилища, засечь и повернуть рыбёшку на себя и выбросить на берег».

И в других героях этой повести узнаваемы култукские жители, например в директоре автобазы Валерии Николаевиче Косенке — директор «Автовнешстранса» Роман Захарович Луцик. Михаил Просекин был народным писателем, героев своих он брал из жизни, как и сюжеты, потому и сегодня его повести и рассказы не утратили правдивости и живости.

Озёра между Слюдянкой и Шаманским мысом кишели карасями. В воскресные летние дни чуть ли не весь берег вдоль железнодорожного полотна был плотно усеян рыбаками, от малышни до стариков, и каждому по мере сноровистости и удачи воздавалось этой костлявой, солнечно-золотистой и удивительно вкусной рыбой. Ездили и мы из Култука бывало большими ватажками вместе с ребяtnей, иногда коротали краткие июльские ночи у костерка, чтобы на самой ранней зорьке, когда клёв особо хорош, утолить этот извечный неутолимый рыбацкий голод.

Ездил я и один на своём дорожном велосипеде. Накачивал лодку, выплывал подалее от берега, якорился шестом, находил прогалину в зарослях белых лилий, восточным ковром расстилавшихся по поверхности, подкармливал место перловой кашей и, если погода сопутствовала, а карась обнаруживал моё угощение, надёргивал бывало по ведру золотых, величиной с ладонь, разжиревших карасей.

На Мишином мотоцикле ездили на Большую Быструю. Но там надо было идти в хребты, поэтому мотоцикл оставляли в Анчуке, десятком домов растянувшимся вдоль речки, у знакомых Михаила, и поднимались в гору к Витькиному зимовью. Там и орех был, и брусника. Иногда приходилось ночевать в тайге не одну ночь, особенно если ходили бить орехи. Орех надо было набить, перетереть, шишки отвеять, просушить или, как у нас говорят, прокалить. Можно, конечно, и сырой орех нести домой, но прокаленный — он и легче, что немаловажно, так как тащить на себе приходится несколько километров; и к тому же, прокаленный орешек вкуснее, а обрабатывать его в коммунальной квартире и хлопотно, и несподручно. Хотя бывали обстоятельства, когда я привозил домой орех только перетёртый, вместе с терехом. Мука мученская отбирать и отвеивать орех с помощью вентилятора.

В промысловой зоне возле зимовий, как правило, всегда есть мельница, в которой разминаются шишки. Устроена просто. В короб помещается вал металлический или деревянный с шипами, сбоку к нему приделана ручка. Крепится машинка к дереву. Один шишкарь крутит ручку, другой засыпает в короб собранную шишку, которая размалывается и падает вниз. Затем эту массу ссыпают на сита, квадратные жестяные поддоны с загнутыми краями, называемые решета, с отверстиями такого диаметра, чтобы в них мог проваливаться орех. Отверстия иногда высверливаются, а чаще, так как готовят из подручных материалов, пробиваются острым железным костылём диаметром миллиметров десять. Иногда используют металлические сетки с соответствующей ячейкой; крупная фракция остаётся на решетах, её вытряхивают тут же в сторону. Поэтому вокруг зимовья в кедровниках образуется толстая подстилка из отработанной шишки, где любят пировать мыши и бурундуки, выискивая в отходах попавшие туда ненароком орешки.

Вместе с орехом сквозь решета проваливаются и частицы раздробленной шишки величиной с орех и меньше. Эту сухую «кашу» отвеивают. Происходит это так. Между двух деревьев на высоте полутора — двух метров прибивают жердину. К ней по всей ширине укрепляют полиэтиленовую плёнку, спускают полосу и расстилают по земле на 5-7 метров от свисающего полотна. Затем специальным совком, деревянным или металлическим, берут отсев и бросают его на свисаю-

щий вертикально полиэтилен. Самые тяжёлые и спелые зёрна долетают до «зеркала», а остальная масса падает и оседает ближе, её сметают в сторону, а чистый орех собирают в мешки.

И, конечно же, качество работы зависит от навыка веяльщика. Если бросить не слишком резко и не слишком сильно, то орех может не долететь; а если сильно, то в чистый может попасть и пустой орех; и траектория полёта должна быть задана точно.

После нескольких пробных бросков опытный веяльщик обязательно пройдёт и поднимет орех и возле «зеркала», и ближе к месту броска, и определит насколько работа чистая, а уж потом будет бросать без передыха, пока не перекидает весь отсев.

Раньше, когда работали артельно, то и приспособления использовались постоянно, и служили не один сезон: мешки, сбирки (специальные мешки, полости, пасти, вешавшиеся через плечо), мельницы, колот, который стоймя прислонялся к кедрине до следующего урожая. Случайные, как мы, добытчики ореха использовали подручный материал, какие-нибудь картофельные мешки, в них собирали шишку, привязывая к углам верёвку, в них же потом ссыпали чистый орех. Сок для отвеивания делался обычно из подходящего размера консервной банки или полиэтиленовой бутылки, обрезанной наискось, годились алюминиевая или эмалированная кружка, объёмом до полулитра, или чуть больше.

Ореховый промысел в Сибири — явление уникальное, в нём выражался и проявлялся русский общинный характер. Можно, конечно, одному ходить с колотом, бить и собирать, и обрабатывать шишку, но всё же идеальным считается, когда на один колот приходится двое-трое сборщиков. Артелью, как говорится, и батьку бить легче.

Мешки припасаете из дома, колот делается на месте, в тайге**. Выбирается подходящего диаметра берёза, её древесина более плотная и тяжёлая, чем у кедра (да живой кедр и не принято использовать для колота), из неё выпиливается сутунок, чурка, 60–70 сантиметров длины, к ней в середину врезается под углом длинная ручка. Этот огромный деревянный молоток (колоток) носится на плече, ставится на полшага от дерева на рукоятку, отводится на себя, а потом им с силой ударяют по кедрине, от сотрясения спелая шишка срывается и летит вниз.

В Сибири говорят именно кедрина (по аналогии с сосной) — женского рода, потому что она дает урожай, т.е. рождает шишки.

Колота бывают разного размера и запиливаются под разным углом в зависимости от местных традиций. В Качугском районе, к примеру, древко короче, а сам молоток длиннее. В иных местах орех бьют колотушками, наподобие толкушки, используемой на кухне для толчения картошки; высотой чуть меньше роста человека, её берут двумя руками и наносят удар поперёк; или делают колот наподобие большой киянки, известного у столяров деревянного молотка, но только крупнее.

Тот, кто ходит с колотом, обычно надевает шапку-ушанку или каску, так как шишка в 100–150 граммов, падающая с высоты в несколько десятков метров, может серьезно повредить голову. Но иные удалцы в момент падения шишки подставляют голову под колот, и он берёт удар на себя. Но если чуть зазеваешься, то шишка вскочит на голове, по размерам не уступающая кедровой.

***Татьяна Суровцева, удивительная иркутская поэтесса, всю жизнь прожившая в городе, естественно, не знала тонкостей и деталей орехового промысла, никогда на нем не бывала, и написала стихотворение, в котором «Спит у реки посёлок – съёжился, опустел. В сених ружьё и колот всё ещё не у дел». Когда я ей объяснил, что колот — инструмент такой тяжести, что его не всякий мужик поднимет, что его никогда не уносят из тайги, она улыбалась. А в стихотворении он так и стоит в сених на вечной прописке.*

Федя Железный

Как-то мы с Михаилом Просекиным поехали в кедровник на Большой Быстрой. Зашли на хребет, прошли километра три (так все считали, хотя расстояния в тайге условны), потом по плоскотине до Витькиного зимовья. Так оно называлось по имени отшельника, прожившего в нём несколько лет.

Год был урожайный, народу вокруг зимовья и в самом зимовье набралось немало. Миша устроился ночевать под нарами в зимовье, как старожил данных мест, а я соорудил неподалёку шалашик с навесом из полиэтилена. Говорят в тесноте да не в обиде. Но мне почему-то всегда уютней пусть в прохладе, но, чтоб попросторней. К вечеру все собирались на таборе (так называют у нас место стоянки и ночёвки), жгли костёр, котелки на таганах притягательно курились. Основной едой были супы из концентрата, продавались они в бумажных пакетах во всех магазинах, добавишь в варево картошку, и получалась аппетитная и вкусная еда, ну а если случалась тушёнка, то это был уже шедевр таёжной кухни. Кто-то прихватывал из дома огурцы, помидоры, лук, чеснок, иногда яйца и, пожалуй, всё.

«Смотри, — шёпотом сказал Миша, — Федя Железный».

Слюдянский житель по прозвищу Федя Железный был обозначен в качестве одного из персонажей рассказа Михаила Просекина «Пчёлы». По сюжету, сосед его, Семён Варламович Дергоус берётся за экологическое воспитание Железного и даже вынуждает его писать под диктовку расписку: «ныне и в последующие годы обязуюсь: 1. Не приделывать к колоту резиновые оттяжки, дабы не уродовать кедрач. 2. В целях сохранения тайги не применять взрывчатку. 3. Заходить на шишковой только в положенный срок».

Но Железный не был прост, одумался, смял бумагу и сунул в карман. Здесь, наверное, необходимо пояснение. Начну с последнего пункта, потому что из него вытекают предыдущие. В давние времена, когда в лесном хозяйстве был порядок и контроль, добывать орех начинали тогда, когда он созревал и легко скатывался вниз при первом ударе и средней тяжести колота. Позднее, когда бесхозного народу по тайгам шастало великое множество, мало кто дожидался полного созревания шишки, боясь опоздать, и колотить её начинали рано, когда она ещё плотно сидела на ветке. Я сам видел, когда собирал чернику, шишка ещё не созрела и висела цепко, а шишковой с колотами наперевес оккупировали кедровник, лупят несчастные кедровые по несколько раз. Упадет несколько шишек, подбирают — и идут дальше, а следом другая команда, и третья по тем же кедровым колошматит, собирая нешибкую дань, а за ними ещё и ещё, место удара на кедре ширится, как гематома, и от такого массажа многие деревья засыхают. Для усиления удара применяют помочи, оттяжки, которые привязывают к колоту, за них берутся двое, третий придерживает и направляет колот и добавляет своё усилие, от такой тройной тяги и вершины, бывает, ломаются, а шишка не падает. Но рассказывали таёжники, что бывали умельцы, которые привязывали к дереву динамит или пороховой заряд — это, скорее всего, из разряда таёжных баек, но бытует в народной памяти. Хотя, если рыбу глушили динамитом, то чем кедр хуже. Варварство и дикость не имеют границ и богаты на изобретательность.

* * *

Мы скинули горбовики, которые взяли на случай, если добудем брусники, а если нет, то можно было их заполнить орехом. Большинство таёжников ходили в

тайгу с горбовиками, это такой ящик из фанеры или алюминия с лямками, ёмкостью от двух до пяти ведер, в него складывали еду, совок, которым брали ягоду, одежку, бельё, носки, котелок, кружку, ложку; сверху привязывали телогрейку или спальник (хотя в то время лёгких спальников не было, и редко кто брал с собой тяжелый геологический, но все же я встречал редкие экземпляры тяжеловесов), и обязательный кусок полиэтилена, чтобы накрыть шалаш на случай дождя.

Если поход был добычливым, в горбик набиралась ягода, в нём она не мялась, а сверху привязывался мешок с орехом, и всё это взваливалось на плечи, но, как говорится, «своя ноша не тянет». Полиэтилен, топор, пила, а иногда и что-то из одежды прятались где-нибудь под валежиной, в уверенности, что придёшь сюда на следующий сезон...

Наспех перекусили, взяли мешки и пошли искать подходящее «для битья» место. Сезон только начинался, и мы поднялись недалеко от зимовья, соорудили колот. Мешки, наполненные шишкой, стаскивали вниз, к зимовью, высыпали в кучу и снова поднимались в гору. Мешки были небольшими, учитывая, что надо было захватывать горловину, чтобы нести мешок, производительность была небольшой. Обычно для удобства к нижним углам мешка привязываются лямки, а верхней петлёй захлестывают горловину, тогда объём ноши увеличивается.

Но мы были любителями и плохо усвоили гоголевский урок и совет не отправляться в дорогу без верёвки.

Вечером у костра Миша решил поцыганить:

— Слушай, Федя, ты не мог бы нам лямки дать. Ты завтра ягоду берёшь, а мы вечером отдали бы.

Федя глянул из-под густых с седыми завитками бровей. Особого сочувствия или участия глаза не выражали. Он молча порылся в горбике и протянул Мише верёвку, но это была не простая верёвка. Это были две полосы от транспортной ленты шириной 4–5 сантиметров (они и ложились на плечи, и смягчали тяжесть, когда взваливаешь мешок на спину), с одной стороны они связывались верёвкой между собой, а за два других конца привязывались углы мешка, с опущенной в них шишкой, чтобы верёвка не сползала. А срединный конец петлёй перехлёстывался на горловине мешка.

На следующий день до обеда дело шло споро. Но в какой-то момент Михаил оставил, то есть положил где-то во время передыха лямки, и потерял место. Мы с ним облазили, исползали вдоль и поперёк предполагаемый участок, вырывали багульник, ворочали колдобины, но злополучных лямок не нашли.

Федя был примерно семидесятилетним мужиком широкой кости, чуть выше среднего роста, крупные черты лица выдавали характер непростой, но не злобный. За немногословностью чувствовалась твёрдая основательность. Угрюмый, он не производил тягостного впечатления. Ответ от костра огрублял черты и придавал лицу молчаливую свирепость.

Миша не знал, как сказать о потере, он заметил, что Федя Железный набрал почти полный горбик брусники (на глаз он вмещал ведра четыре), и осмелел.

— Ну, как ягода? — спросил.

— Да ничего. Вся в горбике.

Миша сдвинул крышку и присвистнул:

— Ого! Ты где брал-то?

— Да там уже нет, — скупое отрезал Федя.

Наступила нехорошая пауза.

— Знаешь, Федя, тут вот мы, знаешь, я, ну в общем, мы лямки твои потеряли, — Миша решил разделить ответственность на двоих.

Федя неожиданно спокойно повёл глазами в сторону Миши, сунул в костёр веточку, поднёс засветившийся конец к погасшей сигарете.

— А как я домой-то пойду? — Он кивнул в сторону двух кулей ореха и горбовика с ягодой. — У меня две ноши, челноком идти надо, а без лямок я куда? Иди, ищи. К утру лямки чтоб были.

Было странно, что он не повысил голос, не выматерился, спокойно докурил сигарету, щелчком отправил её в сторону костра и полез в зимовьё.

День был солнечный и сухой, какие бывают в начале сентября в Прибайкалье, и мы поползли по склону искать злополучные лямки.

Солнце уже закатывалось, но свет и тепло ещё держались на склоне, медленно сползая в низину.

Искать было бессмысленно, настроения не было никакого, и ещё предстояло объяснение с Федей железным, каким оно будет.

— Федя, делай что хочешь, хоть убей, но лямки мы не нашли.

Федя посмотрел на Мишу без удивления, как будто иного результата не могло быть.

— Ну, ладно. У меня ещё одни есть.

Мужики, сидящие вокруг костра и наблюдавшие развитие сюжета, захохотали, но комментировать ситуацию побоялись.

Утром мы смотрели, как Федя поверх горбовика положил мешок с орехом, надёжно привязал его. Ко второму большому крапивному кулю привязал лямки, попробовал их на прочность, опустился на колени спиной к ноше, накинуд лямки на плечи, потом вытянул из-под себя в стороны ноги, медленно поднялся и, ни слова не говоря, двинулся по склону. Через какое-то время он вернулся пустой, взвалил на плечи горбовик. Так он и будет идти челноком, попеременно перетаскивая то одну ношу, то другую до Тункинского тракта, будет останавливать машину, чтобы добраться до Слюдянки, а там рассчитается орехами и ягодой с шофёром, а потом понесёт орехи на рынок, чтобы иметь хоть какую-нибудь прибавку к нищенской пенсии.

Но я думаю, что не только заработок, тяжёлый заработок, гонит людей в тайгу, есть в этом промысле другая сторона, романтическая.

В советское время, 70–80-е годы прошлого века, в сезон, в дни отдыха, тайга наполнялась рабочим и служилым людом, ехали на электричках, на организованном на производстве транспорте. Личных машин в те времена было немного, но и они наполняли свое чрево до отказа. Не все и не всегда возвращались с добычей, но движение в таёжные дали не прекращалось.

Чай из самовара

К сыну пришёл Виталька, соседский мальчишка лет семи. Я разжигал-растопливал самовар. Снял трубу, затем крышку, залил из ведра воду, крышку закрыл, бросил в самоварное нутро бересту, затем настрогал лучин, бросил две горсти сосновых шишек, потом всякого мелкого древесного мусора, наконец запалил содержимое. Самовар не разгорался. Я взял сапог, надел его голяшкой на горловину и стал, как насосом, раздувать пламя.

Виталька внимательно следил за моими действиями. Он никогда не пил чай из самовара. К тому времени появились электрочайники, и самовары выбрасывали за ненадобностью. Я собрал их около десятка, не задаваясь целью, а просто подбирал встречающиеся на свалках за посёлком, возле заборов. У горожан на дачах была мода на обычные самовары, хотя в ходу были уже и электрочайники.

Но сам процесс, обряд, так сказать, дымок, выходящий над трубой, посапывающее и посвистывающее нутро самовара рождали какое-то ностальгическое чувство, воспоминание о старине, о чеховских дачниках, о романтических историях...

Виталька смотрел-смотрел, и вдруг спросил:

— А что, вы это всё потом пить будете?

Не зная устройства самовара, он, видимо, думал, что я растопку складывал прямо в воду.

— Будем, конечно, и тебя угостим.

— Нет уж, спасибо, я лучше к бабушке пойду.

Василиса прекрасная

Пошел за водой, а точнее сказать поехал, потому что воду возил на специальной двухколесной тележке, на которую с помощью крюка цеплялась алюминиевая фляга. Встретил жену Бориса Гагарина, Галину, их дом находился рядом с водокачкой, и с давних времен повелось, что кто-то из Гагариных включал насос, обычно эта была баба Аня, мать Бориски — так она его сама звала, и ключ от водокачки всегда хранился у них.

— Как у вас вишня? У нас вся повымерзла, снегу-то не было.

— Да у нас та же история. На горе сухая стоит, а внизу, видимо земля влажнее, перезимовала.

— А вы в пятницу приехали, я смотрю, жена у тебя нарядная, такая трудолюбивая, всё время в огороде.

Я хотел было сказать, что один приехал, но промолчал, и только потом догадался, в чем дело. В это время начинала созреть ирга, ягода, любимая всеми птицами, а особенно сорокопутами, свиристыми и чечевицами (свист этой птицы все знают, особенно он забавляет детей, и в переводе на человеческий язык звучит так: «витю видел», да и в самом названии заключено это звучание). Отбиться от этих обжор было невозможно, и я сделал чучело: сбил крестовину, повесил на неё какую-то цветную хламидину, нацеплял разноцветных полиэтиленовых лент, шуршащих от ветра, а сверху надел старую яркую женскую шляпку. Это пугало соседка и приняла за мою жену: через два забора да разные кусты не мудрено было и меня признать за Василису прекрасную.

Лови Петра с утра

Первая осень в Култуке. Вышел во двор, смотрю на Байкал, на Хамар-Дабан, вправо — влево. Брусницы бы набрать, куда идти? Взял ведро и пошёл прямо за речку — через мосток. Тропа вверх пошла — не меньше часа забирался в гору, взмок. Взошёл на вершину, прошёл по плоскотине метров сто: мать честная, брусника, нетронутая, крупная, спелая, хоть граблями гребь. Встал на колени и махом

наскрёб ведёрко полнёшенько — а ягоды не уменьшилось — обмотал его сверху рубахой, завязал рукава на случай, если ненароком запнёшься об коряжину, и ска- тился на радостях с горы как на лыжах, и к обеду поспел.

Пошёл на Лесную, там один Михаил Трофимов, погреб копает. Ни Байбороди- на, ни Просекина, ни Филиппова.

Утром, пока поднялись, пока чаю попили, Миша пришёл. В гору полезли. Я — с полутораведерным горбовиком, и Миша — тоже прихватил самодельный, поменьше моего.

Настроение в предвкушении благостное, не заметили, как на месте оказались. Смотрим, посреди поляны горбовик ведра на четыре стоит, и мужик култукский доскребаёт последние плодоносные метры «комбайном» (так у нас совок для сбо- ра ягод называют, а ещё «хапушником», от глагола «хапать»). Приди мы пораньше — нам досталось бы. Так что лови осетра с утра. И Петра тоже.

* * *

Брусника — самая уважаемая и серьезная ягода. Все остальные — для лаком- ства, а брусника — для жизни: и при простудах морс незаменим, и в капустку добавить при засолке нелишне. Официальные сроки сбора объявляются в зави- симости от созревания, но всегда день выпадает на субботу, а значит, в субботу чуть свет все работающие култукчане устремлялись в ближайшие ягодные места. Места, конечно, известны большинству, но главное — успеть первым.

Брать белобокую бруснику настоящий ягодник не будет, дождётся, когда она дойдёт, и будет брать её хоть по оборышам (если нормальной не найдёт), но спе- лой, когда она уже бурая, почти чёрная. Тогда в ней и терпкость, и сладость, и всё то, что делает эту ягоду царской.

Случается, бродишь с ружьишком по весне, и где-нибудь на солнцепёке, на проталине, наткнёшься взглядом на нетронутые с осени ни человеком, ни птицей, каким-то чудом удержавшиеся на плодоножках гроздочки переспелых чёрных ягод; осторожно соберёшь на ладонь, отправишь в рот. Нет в мире ягоды более запоминающегося вкуса. Кто не ел спелой брусники, только поморщится при упо- минании: «Кислая», не зная вкуса созревшей и подмороженной ягоды.

* * *

В одну из суббот зашёл к нам Миша Трофимов, мы всем нашим колхозом — я, жена Тамара, шурин Роман, сын Сашка — были в сборе, потому что сговорились накануне сходить за брусникой. Подняли свои горбовики, рюкзаки, ведра и дви- нулись за речку Култушную и вдоль неё: мест не знаем, идём — куда тропа ведёт. Вдруг видим — впереди какие-то женщины с ведрами, значит, местные, — город- ские с горбовиками в такую даль едут.

— Надо за ними идти, они нас в ягодник приведут, — это Миша Трофимов, шепотом.

Стараясь не шуметь, на приличном расстоянии двигаемся за ними. Они сверну- ли в распадок — мы за ними, они стали подниматься в гору — мы за ними. Взобра- лись наверх — брусничник стал попадаться. Выходим на самый верх, а там — как на первомайской демонстрации: голоса, звон ведер, только транспарантов не хва- тает до полноты картины. И дети, и взрослые — словом, опоздали.

Я предложил Мише пройти дальше, спуститься в распадок. Но Миша сказал, что будет брать ягоду здесь. Ползать по оборушам у меня желания не возникло. Мы спустились в низинку и напали на голубицу. Там её уже брали до нас, но, видимо, давно, когда она поспела только на солнцепёке, а в тенистых местах сохранилась нетронутой.

Пособирали вдоль ручья, развели костёр на сухом взлобке, вскипятили чай, перекусили, потом ещё пособирали. Тронулись в обратный путь. На том месте, где мы разошлись с Михаилом, Тамара вспомнила про Михаила:

— Интересно, а где Миша сейчас может быть.

Ходили разговоры, что Миша блудит в лесу, один ходить боится, и поэтому я в шутку ответил:

— Да здесь где-нибудь.

И крикнул во весь голос, просто ради шутки:

— Ми-и-ша-а-а!

— Я здесь, — отозвался Миша из-под куста недалеко от тропы под общий хохот, как будто весь день просидел на одном месте.

Сбор ягод — дело фартовое. Бывает, придёшь в ягодник, кажется, всё кругом выбрано на версту, но возвращаться пустым не хочется. Пойдёшь в одну сторону, другую, ноги изобьёшь, еле волочишься, и вдруг наткнёшься на нетронутую ясную ягоду — два-три часа — и полон кузов. Но бывает, что излазишь вокруг, сколько сил достанет, — и пусто, не уродилась.

* * *

Вспомнился Чанчур. Есть такой последний обитаемый пункт в верховьях Лены, а дальше, до самого истока — одни медведи живут да прочие таёжные обитатели, это уже территория Байкало-Ленского заповедника. Как-то осенью, лет десять назад, был я в тех местах. Старший инспектор заповедника Владимир Петрович Трапезников позвал меня на рыбалку, а заодно и за ягодой, за брусникой. День мы шли на моторе вверх по Лене, переночевали в небольшой зимовейке, стоящей на взлобке возле ручья, а утром, взяв только горбовики и еды на два дня, двинулись в направлении ягодника. Места здесь низменные, болотистые, иногда тропа поднималась чуть вверх по склону, затем снова сходила вниз, чавкала под болотниками в лыжах жижа, осеннее солнце прожигало насквозь энцефалитку, пропитанную на спине потом, к вечеру мы дошли до зимовья. Сбросили поклажу с плеч, стали разводить костёр на воздухе, затопили печь в зимовье, она не топилась с прошлой весны, надо было прогреть сырой и пахнущий плесенью дух, чтобы приятно было спать.

— Я пойду ягоду посмотрю, пока светло, а ты сваргань супец.

Неприхотлив русский человек в тайге, и таёжная еда проста: начистил картошки, порезал на кубики, бросил в котелок, запузырилась вода, можно бросить макароны, лапшу или какую-то крупу, конечно, лук, при достаточной готовности опрокидываешь туда банку или две тушёнки, в зависимости от количества едоков — дёшево и аппетитно.

Вернулся Петрович не скоро.

— Вот надо же, в прошлом году я здесь двести литров набрал, по снегу на снегоходе вывозил, такая была замечательная брусника, а в этом году, видимо, весной морозом побило, совсем нет. Утром на гарь сходим, может там есть.

Но и там ягода была некорыстной, набрали мы литра по три, чтоб не пустыми возвращаться, попили чаю и тронулись в обратный путь.

* * *

Городские жители, покупающие дома в деревнях и посёлках, всегда чужаки, их называют «городские», вкладывая в смысл не только место проживания, но и чужесть. И никогда, каким бы хорошим, добрым, порядочным человек не был, не станет «своим». Дом горожанина все знают, он становится объектом грабежа, причём грабят постоянно, стоит уехать и вернуться через неделю, а неожиданные гости уже отметились. Поначалу уносили что-нибудь из съестного: банку тушёнки, сгущёнки, прихватят транзисторный приёмник, какую-нибудь одежонку, случайно оставленную в спешке, для тайги сгодится. Постепенно приучали к тому, что всё надо прятать.

В девяностые годы была в государственных масштабах внедрена диверсия по сбору металлолома, цветного и чёрного, стали тащить всё, что содержит металл: провода, лопаты, вилы, кувалда, лом, столярный инструмент, железные кровати, печные заслонки, чугунные плиты и дверцы, металлические печи из бани, любой электроинструмент, содержащий медь, не оставляли и алюминиевых ложек. Никакие запоры, металлические двери и железные навесы не помогали. «Против лома нет приёма» — совершенно точно сказано, лом — инструмент универсальный. Не брали только эмалированную посуду; алюминиевые кастрюли, сковородки, чугунные латки и прочее уносилось за милую душу.

Анатолий Байборodin — человек основательный. Навесил на оконные ставни железные запоры, заказал сварную металлическую дверь с гаражным замком. Для верности и надёжности соседских мужиков, приезжая, угощал городской бормотухой, опохмелял бывало особо слабых на глотку. Но и это не спасло. Один из этих прикормленных, припоенных, казалось, уже совсем ручных мужиков, которые, напиваясь, в дружбе до гроба клялись, однажды от нестерпимого желания выпить подломил надёжные запоры, унёс патефон, телевизор, фонарь о шести батареек, напоминающий прожектор, купленные на скудные писательские перестроечные гонорары. Сбагрил за бесценнок, а потом сам же и признался по пьянке. Не со зла говорит это сделал и не корысти ради, какая корысть — опохмелка?.. А что с него возьмёшь? Разве что в рассказе каком-нибудь пропишешь для вящей славы родной литературы. Позже соседи стали вырубать зрелую капусту и выкапывать картошку...

Как я держал оборону

Когда я говорю о воровстве, я имею в виду не култучан вообще, — паршивая овца всё стадо портит, — а только тех, которые покушались, то есть, наведывались с корыстью в мою несчастную избушку, размером четыре на четыре метра жилой площади. Я на это указываю сознательно, для уточнения, потому что по количеству набегов, по их интенсивности и серьезности можно подумать, что я имел особняк минимум в три этажа, обставленных всевозможной мебелью и кухонной и электронной техникой. Конечно, все, что завозилось на дачу — и телевизор, и стиральная машина, и электроплита, и радиоприемник, и электрический

инструмент, и топоры, и лопаты, и тяпки, и грабли, и множество других нужных и полезных вещей, — если не прятались в каком-нибудь укромном тайнике или не оставлялись на зиму у соседей, непременно исчезали навсегда из поля нашего зрения и обретали новых, вероятно, более рачительных хозяев.

Лазили и при советской власти, но очень бережно, даже я бы сказал, стеснительно: выдернут стекло из рамы, поставят его, прислонив к стене, залезут и возмут-то всего ничего, банку сгущенки или тушенки, оставленные до следующего приезда. Вставишь стекло на место, благо и штапик, которым стекло крепится к раме, валяется тут же под окном, да и забудешь. Но когда все-таки надоело возиться со стеклом, взял я металлические дюймовые трубы и перекрестил ими оконный проем, чтобы и подросток не мог проскользнуть. И стали мы смотреть на небо в клеточку, как арестанты какие-нибудь, распивая чай в долгие летние сумерки, но спокойствие дороже. «Теперь нас с окна не возьмешь», — думал я, торжествуя победу.

Но пришлось перефразировать поговорку: если вора не пускаешь в окно, то он лезет в дверь.

Замки я начал менять по нарастающей крепости, по тяжеловесности и прочности, благо пробой прежний хозяин сделал надежный, не каждому лому по плечу. Но возникла брешь и на этом фронте. Когда в очередной раз лихоимцу не удалось сорвать замок, он подломил пробой и выдрал из колоды шкворень, хотя тот был загнут изнутри. Видимо, крепко озлился гость мой ночной и неожиданный на то, что пришлось повозиться с несчастным пробоем. Собрал все, что пригодно еще было для жизни — и брюки и рубахи, и телогрейку, и женино белье, и чайник, и кастрюли, и вилки-ложки, и даже нитки с иголками, — завязал добро в два одеяла углами и удалился. Но было у меня такое ощущение, может, от чужого запаха дешевых духов, застывшего в избушке, когда я вошел в дом, — не один был грабитель, а с дамою своего сердца, и разнообразие прихваченного ассортимента наводило на мысль о радужных перспективах их совместной жизни с моим приданым. Может быть, они жизнь решили заново начать? Дай-то им Бог, как говорится, счастливой и долгой жизни!

Дерни за веревочку, дитя моё

Со временем я убедился, что навесной замок — сторож ненадежный. И придумал сооружение, которое на несколько лет обеспечило неприкосновенность моего жилища, особенно в бесснежную пору, когда не видно никаких следов, и пришелец, глядя на висящий, болтающийся на щеколде незащёлкнутый замок, может насторожиться и подумать, а вдруг кто-то в доме закрылся изнутри.

А устройство было следующего действия: в металлической накладке на торце двери я просверлил отверстие, и когда закрывал дверь, вдвигал в него с наружной стороны сеней скрытый в стене стальной штырь, отверстие в стене маскировал какой-нибудь старой почерневшей плашкой, чтоб не бросалась в глаза. Второй запор был проще первого, а чтобы совсем вас не утомить, напомним, как серый разбойник попал к бабушке: дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется. Вот именно, устройство было таким, как в сказке, и на каждой калитке в русских деревнях: рычаг цеплялся внутри за выступ, а при помощи веревочки приподнимался снаружи через отверстие, на ночь веревочка убиралась внутрь от посторонних

глаз, а утром водворялась на место. Над дверью у меня было замаскировано кольцо, при помощи которого я веревочку и дергал. Она спасала меня в лихие девяностые, но в начале двадцать первого века, выражаясь по современно-уголовному, наступил «беспредел» и на нашей улице, носящей имя великого писателя Льва Толстого. Подросли дети перестройки, более пассионарные, чем предшествовавшие им, и если ранешние набеги можно было назвать грабежом, то теперь начались разбои.

Чем чаще приезжаешь на дачу зимой, тем реже случаются неожиданности. Лет пять назад я не смог ни разу съездить зимой и собрался только в начале марта, когда снег уже сошел, но в Култuke бывали зимы, когда снега вообще не бывало на нашем огороде, его выдувало. И уже подходя к ограде, увидел, что один пролет забора выломан, занавесок на окнах нет, а это значит, кто-то побывал внутри, да и дверь открыта настежь. За многие годы я десятки раз наблюдал подобную картину, посему смотрел на все спокойно. Робингуды не смогли расшифровать мои запоры, потому разобрали потолочное перекрытие над сениями, проникли внутрь, открыли мои секретные запоры, унесли всё, что понравилось, а остальное: вещи, одежду, постельное бельё, матрасы, книги, тарелки и прочую мелочь вперемешку с битым стеклом сбросили в подполье. А рукописи, письма, старые газеты с давними публикациями разбросали по двору, огороду, а култукский ветер, не прекращающийся ни зимой, ни летом, и бывающий ураганным, разметал, разнес все это на сотни метров вокруг.

Незванные гости собрали и унесли всё металлическое: бочки, которые мы ставили под стоки, собирая воду для полива, флягу, в которой я возил на тележке воду с водокачки, и саму тележку, и весь инструмент. Печь была разворочена, из нее выломали чугунную плиту, дверцы топки и поддувала. Из бани выволокли сварную печку, она была громоздкой, не проходила в дверь, тогда топором была разрублена дверная коробка. Печь я специально заказывал через знакомых на Шелеховском алюминиевом заводе, с нержавеющей баком для воды. Печь была тяжелой, и на земле остались борозды от волока, печью как тараном пробили в заборе брешь в улицу и снесли во «Вторчермет».

Я не стал вызывать милицию и звонить участковому, потому что уже пытался ранее добиться расследования. После очередного взлома я вызвал оперативную группу, написал заявление, они «обследовали место преступления», со скучным видом составили протокол, даже взяли уходя какие-то вещдоки, но у калитки один из них оглянулся и, не заметив меня, смотревшего им вслед из окна через тюлевую занавеску, швырнул бутылку с отпечатками пальцев распивших ее грабителей через забор, в соседний огород. С тех пор в каждом встречном сомнительного вида култучанине я стал подозревать грабителя. Глупо, конечно, но долго не мог избавиться от этой подозрительности.

Поселившись в Култuke, я построил баню из круглого леса, пристроил веранду к дому, соорудил над ней мансарду, хотелось привести в надлежащий вид и территорию: приносил из тайги кусты жимолости, рябины, посадил облепиху, смородину красную и черную, вишню и сливу, на голом склоне над домом поднялись березы и ивы, тополь-осокорь, саженцы клена и вяза привез из Иркутска, цвели по весне яблони и дикие груши. А после этого разбоя стало ясно: пора уезжать из этого поселка. Воевать бесполезно, этот легион непобедим.

* * *

Спустя почти сто лет после переворота 1917 года можно объективно посмотреть на историю и понять, что произошло, увидеть всю бездну падения человека,

всю очевидность его одичания. После перестройки девяностых годов прошлого века произошло еще и омелчание человека, полное размывание традиционных нравственных основ. Представить масштабы воровства в нашей стране в бесчисленных садоводствах и дачных кооперативах невозможно, такой статистики нет, но можно прийти в ужас от простой мысли, что нет ни одного дома, ни одной квартиры, в которую хотя бы однажды не залезли воры и не унесли какую-нибудь вещь, пусть и копеечную, я думаю, что речь может идти об астрономических суммах ущерба, а те миллиарды или триллионы рублей, которые легли в карманы владельцев «вторчермета» и «цветмета», в прямом смысле вытащены из чужих карманов. Но дело не в суммах, и не в том, что вся наша современная государственная и предпринимательская системы замешаны круто на спекуляции и воровстве, а в том, что воровство перестало быть грехом, а стало неким видом особой доблести и сообразительности. Вот отчего можно прийти в отчаянье. И только правящий слой, отгороженный от простых людей каменными заборами, затемненными стеклами авто, камерами видеонаблюдения и охранниками, остается менее уязвимым. До поры до времени...

Я оставался последним из писателей-могикан, в этом замечательном углу с видом на Байкал, на нависающие за ним хребты Хамар-Дабана, то белеющие своими снежными вершинами, то синеющие, голубеющие, чернеющие, зеленеющие в недолгие летние месяцы. Други мои покидали Култук, объединивший нас пусть не на долгое, но на золотое время нашей зрелости, уходили в разное время и в разные стороны. Однажды утром нашли мертвым нашего «крестного» Михаила Просекина в его култуковском доме, вокруг были разбросаны таблетки, но, видимо, не оказалось в период приступа под рукой той единственной, необходимой, спасительной. Сердце остановилось.

В онкологическом лазарете, в холодном безжизненном коридоре — не нашлось для него места в палате — в страданиях встретил последний час свой на земле поэт Божьей милостью, «всех живущих пожизненный друг» Ростислав Владимирович Филиппов.

Продал свой дом Анатолий Байбородин какому-то прижимистому местному «предпринимателю», но всех денег так и не выходил, и переселился поближе к городу в дачный кооператив, построил там баню, и всё обещает как-нибудь позвать попариться, но предупреждает, прежде придется дров заготовить в ближайшем лесу, такая у него традиция.

Разъехались в разные стороны Михаил Трофимов и Валентина Сидоренко, после того как култуковские «терминаторы» подожгли их избушку, и не успели огнеборцы доехать до Лесной улицы, находящейся в пяти минутах езды от пожарки, — занялась она высоким ясным светом и рассыпались в прах ее жалкие останки.

Мудро говорил Валентин Григорьевич Распутин: «Приезжаешь на дачу, смотришь, стоит домик, не сожгли и то хорошо». Успокоительнее не скажешь. Этим иногда после очередного разбоя утешаешься. Но подожгли дачу и у Распутина в Порту Байкал, не стал он после этого жить в обгоревшем доме.

Сожгли дом Ростислава Филиппова в конце 2012 года. На пепелище чернеют несколько обугленных брёвен оклада да валяются разлетевшиеся от огня куски серого закопченного шифера. Вот и вся память в Култуке о большом русском поэте.

Стал погорельцем и недолго поживший в Култуке Владимир Лапин, живописец своеобразный и звонкий.

Народная песня

*Горит село моё родное,
Горит вся родина моя...*

Есть одна великая народная сибирская песня: «На нас напали злые чехи». Считается, что она из времён Гражданской войны, но мне думается, более древняя, приспособленная под событие конкретное, убери чехов, поставь немцев или кого угодно, мало ли кто еще любил ходить к нам в незваные гости. И тем она велика, что живет независимо от исходного сюжета, не важно, когда написана и кем, важно, что трагедия в песне, выраженная простыми и точными словами, созвучна любому времени. Любима она русским человеком еще и потому, что вся Россия народная была до недавних времен деревянной, деревенской, и архитектура ее была насколько изящной настолько и хрупкой, и беззащитной перед огнём. Я даже смею предположить, что великая песня другой войны: «Враги сожгли родную хату» — родом из нашей, сибирской, Исаковский не мог не слышать её. Когда наши избы жгут враги, есть в этом варварстве пусть слабый, но оправдательный или утешительный момент, а кто сегодняшние поджигатели? Наши соседи, наши соотечественники. Сами себя сжигаем.

Удивительное дело, смотришь какой-нибудь фильм о какой-нибудь европейской стране, показывают пустующие годами, а то и десятилетиями дома. И никому они не нужны, никто в них не проникает, а тем более не разоряет, не уничтожает. А мы другие. Стоит оставить на год — полтора дом без призора, и снимут шифер, окна, двери вынесут, полы разберут, а потом, глядишь, и стены раскатают до фундамента. Так дачу Реутских раскатали по брёвнышку, когда он болел, и родственники не могли наведываться в Култук.

* * *

Несчастные воришки относились к нашему пришествию примерно как к НЛО: прилетел — улетел. А то, что во дворе лежит, вроде как инопланетяне специально оставили, в подарок, можно сегодня подобрать и унести, можно завтра, а то, что вырастает на огороде, тоже никому не принадлежит. Можно средь бела дня, приезжая из Иркутска, кого угодно встретить во дворе, начиная от детей и кончая каким-нибудь забубенным наркоманом.

Сию вечером в избушке, слышу какой-то ослиный крик. Вроде бы ослы в данной местности не водятся, но чем чёрт не шутит, дай, думаю, выйду, посмотрю на заморскую скотину; выхожу и вижу, как тройка дюжих молодцов отдирает от моего забора доски, а гвозди заржавелые, продираясь сквозь древесную ткань, рождают этот ишащий звук. Забегаю в дом, чтобы взять что-нибудь поувесистей для аргументации, ничего подходящего для случая данного нет, во дворе вижу кедровый посох — из тайги притащил, очень уж ручка была закручена причудливо. Хватаю — и в гору, в том направлении, куда парни удалились. А они расположились в ложбинке на горушке, костёрок развели, мои доски ногами мнут — ломают, над костром бидончик трёхлитровый эмалированный висит, какое-то зелье собираются варить. Я, естественно, озлился, ничего не мог придумать, как наставить на них палку, взяв её наизготовку, как ружьё, и закричать:

— Всем стоять! Ни с места...

Но то ли эффект неожиданности сработал, то ли натиск мой был внушитель-

ным и неотразимым, то ли в голосе моём было достаточно решительности, но они, даже не рассмотрев толком, что за вещь у меня в руках, прыснули вниз по склону. Без оглядки один забор перелетели, потом второй, там собака им жару добавила, и только внизу, на дороге остановились. Видимо, посчитали, что дальность полёта пули из моего «ружья» ограничивается этим расстоянием.

— Дурак ты, Вася, — сказала жена, когда я поведал ей эту историю, встретив её с вечерней электричкой, — а если бы они не побежали, что бы ты с тремя бугаями делал? Или они с тобой...

«Да, оно конечно», как говаривал в неопределённых ситуациях Ростислав Филиппов, но обидно до злости и глупости, когда на твоё, хоть и ветхое, имущество посягают. Доски оставшиеся я принёс обратно, прибил на место, поломанные сжег в печи.

А вскоре после этого проволокой по верху восьмёркой оплёл я весь забор. До сих пор стоит. Просто я понял, заборы в Култуке крепкие надо делать, некоторые култучане хилых заборов не терпят, они их раздражают. А еще лучше вовсе заборов не иметь, как у моего соседа Петьки-цыгана.

Это кстати, тоже интересная история, хотя в Култуке что не история, то наобщицу.

* * *

В усадьбе слева в засыпном домишке несколько лет жил цыган Петька с женой Оксаной. Она была бабенкой со странностями и иногда, как теперь говорят, «доставала» Петьку. Он спасался от нее на чердаке, слуховой проём смотрел в нашу сторону, и я видел, как Петька, согбенно устроившись под крышей, обозревал пространство в ожидании спектакля. А сцена была одна и та же, Оксана начинала звать его:

— Петя, Петя, вернись, ну почему ты не идешь, я тебя люблю, зачем ты меня бросил...

Она обходила избушку вокруг, смотрела на гору и звала еще громче, предполагая, что он убежал в лес, затем начинала подниматься по склону, но склон был крутой, высоко она забраться не могла и вскоре сползала вниз. Петька сидел под крышей на виду, улыбаясь в предвкушении финала. Оксана замечала его, ругалась незлобиво, бросала в него камнем или каким-нибудь подвернувшимся под руку мусором и они, обнявшись, уходили в дом.

Весной Петька начинал городить огород, прибавлял к столбам осиновые прожилыны, добытые на горе и стянутые вниз на веревке. Тонким горбылем загораживал не плотно, лишь бы не могла пройти корова. Вспахивал две-три грядки под мелочь и вспахивал четверть огорода наемным плугом под картошку. Погода в Култуке чаще засушливая, растительность бывала чахлой и иногда засыхала раньше, чем подходило время урожая. Но главное было не это. За зиму он сжигал новоприобретенный забор, просохший за лето, используя «макаронник» на растопку печи, отрывая по нужде необходимое количество реек, а уголь таскал ночами от кочегарки «Автонештранса». И не он один пользовался щедростью советской бесхозности, о чем можно было судить по широким черным полосам угольной пыли, остающейся от протянутых волоком мешков с ворованным углем, никто на это не обращал внимания. Правда, надо сказать все же к чести сторожей, что иногда проломы в заборах забивались, но через некоторое время появлялись вновь в

том же самом месте или рядом: печки надо было топить даже тогда, когда топить было нечем, а возле кочегарки уголь не выводился.

* * *

Зима на Байкале долгая, но и зима закончилась. Накануне Дня Победы ночью был ураганный ветер, стучали ставни, гремели жестью водосточные желоба, а утром я открыл дверь — в глаза ударило слепящее солнце, и Байкал, еще вчера лежавший под серой коркой рыхлого льда, сиял своей пронзительной синевой.

Для всех начиналась пора огородных работ — и для моего соседа Петра. С топором в руке и веревкой на плече он поднимался в гору, чтобы там выбрать прогонистые осиновые прожилы, спустить вниз и начать снова восстанавливать порушенный за зиму заплот. И так длилось несколько лет, пока однажды двое смурного и молчаливого вида мужиков не выкопали, как только оттаяла земля, петькины столбы, говорили, что за некоторое денежное вознаграждение, и не перенесли их в другое место. Для них, возможно, тоже начинался ожиданиями и надеждой огородный сезон. Для Петьки он уже не повторится никогда. Зимой нелепо оборвалась жизнь Оксаны, оставившей ему красивую дочь и незалечиваемую душевную рану. Он перешел жить к отцу с матерью, а избушка стоит, разрушаясь и ветшая, напоминая мне о прежних ее обитателях.

По фамилии Кобрин

До Петьки в этом домике жил человек по прозвищу Кобра, у него фамилия была редкая — Кобрин, произошедшая, вероятно, в давние времена от прозвища непростого по нраву предка и ныне естественно припечатавшегося к нему. Он отсидел приличный срок за убийство, как свидетельствовала молва. Мужик был сухой, подвижный как шарнир, передвигался на полусогнутых ногах, готовый, казалось, в любую минуту услужить. И знакомство мое с ним было занимательным.

Я приехал в Култук в начале мая, чтобы «поймать» трактор для вспашки огорода. Это событие в те годы было непростым. Я начал подниматься от тракта к калитке, когда мне наперерез от соседнего дома резко двинулся человек, было ощущение, что он меня ждал с вечера и так был рад мне, что забыл поздороваться и сходу спросил:

— Тебе картошка нужна для посадки, мешок, давай двадцать рублей. Щас принесу.

Картошка была нужна, тем более от соседа, да еще сам обещает принести. Я отсчитал деньги. И не придал значения, что он пошел не к себе в ограду, а стал спускаться вниз, туда, где находился магазин. Да может быть у него картошка в другом месте, да мало ли что... Главной моей заботой была вспашка, я соображал, где бы поймать трактор.

Пахал обычно трактор «Автовнештранса» по предварительной записи вначале своим работникам, потом остальным, еще один трактор приходил с Быстрой. Иногда какой-нибудь залетный житель из Тункинской долины присоединялся для помощи нуждающимся, но с ними связываться было опасно для огорода, в чем я убедился однажды, тщетно пытаясь поймать местный трактор, а сроки посадки уже выходили. Улыбающийся и довольный от изрядно выпитого, тункинский жи-

тель не въехал, а влетел на мое поле, и пока я доставал из укромного места припрятанную на этот случай бутылку «андроповки», выкупленную на талоны, а другой валюты пахари не признавали ввиду дефицита, он успел поднять глину с почти метровой глубины, похоронив навеки плодоносный слой. В финале он выпал из трактора и уснул бы в прохладной глубокой борозде, которую сам и сочинил, если бы мы не водрузили его в кабину. Товарищ его сам сел за штурвал боевой машины и попылился дальше продолжать битву за урожай поселковых жителей.

Утром я вспомнил про Кобрин. Он не появлялся. На следующий день мелькнул за забором, и я пошел к нему и едва успел, он уже хотел юркнуть из калитки.

— Слушай, мне сейчас некогда, тороплюсь, вечером нагребу, жена уйдет на дежурство, я тебя крикну.

Тут-то и стало ясно, что реализация картофеля происходила без согласования с начальством. Но крикнул он меня только утром, а если быть точным, не крикнул, а высунулся из-за забора, а когда я посмотрел в его сторону, махнул рукой, мол, иди сюда. Он и потом всегда таким манером меня звал.

— Айда, я нагребу, а ты из подполья поможешь ведра поднять.

Тащить мешок мне пришлось самому.

Как Кобрин на бабе пахал

Как-то высунулся из-за забора, машет рукой. «Чего надо?» — кричу. Вместо ответа, головой и глазами показывает в сторону огорода. Надо идти, сосед все же. Да и старше меня. А он своей мелкой трусцой уже гарцует в дальний угол.

— Смотри, я какую технику соорудил.

На меже лежал агрегат с основой из велосипедной рамы. Там, где крепится обычно заднее колесо, был приварен развал наподобие двойного плуга, в верхней части рамы прикреплена переключина, от неё шли ремни из транспортной ленты, руль оставался на месте, но теперь он оказывался сзади, и как я увидел далее, им управлялся весь этот механизм.

— Впрягайся? — это он своей сожительнице Ольге, стоявшей рядом и как-то виновато, как мне показалось, смотревшей на меня.

Она взялась за лямки, накинула их на плечи, Кобрин поставил агрегат между картофельными рядами:

— Пошла!

Я не ожидал от хрупкой и в общем-то немолодой уже женщины такой силы, она двигалась вперед, тащила вверх по склону эту чудную железяку, а Кобрин шел следом, направляя велосипедным рулем плуг по центру, земля разваливалась на две стороны, загребая кусты, как это обычно делается тяпкой, а тут...

— Механизация ручного труда, — Кобрин довольно осклабился. — Можешь и себе такую сделать.

— Сделать-то несложно, да вот, где я женщину такую возьму, городские против ваших не потянут.

— Может, теперь ты попробуешь?

— Да, знаешь, как-то неудобно на чужой жене-то пахать.

На том, как сейчас говорят, презентация закончилась.

Я подумал, что он решил только мне продемонстрировать, когда велел бабе впрягаться, все же работа тяжелая, сам, думаю, встанет в тягло, но ошибся. До

самого вечера, пока не окучили весь огород, Кобрин ходил за женой, понукая и подтрунивая.

Рокер хренов

В какой-то из годов — забыл, когда это было, да и смысла вспоминать нет: важен сам случай, а не время происшествия — Кобрин, как говорили в Култуке, «заделался рокером», стал крутить на добытом где-то проигрывателе «Аккорд» грампластинки и рентгеновские пленки. Конечно же, в этом ничего криминального нет, крути хоть ночами напролет, у себя в избе. Но наш рокер выставлял выносную колонку на навес над крыльцом и направлял в сторону моего огорода, с утра до вечера он ставил периодически одни и те же пластинки, и однажды мое терпение лопнуло. Я перелез через забор, снял громкоговоритель с гвоздя, зашел к нему в избушку, положил на стол:

— Слушай, рокер хренов, мне надоело слушать с утра до вечера эту дребедень, если тебе нравится, слушай у себя дома, — и направился на выход, краем глаза все-таки отслеживая ситуацию.

Перед забором я оглянулся, Кобрин с топором в руке выскочил из двери:

— Ах ты, сука, я тебе сейчас голову отрублю...

— Охлонись, Кобрин, — птицей перелетев забор, увещевал я его. — Дурак что ли?

Матерясь, он ушел к себе в избушку. В этот раз он оказался вменяемым. Больше его музыки я не слышал и тихо торжествовал по поводу бескровной победы. Но напрасно. И недолго.

Почти межевая война

Вдоль забора, разделявшего нас с Кобриным, я посадил кусты какой-то знаменитой смородины, все дачники её ценили особо. Приезжаю в очередной раз в Култук, захожу на участок, смотрю в сторону кобринского огорода и ничего не могу понять: забор стал наполовину ниже и придвинулся, а точнее сказать вдвинулся, вторгся клином на мою территорию метров на пять, а кусты смородины, вырванные с корнем из посадочных мест, валяются поникшие листвою. Кобрин с Ольгой сажает картошку. Дело в том, что в избушке кобринской периодически жил Володька, Ольгин сын, а когда он отсутствовал, то там обитался Кобрин, а в основном он жил в доме Ольги. На её огороде они картошку и сажали. Я взял план своего участка и пошел разбираться.

— Ну что же ты, наглец, утворил-то, тебе что, своего поля мало, ты на мое залез.

— Какое твое? Какое твое? — он не находил, что ответить, — это бабка, которая до тебя жила, оттяпала мой участок, а я только выправил забор, да и все.

— Чего ты выправил? Неси план участка. Смотри сюда, — я раскрыл домовую книгу, — видишь, участок мой — прямоугольник правильный, а ты из него параллелепипед образовал. Иди за планом...

— Да пошел ты сам, куда знаешь... Ты в гору забор на пять метров перенес, я тебе ничего не говорил, и никому не говорил, и кому надо не говорил, а могу и сказать...

Но это начинался шантаж. Я действительно убрал зигзагообразный, клонящийся в разные стороны забор, и сдвинул вверх. Но там хоть до Иркутска пригораживай, хозяев нет — одна тайга, и мои соседи справа отгородили от горы себе приличные утugi, и никому до этого дела нет. А вот Кобрин не смог вынести моего самоуправства, хотя я его никак не ущемлял. Соседи, они понятно, свои, култукские, свои, поселковые, а я чужак городской.

Поорали мы, поорали друг на друга, довольные своей правотой, и я пошел к себе, а Кобрин остался досаживать огород.

Недолго пожил в избушке сын Ольги, Володька. Ушел однажды в тайгу и пропал бесследно. Уехал в Иркутск в конце лихих девяностых Кобрин, и по слухам, зарезали его старинные рабочедомские друgаны в худом бараке на окраине Иркутска, где жили такие же бедовые и бесприютные обитатели трущоб. Съехал Петька после смерти своей жены с малолетней Галиной, дочкой своей, а засыпная избушка все еще стоит, с заколоченными дверью и окнами, привлекая наркоманов да детей, любящих собираться на всякого рода развалинах, находя в них таинственное пристанище своим играм.

А новый забор, который я недавно воздвиг вместо прежнего, пришедшего в окончательную поруху, я провел по той самой черте, которую когда-то определил своей нахальной рукой веселый култуковский житель Кобрин, хотя никто мне не мешал восстановить утраченное.

О вспашке

Один мужик в Култуке пахал на конной тяге, но это был «аристократ» с заведомо сложившейся клиентурой, и подступиться к нему у меня не было возможности.

Здесь должен заметить, в весеннюю страду не было в поселке фигуры более значимой, чем тракторист, приладивший к своему трактору плуг. Даже буйные и драчливые мужики, без матерного слова не представляющие русской речи, приближаясь к трактористу, делались ниже ростом, и почти шепотом, с заискивающей интонацией начинали разговор. Обычно за трактором, тархтевшим по улице, составлялся эскорт из автомобилей, мотоциклов, велосипедов, пеших граждан, количеством не только не уступающий президентскому, но часто превосходящий. Да и сам тракторист, возвышенный окружением, приосанивался, обретал начальственный голос и презрительный взгляд, и не всякий просящий уdoстаивался его ответа, на иного он мог только посмотреть, смерить взглядом, выдержать паузу и отвернуться, выказывая крайнюю степень своего могущества.

Наезжал в Култук тракторист из Быстрой, небольшого росточка и объема, рыжебородый Петруха. Пахал он хорошо, молва точнее всего определяет уровень мастерства, но был за ним некоторый широко распространенный в народе грех... В очередной день он не выехал на пахотные работы к всеобщему недоумению, а появился вскоре в сопровождении жены, восседавшей рядом. Теперь народ общался только с ней, она устанавливала очередь, решала, на чей огород заезжать, в какой валюте вести расчеты, в стеклянной или деревянной, то есть в рублях, а Петруха тихо курил в стороне, как будто не имел к этому никакого отношения, вспоминая свое бывшее величие и непреклонность.

Сейчас можно вызвать тракториста по телефону, объявления расклеены на людных местах у магазинов, на остановках, но я вспоминаю прежнее время тепло

и радостно. И кто знает, может быть именно сейчас Петруха в хорошей компании быстринских мужиков вспоминает в очередной раз, как култукские жители на руках его готовы были носить. И ведь не врёт... И пронесли бы, если бы попросил, но, естественно, за внеочередную вспашку.

Классик и брусника

Однажды к Просекину приехал Геннадий Машкин, автор знаменитой повести «Синее море, белый пароход». Повесть о дружбе русских и японских детей на Сахалине была переведена на японский и другие языки, поставлен фильм. Она была включена в школьную программу для внеклассного чтения. За Геннадием Николаевичем прочно закрепилось прозвище «классик».

Приехал с портфелем. Михаил удивился: зачем портфель? Они собирались идти за брусникой, и лучшей ёмкостью для её переноски является, конечно, горбовик, его носили за спиной, т.е. «на горбе», как рюкзак. Брали с собой для удобства обязательно и котелок, в который вначале собирали бруснику, а потом ссыпали в горбовик; в недалёкие места ходили с ведром, но нести ведро по тайге, по кочкарнику и колдобинам неудобно, можно рассыпать ягоду, что нередко и случалось.

Но ни ведра, ни рюкзака у Геннадия Николаевича не было. Он так и пошёл за брусникой с портфелем. Он был геологом, провёл в тайге не один сезон, исходил по тайгам не одну сотню километров, а вот, как сугубо городской житель, интеллигент, таких деталей промысловой жизни не знал.

И ещё Миша рассказывал, что Геннадий Николаевич брал с собой катушечные нитки и разматывал их, развешивая на кусты, чтобы не заблудиться на обратном пути, но это, я думаю, байка, для усиления истории с портфелем. Писатели любят придумывать друг о друге весёлые истории, не зря их со времён Пушкина называли сочинителями.

Да и портфеля-то, может быть, никакого и не было.

* * *

С Михаилом в его избе пьём чай со смородиновым листом. Накануне у него проездом останавливался Валентин Распутин с Альбертом Гурулевым, возвращались из Тункинской долины. Ездили туда за ягодой. Утром Михаил обнаружил пластмассовый футляр для куриных яиц, в то время у нас в магазинах такой упаковки не водилось, а Валентин привез откуда-то из-за границы. Когда сидели накануне за столом, Миша повертел в руках заморскую штуковину, очень, говорит, удобная вещь в тайгу брать яйца, не разобьются, не раздавятся. Особенно если всмятку.

Миша подумал, что Валентин утром за сборами забыл футляр, а потом понял, что он ему оставил, но не хотел об этом говорить, как умеют некоторые, нахваливая какую-нибудь безделушку, придать весу ничего не стоящему предмету, выкаывая этим излишнюю щедрость свою. Ну что скажешь, умеют они это. Валентин Григорьевич держался других правил.

По лицу было заметно, Миша гордился, когда рассказывал мне об этом.

Медная лихорадка

У тулунского писателя Николая Капитоновича Зарубина есть сын Миша. Когда началась «медная лихорадка», он поискал в доме, что можно снести в приемный пункт, но ничего кроме медного жала отцовского паяльника не нашел. Он взял ножовку по металлу и отпилил стержень по самый нагревательный элемент. Отец собрался что-то паять и обнаружил ущерб.

- Ты зачем паяльник испортил?
- Ну как зачем? Все же сдают, и я хотел хоть что-нибудь получить!
- Ну и сколько тебе за него дали?
- Целый рубль!
- И что ты на него купил?
- А на рубль сегодня ничего не купишь.
- А где тот рубль-то?
- А я его потерял.

И козе понятно

Однажды прихожу к бабушке моей жены Марии Степановне. На подоконнике над столом вижу двое часов, одни старые механические заводные, другие современные на батарейке, часы исправны, идут, но показывают время с разницей в один час.

Стараюсь сообразить, к чему такая сложность. Прикидываю: на один час у нас разница с Читой и Красноярском, но при чём здесь эти города, Пекин тоже не при чем. Не нахожу ответа. Ничего путного в голову не приходит.

— Мария Степановна, а почему у вас часы разное время показывают, и зачем вам два будильника?

— А, — улыбается и машет на меня рукой, как отмахивается от мухи, — наш главный в стране начальник шибко умный, время передвинул с летнего на зимнее, говорит, что полезно для всей страны, мне, правда, вставать тяжелей стало утрами, да ладно. Вот только козе Маньке объяснить ничего не могу, она, как жила по своему природному времени, так и живет. А я чтоб не запутываться, на голову-то слаба стала, и купила для нее часы. Вон те зеленые. И завожу на утро, чтоб не проспать, когда её кормить нужно. Вовремя не покормишь, молока меньше даст. А как по всей-то стране коровы и козы привыкают, сколько молока теряют. О людях-то не говорю, кто у нас о них думает. У нас в стране теперь, что ни правитель, то — вредитель. И то, что козе понятно, президенту — нет. Давай я тебе лучше чаю с молочком налью...

Премьер-министр Медведев отменил решение правительства о переходе на зимнее время.

Спаниель Том

С детства у нас в доме жили собаки. На Оловоруднике у нас был деревянный дом при огороде, обязательно была какая-нибудь собака на цепи, как и у всех. Одно время обзавелись восточно-европейской овчаркой. Когда после армейской

службы я поселился под Иркутском, на выселках, во дворе постоянно жили и беспородные дворняжки, долго жила сука Тайга, помесь овчарки и лайки, которую я безуспешно пытался приспособить к охоте. Несколько лет жил ирландский сеттер.

Когда поселились в Култуке, у нас был спаниель, прозванный ТОМом, что расшифровывалось как «Творческое объединение молодых». Жена Тамара шутила:

— Мужу хорошо, у него есть Том и Томка, крикнет: «Том, Том!..», кто-нибудь да откликнется.

Он достался нам случайно от моей сестры. Я взял щенка, чтобы поддержать у себя, пока лежала в больнице, но мы привыкли к нему, и он остался у нас. Несколько дней сын Сашка светился от радостных чувств, носил его на руках, выводил на прогулку, но скоро, избыв всю нежность к животине, охладел. А я привык к нему, как привыкал ко всякой собаке, жившей рядом, как и они привыкали ко мне. С Томом я исходил не одну сотню километров по тайге, бывал и в верховьях Лены, сплавлялся с ним по опасным порогам Иркутта. Спаниели — интеллектуальные псы, и Том улавливал малейшее моё движение и выполнял команды, показываемые жестами. Иногда возникало ощущение, что он действует не только инстинктивно, но и разумно, всё понимает, вот только говорить не умеет.

Приехали вечерней электричкой в Култук. Дошли до нашего домика, поужинали. Стали укладываться спать. Рядом с моей лежанкой стоял сундук, на нём лежал матрасик, на котором и было собачье место. Обычно, он понимал, что мы начинаем готовиться ко сну, запрыгивал на сундук и засыпал раньше нас.

А тут с разбега распахнул лапами дверь в сени, воеет, просится наружу. Ну, думаю, раз нужда, иди. А он сразу же возвращается, скребёт дверь лапой. Впускаю, он на меня смотрит, обрубком хвоста крутит и подвывает.

— Ты что? — спрашиваю.

Он пулей на выход. Бежит к воротам, оглядывается, иду ли за ним. Подхожу и вижу, что забыл закрыть. Щёлкает щеколда, пес поворачивается и бежит к дому. Укладывается на подстилку и затихает.

Мы с женой переглянулись с недоумением:

— Хозяин.

Вспоминая этот случай, понимаешь, как плохо мы знаем наших домашних питомцев, которые подчас оказываются более памятьливыми и наблюдательными, чем мы.

И ещё случай с Томом... В городской квартире утром пьём чай. Сын, чья обязанность выводить собаку утром, не обращает внимания на поскуливающего и бегающего от двери в кухню и обратно Тома.

— Саша, выведи собаку, — просит Тамара.

— Сейчас, чай допью.

Я посмотрел на несчастную псину и, не знаю зачем, спросил:

— Том, ну чего тебе надо?

И наш спаниель, к нашему изумлению, поднимает правую заднюю ногу на стену и на трёх оставшихся пропрыгивает вдоль стены от кухни до коридора, поворачивает голову и умоляюще смотрит на нас. Пусть теперь учёные всего мира доказывают мне, что у собаки нет разума.

Вспоминаю ещё одну интеллектуальную собаку.

Я работал сторожем-дворником на острове Юность. Дежурил, как было принято, сутки через трое. При сторожке прижилась собачонка, под крыльцом облюбовала себе жилище. Звонким голосом оповещала сторожей о посторонних, а зимой жила в избушке, какая-никакая, а всё же живая душа.

Однажды весной, когда снег уже растаял и разошёлся лёд в заливе, я спустился с обрыва к воде и ловил сорожек, коротая время.

За спиной залаяла Тучка. Я посмотрел вверх и увидел над обрывом её голову, которая тут же исчезла. Рыбачу дальше. Снова лай. Оглядываюсь. Она видит, что я посмотрел в её сторону, её голова снова исчезает. И тут я понял, что она меня зовёт. Или догадался, или она мне на телепатическом уровне послала мысль, но я положил удилище, поднялся вверх от воды и последовал за ней. Она весело бежала впереди, иногда оглядываясь: иду ли я следом. И уже на подходе увидел, что на скамейке сидит мой приятель и дожидается меня. А Тучка, как ни в чём не бывало, разлеглась на солнцепёке греться.

— Ты её, что ли попросил меня позвать? — не зная, что и думать, спросил я.

— Да я вообще с ней не разговаривал, — недоумевая и видимо предполагая подвох, сказал приятель, — она тут лежала, когда я пришёл, потом куда-то исчезла, смотрю, бежит впереди тебя.

— Выходит, она меня позвала, я же не знал, что ты придёшь.

— Вот и думай теперь про собак что хочешь, — как-то неуверенно сказал приятель.

* * *

А ещё наш Том любил кататься на велосипеде.

Я замечал, что все собаки неравнодушны к автомобилям. Как только начинаются сборы перед поездкой, складываются вещи, рассаживаются пассажиры, они нетерпеливо мечутся, прыгают в салон и т.д. Если кто-то к нам на дачу приезжал на автомобиле, и мы собирались за ягодой или за грибами или просто на Байкал, он непременно запрыгивал мне на колени и нетерпеливо и внимательно вглядывался в ветровое стекло и на происходящее за ним. То же самое с ним происходило, когда я отправлялся куда-нибудь на велосипеде. Я сделал специальную седелку из дерева, закрепил её на раме перед рулём, ставил пса на неё задними ногами, передние он клал на руль и так мог продержаться не один километр, гордо восседая впереди меня, потешая встречающих водителей авто и мотоциклистов.

Он дожил до глубокой собачьей старости, оглох и почти ослеп, но однажды осенью увязался за собачьей свадьбой и не вернулся. Я объездил на велосипеде все култукские улицы, но его так и не нашёл.

Елена Лукична

В единственном доме, соседствовавшем с нами, жила Елена Лукична Андриевская. Родилась она в деревне Болото Качугского района, недалеко от села Бирюлька. А так как у меня в Бирюльке жил когда-то брат мой Георгий, а жена его работала страховым агентом и объезжала окрестные деревни, знала местных жителей, то Елена Лукична просила меня иногда узнать через Валентину о том или другом земляке или родственнике, я, бывая там, иногда привозил ей письменную весточку. На этом мы и сошлись ближе, чем с другими соседями. Пока я не срубил себе баню, мы ходили мыться к ней, на зиму оставляли у нее какие-то вещи на сохранение, жена, когда я вынужден был отлучаться в город, ночевала у неё, так как боялась оставаться в нашей окраинной избушке одна.

Характера Елена Лукична была строгого, матерное словцо могло сорваться с губ естественно и знакомо к месту и вообще, но с ней всегда можно было договориться по любому соседскому недоразумению. У нее постоянно болели ноги, она привязывала к коленям различные мази, листья лопуха, и Бог весть что еще, чтобы ослабить боль, не дававшую покоя ни днем ни ночью. В деревне, рано оставшись без отца, она с пяти лет зимой ходила со старшим братом ставить петли на зайцев, в худой одежонке, в ношенных до нее не одним поколением чирках. И не с тех ли самых пор вкрался ревматизм в суставы, до конца жизни не дававший ей покоя. И сколько помню её, всегда локти и колени в непогоду были обмотаны шерстяным тряпьем.

Она была из поколения наших родителей, появившихся на свет в революционное лихо, и вся тяжесть непосильного бремени до срока пригнула их к земле. Жили впроголодь, и было их спасение в той картошке, которую с детских лет надо было сажать и полоть и огребать, и копать, и таскать неподъемные ведра — только в ней, в картошке была жизнь всего народа. Убери картошку, и останется из еды одна земля, черная, грязная, сырая, но нет от нее насыщения. А всё, что из нее: всякий сорный корень, дикий лук, саранка или кустик с ягодой, медвежья дудка да крапива-лебедь смягчали голод, давали выжившим возможность зацепиться за жизнь, за этот хрупкий стебелек посреди холода и отчуждения. Короче заячьего хвоста сибирское лето. Не успеешь отогреться после вечной зимы, и снова скывывает землю, и снова кажется, что нет и не будет тепла, и свыкаешься с этим состоянием неуют и стылости.

* * *

Елена Лукична держала кур, которых вырастила из купленных в городе цыплят. И был в этом выводке один молодой отчаянный кочеток, который почти всякий день попадал в неприятности: то к собачьей конуре подойдет на непочтительно близкое расстояние так, что Трезору ничего не остается как цапнуть наглеца, чтоб не повадно было в дальнейшем.

Но и на хромой лапке он умудрялся найти брешь в заборе и, забравшись в соседский огород, разгрести только что засаженные грядки.

— Зашибу, негодник, ирод проклятый, — шумела Елена Лукична после жалоб соседки бабы Ани, хватала свой посошок и гнала несчастного в сарай, из которого он через несколько мгновений устремлялся к новым похождениям. Невезучий какой-то, действительно, был петушок. И люди бывают такие же невезучие. Есть у меня один хороший знакомый, Саша К. Бывало зимой поедет на охоту с командой гонять коз. Казалось бы зима, мороз, вся земля на два метра промерзла, но ведь обязательно найдет какую-нибудь болотинку и обязательно провалится в стылую воду, а когда начнет сушить свою одежду у костра, переодевшись в подвернувшуюся чуженину, найденную в будке, то непременно сожжет брюки или куртку, а иногда и то и другое.

По лету окучиваю картошку, и слышу за спиной Елену Лукичну:

— Ты что это надумал, ирод проклятый?!

Оборачиваюсь. Над ее огородом огромный коршун с размахом крыльев метра полтора, спокойно планируя в сторону Петькиного огорода, несет в когтях несчастного кочета. Тот, бедный, свесил головушку набок и вытянул ноги свои, которые показались мне продолжением ястребиных. Это ж надо, средь бела дня на наших глазах нагло уносит хищная птица домашнюю живность, а в доме и за-

валящего дробовика нет. Но был лук, который я сделал для детишек, он оказался упругим, иногда и приехавшие взрослые устраивали турнир в стрельбе по мишеням. Я проследил, куда сел коршун, завел стрелу на тетиву и стал скрадывать его. Вижу, стервятник вдавил цепкими когтями петушка в траву и долбил его в затылок, выщипывая перья, добираясь до черепушки. Я натянул лук, прицелился и пустил стрелу. Но лучник я был неважный, и стрела прошла под петушком, благо не задела его, но на вылете, видимо, шоркнула оперением и коршуна. Тот ослабил хватку, кочеток вырвался, жалобно вереща, кинулся в мою сторону. Коршун попытался схватить его, но, увидев меня, взмыл в сторону и неторопливо стал удаляться. В это время подошла Елена Лукична, взяла бедолагу на руки:

— Ну что, допрыгался, голенастый? — не было во взгляде и голосе ее ни злости, ни осуждения, а только жаль одна. — Спасибо тебе, Василий, а то слопал бы ирод проклятый нашего петушка.

Через неделю или две затих его задиристый крик, а что с ним случилось, я по давности дней запомнил.

* * *

Приходит как-то утром ко мне в избушку Елена Лукична и вопрошает прямо с порога, — видимо, вопрос назрел:

— Слушай, Василий, что это может быть, лист на смородине скур...лся и в ём полно бухар?

Сказано было заковыристо, но живописно, и я сразу представил себе знакомую картину:

— Да это тля, Елена Лукична, — блеснул своими садовничьими познаниями, — муравьи её разводят на ветках, а потом доят, как коров, чем и бывают сыты. Вы разведите хозяйственное мыло и пеной обработайте кусты — и оживёт ваша смородина.

* * *

На берегу речушки Тигунчихи, что течет поперек Култука вдоль забора «Автотранса», чуть ниже моста лежали два металлических уголка, метров по шесть длины. Было это еще до железной лихорадки, когда валялось на наших просторах бесчисленное множество: брошенные трактора и комбайны, всякие сельскохозяйственные машины и приспособления, различная арматура и просто изделия из металла, можно было по нужности в хозяйстве выбрать любую железяку и приспособить для пользы домашнего хозяйства: все вокруг колхозное, всё вокруг моё.

Городил я новый забор, и когда дошел до калитки, вспомнил про бесхозный уголок, а так как уже примеривался к нему и даже пробовал на вес, то знал, что целиком его не унести, а посему взял ножовку по металлу и позвал шурина своего пособить. Хотелось сделать надежную калитку, чтобы стояла она долго, чтобы вспоминали и внуки и правнуки, гордились, какой дед был основательный человек по части калиток.

Пилим попеременно с шуриком никому не нужный уголок, а металл оказался твердым, шик-шик, шик-шик. Торопиться некуда, отдохнем и снова: шик-шик. Вдруг рыжий мужичок в армейском бушлате по мосточку перешел с того берега по перекинутой плахе и к нам:

— Вы чего тут мой уголок пилите?

Настроение и без того было хорошее, а тут вовсе смех разобрал. Хохочем с шурином, остановиться не можем, а мужик понять ничего не может, молчит, ждет ответа. А смеялись мы потому, что только что говорили, какая страна наша богатая, лет пять уже лежат уголки на виду, и никому дела до них нет, потому что таких уголков по стране валяется столько, что можно десяток Эйфелевых башен построить. И вот только мы за них взялись, оказалось, что и ещё кому-то они нужны тоже.

— А с чего ты решил, что уголки твои, это во-первых, а во-вторых, на них что, написано, что они твои? — это я начинаю, вроде бы шутя, для оправдания, а с другой стороны обидно, почти допилили.

Еще бы немного, взяли бы на плечи по прогону и ушли.

— Вы что, не видите, что они возле моего огорода лежат?

— А тебя как зовут-то?

— Николай.

— Василий, — я протянул ему руку, — а это — Роман, — показал я на шурина. — Слушай, да возле моего огорода сосед свои «Жигули» ставит, а у меня и мысли не возникло загнать их в свою ограду.

Мужичок задумался, а я, не давая ему опомниться, на той же лёгкой волне продолжал:

— Может они действительно твои, тогда покажи справку, где ты их приобрел, и я не буду возражать. А мы что, выходит, зря трудились, ты бы попробовал сам тупой ножовкой шиньгать эту железяку. Роман, дай ему ножовку.

— Ну ладно, — непонятно в каком смысле и к кому обратился Николай и пошел домой.

Через несколько времени, как сказал бы писатель Ким Балков, к нам подошел смурного вида молодой человек, судя по ужимкам и татуировкам на пальцах, недавно вернулся из мест определенных.

Присел на пригорке.

— Ну, вы чё, мужики, шухер устроили, местных обижаете...

— Да не говори, попали мы с Романом в историю, куда ни кинь, везде кинокомедия получается. Всё бы ничего, да мы полдня потратили на эту хренову железину, которая никому не была нужна, а теперь вдруг стала необходима. А где твой Николай был, когда мы начали пилить? Пришел бы, ему из окна видно, всё бы решили миром, мы же не прятались, на пригорке у всех на виду. А он что, выжидал, чтоб подороже продать?

Последнюю фразу я ввернул по инерции, занесло на повороте:

— Я так думаю, пусть ставит бутылку за труды наши праведные и забирает уголок. При надобности шов можно заварить, и все будет как ничего и не было.

Парень был не очень словоохотлив, молча стал подниматься с земли.

— Пиво будешь? — Роман протянул ему стеклянную бутылку.

— А почему бы и не выпить с интересными людьми.

Он ушел, а через некоторое время вернулся.

— Пойдемте, Николай зовет во двор. И уголок прихватите.

Сюжет обретал непредсказуемое развитие. Мы взвалили на плечи предмет нашего разногласия и, покачиваясь, двинулись за парнем.

Николай ждал нас во дворе с «болгаркой» в руках.

— Сюда кладите, — показал он кивком головы на валявшуюся под ногами

чурку и нажал на кнопку. Двигатель истошно завопил, и из-под абразивного диска струей брызнул огненный песок. В момент разлома диск сорвался с зажима и покатился по земле. Николай не обратил на это никакого внимания.

— Можете забирать, — сказал как-то нехотя, равнодушно и, не прощаясь, пошел в избу, и уже перед порогом, не оглядываясь, бросил: — Андрей, помоги им дотащить...

Веселое настроение как-то сразу сгасло. По пути мы зашли в магазин, купили бутылку «андроповки», посидели вдвоем у меня на веранде за разговорами о предстоящем таежном сезоне, вспомнили удачные походы, забавные истории. На том и расстались. Прощаясь, я передал Николаю новый обрезной диск, который был у меня припасен на всякий случай.

А металлическую калитку я так и не соорудил. На мой век хватит и деревянной.

Семейство Корневых

Павел Прокопьевич и Тамара Федоровна жили в ладном пятистенке, смотревшем окнами с голубыми ставнями на речку Култушную. Хозяин сам срубил этот дом в пятидесятые годы, строил для себя, поэтому каждое бревнышко было подогнано, каждая доска отстругана, хотя электрических рубанков в то время в личном хозяйстве не было, стайка для скота, баня и прочие надворные постройки сложены основательно и надежно. Тогда еще сохранялось плотницкое и столярное мастерство, традиции не были потеряны. Когда я с ними познакомился, они уже были на пенсии, но держали коров, при них росли телочки и бычки, во дворе в клетках жили кролики и бегали по двору куры. Из пятерых детей на то время только одна Ульяна жила недалеко, в Талой, на середине пути из Култука в Слюдянку, и работала на ферме. Младший сын Павел служил в Советской Армии, а трое старших сыновей жили на Северах, в иные годы наезжали к родителям в отпускные сроки. Помню, как расцветали мать с отцом, как оживали, становились моложе, суеились и летали по усадьбе, стараясь угодить шумным отпускникам. Иногда приезд совпадал с покосом, и как отрадно было в большой крепкой, объединенной трудом семье находить и свое место, обучаясь, может быть, не слишком сложному, но нелегкому и требующему сноровки косарскому искусству.

Познакомился я с ними, когда поехал на велосипеде искать по Култуку, у кого можно брать молоко, чтобы договориться на всё лето. На односторонней улице Крылова, окнами смотревшей на речку Култушную и Камаринский хребет за ней, встретил женщину, гнавшую из стада корову. Это и была Тамара Федоровна, невысокого роста, в силу возраста раздавшаяся в ширину, смуглая кожей, с темными волосами, заправленными под косынку. Ясность взгляда, открытость и искренняя простота покорили меня, привыкшего к сдержанности городских знакомств и отношений. Мы стали приходить в их дом с Тamarой, иногда мылись в бане, пока не было своей, в сенокос помогали косить и грести сено, нам это было в новинку и в радость. Даже Тамара, горожанка неисправимая, в первый же год вошла во вкус и научилась вести прокос, как потомственная крестьянка. Тамара работала в аптеке, а Тамара Федоровна разбиралась в народной медицине, была потомственной знахаркой, заговаривала грыжу, лечила детей от испуга и других болезней, знала многие травы и их целебные свойства.

Как-то Тамаре понадобился спорыш, или горец птичий, это такая травка с на-

учным названием «*polygonum aviculare*». По описанию и рисунку не всегда можно определить траву на луговине или в лесу. Возвращаясь после тщетных поисков, мы зашли к Корневым, Тамара Федоровна угощала нас чаем с голубичным вареньем. Тамара спросила про спорыш.

— Пойдѐте домой, я вам покажу.

Я с недоверием отнесся к тому, как спокойно и уверенно Тамара Федоровна ответила. Мы целый день лазили по склону вдоль тракта, срывали похожие предположительно травки-муравки, считали тычинки и рассматривали листики, и все напрасно. А тут вот, пойдy и покажу.

Тамара Федоровна пошла нас проводить, распахнула калитку и указала глазами под ноги:

— Вот она, трава-мурава, её у нас гусятником называют. Ее гуси очень любят.

Под ногами сплошным ковром и влево и вправо вдоль улицы уходила невысокая, стелющаяся плотно трава.

Возле нашей избушки, у самого крыльца и в других местах огорода нашли заросли этого растения, используемого в гомеопатии, тибетской и китайской медицине, и многие века применявшегося при различных болезнях нашими предками.

Павел Прокопьевич рассказывал

На том берегу Култушной стояла свиноферма, многие советские предприятия имели подсобные хозяйства. Так и «Автовнештранс» обзавелся свиньями для своих работников, даже небольшие посевные площади вдоль речки разработали, до сих пор распаханые клочки земли выделяются. Часть их приспособили местные жители под покос, часть зарастает дурниной.

Запах от свинофермы стоял крепкий и протяжный, и медведи, естественно, народец ленивый и до падали охочий, обнаруживали себя в этих краях, особенно на подступах. Я и сам, собирая грибы или возвращаясь из ягодников, неоднократно слышал рык этих хозяев тайги в пяти минутах ходьбы до дома.

Медведь навевывался на ферму, падалью промышлял, а главное, пугал жителей, собиравших грибы за речкой. Трагических случаев не было, но потому и не было, что думали и вовремя принимали меры.

Медведь до поздней осени ходил к свиноферме, питался падалью, но по какой-то причине не залегал на зимовку. Уже по снегу Павел Прокопьевич со товарищем, после очередного переполоха пошли по следу. Переполох-то был только со стороны женщин, работавших на ферме. Может быть медведь и сам вскоре нашел бы себе берлогу. Но соседство с медведем всегда непредсказуемо, неуравновешенность его психики известна сибирским охотникам и таёжникам.

Выпал снег, и мужики двигались на некоторой дистанции друг от друга, иногда один уходил по следу, а другой оставался на месте.

— Я-то молодой был, Николай старый охотник, когда он понял, что медведь нас скрадывает, а не мы его. Он нашел подходящую лесину, забрался на неё. Я предполагал его впереди, а когда я услышал выстрел сзади, я мгновенно подумал, что он в меня стреляет, оглянулся, а медведь крутился на снегу в сорока метрах от меня. Кровью брызгал в стороны. Он его добил вторым выстрелом. Если бы не сообразительность и опыт Николая, неизвестно, чем бы наша охота закончилась.

С Павлом Прокопьевичем я ходил за ягодой в дальнюю тайгу. Он был небольшого роста, несоразмерно широкий в плечах, быстрый мужик, я едва поспевал за ним по таежной тропе, а он был старше меня почти вдвое, но сельская жизнь, в отличие от городской, развивает сноровистость и выносливость, физическую силу, а как иначе, когда приходится надеяться только на себя: горожанам не надо ни печку топить, ни воду носить, ни за скотиной ходить, ни сено косить. Характером Павел Прокопьевич был наделен шептунным и резким, матерное словцо не истощалось в его лексиконе, ругался он не зло, и больше для связки слов, чем для оскорбления собеседника, но однажды все-таки «отбрил» соседа по какому-то незначительному случаю, тот написал заявление участковому, и Павел Прокопьевич заплатил штраф десять рублей. Он вспоминал этот случай с улыбкой, добавляя при этом:

— А соседа материть я все же не перестал.

Иногда он основательно запивал. Опохмелка могла длиться неделю, и тогда он терял всякое восприятие действительности. Однажды в ветреный морозный день я встретил его возле магазина в рубашке, расстегнутой на груди, обувь на нем никаких не было, кроме носков. Я увел его домой, но ноги он все-таки успел обморозить.

Русские люди болезненнее других реагируют на несправедливость, хотя могут довольствоваться самым малым, самым необходимым, и правители наши всегда пользовались этим. В девяностые годы, брошенные государством, без всяких надежд на будущее, многие находились в худшем положении, чем во время Отечественной, тогда помогала вера в победу. С нищенской пенсией одна надежда на домашнюю живность, от которой и молоко и мясо, и яйцо, да и куриный бульон из ставшего бесполезным в хозяйстве петуха — на пользу и удовольствие.

Шныряющие по огороду куры, теленок, тычущийся в ладонь холодным носом и шершавым языком слизывающий крошки с ладони, и собака, приветливо виляющая хвостом, и кормилица Зорька из возвращающегося с пастбища стада, издали узнающая хозяйку, приветствует её восторженным, вырвавшимся из нутра: Му-у-у-у, эхом повторяющимся в узком распадке, — всё это поэзия живого мира, связывающего душу человека с природой.

Однажды в подпитии Павел Прокопьевич бросил фразу:

— Сталин умер, никто Родину не любит.

В этой неуклюжей, казалось бы, даже пародийной фразе была кондовая правда, боль за крушение Советского Союза, тех основ жизни, на которых стояло целое поколение простых трудяг, к которым относил себя и Павел Прокопьевич.

Весь день «страдали» на сенокосе на Карантине. Вечером пили чай в их тесной кухонке, а когда уже собирались домой, Тамара Федоровна достала из шкафа карманного формата растрепанный молитвослов, завернутый в ситцевую тряпицу в мелких голубых незабудках, с жестяными потемневшими крышками, на передней тисненый образ преподобного Серафима Саровского, на задней святого Феодосия Угличского, архиепископа Черниговского. Молитвослов уже отремонтировался чьим-то неумелым старанием: корешок из фиолетовой бархатной ткани отклеился с одной стороны и торчал неровным краем.

— Вот, Вася, возьми, у тебя руки умелые, приведешь в порядок и будешь пользоваться. Может, нас грешных помянешь когда...

Молитвослов был издан в Москве Синодальной типографией в 1912 году. На титульном листе эпитафия: «Непрестанно молитесь. О всем благодарите: сия бо

есть воля Божия о Христе Иисусе в вас». Не могу сказать, издавался молитвослов уже в таком виде, с металлическим окладом, или был одет в него позднее. В девятнадцатом — начале двадцатого века книги издавались без переплета, и сам хозяин заказывал переплёт по своему вкусу, это видно по старинным изданиям в редких фондах библиотек. Иногда на переплёте можно найти и фамилию владельца книги.

Края страниц, особенно в начале и в конце блока, были растрепаны и истерты по краям, на некоторых темнели круглые пятна капнувшего воска свечи. Видимо им долго пользовались без обложки, я разобрал его по страницам, почистил, нашел клочок переплётной кожи, вырезал корешок, подклеил края, заново сшил блок.

В поездках он всегда со мной в моей дорожной сумке, а иногда и в кармане куртки. И всякий раз, когда я раскрываю его утром, перед сном или в пути, или на могиле ушедших в вечность близких моих, я вспоминаю и Тамару Федоровну, и Петра Прокопьевича, честных русских людей, достойно проживших свою жизнь, добывавших хлеб свой в поте лица своего, умевших и трудиться, и веселиться, смиренно несших тяжёлый свой русский крест. Помяни, Господи, во Царствии Твоем раб Твоих Тамару и Петра и прости им прегрешения вольная и невольная.

Роман Захарович

Он долго руководил «Автовнештрансом». Невысокого роста, крепкий в плечах, с твёрдым характером, рассудительный и добрый. В пятидесятых воевал в Корее, но не любил об этом рассказывать, я замечал, что это свойственно большинству воевавших. Меня с ним познакомил Миша Просекин. Бывало Роман Захарович заходил ко мне с каким-нибудь приятелем, в конце недели, но чаще мы общались с ним в его кабинете, «Автовнештранс» находился в двухстах метрах от моей избушки. Как советский человек, он воспринял крушение СССР как личную трагедию, и разговоры наши чаще съезжали на эту болезненную тему. Он пользовался уважением в коллективе за простоту и прямоту общения. Когда возникали сложные ситуации в шоферском коллективе, он мог одним ударом кулака разрешить все споры. За это его уважали, хотя были в гараже и кипешные мужики. Но авторитет власти и власть авторитета были незыблемы. Врезать по челюсти неуступчивого шофера, если по справедливости, считалось делом чести. И простота начальника подкупала подчиненных. В повести «Дом из силикатного кирпича» Михаил Просекин приводит историю, связанную с Валерием Николаевичем Косенком, героем повести, в котором култучане узнали Романа Захаровича: «Однажды в общежитии автомобилистов, находясь в подпитии, задурил известный, обладающий немалой телесной силой бузотёр Миня — принялся крушить кой-какую мебелишку, издавать угрожающее рычание и, что называется, гонять людей. Оказавшийся там Косенок вышел на Миню безмолвно, скользящей походкой, и, чему особенно удивлялись, вроде и не ударил его по-настоящему, а всего лишь как-то чиркнул, мазнул ему по челюсти. Всем показалось, что с Миней ничего не случилось, он лишь утратил буйность и, тараща соловые глаза, замер на месте. «Должен упасть», — приглядываясь к нему, сказал Косенок. И точно, через секунду-другую Миня брякнулся на пол с раскинутыми руками, обезвреженный и посрамлённый. «Ты же дерёшься, значит и тебя можно пощупать, — втолковывал ему Косенок, приводя его в сознание холодной водой. — А если ещё появишься тут да возьмёшься за своё, устрою на казённые харчи. Запомни...»

Понятно, что эта история, описанная Михаилом Просекиным, может быть, и не имеет никакого отношения к Роману Захаровичу, но характер его допускает подобное развитие сюжета.

Недопетая песня

У всякой песни есть конец, даже если она не допеваётся до конца. И стали мы с женой поговаривать о трудностях култуковской жизни. На седьмом десятке по четыре часа добираться в один конец — удовольствие не из приятных. Я работаю, подолгу жить в Култуке не могу, эти постоянные поездки выматывают, одно утешение — чистый воздух, баня, тайга, грибы, ягоды, рыбалка. Но ездить уже тяжело, а жить постоянно в Култуке невозможно по многим причинам, а главное — непрерывные атаки, разбой. Уедешь на неделю, вернешься — двери настежь, стали наркоманы селиться, варить своё зелье.

В прошлом году мы с женой попали в больницу с атипичной пневмонией. Выжить — выжили, но последствия оказались настолько серьезными, что мы до сих пор не пришли в прежнюю форму, да и придем ли?

* * *

Зимой я не ездил в Култук, и уже ближе к весне навестил. Снегу зимой было много, хотя для Култука это редкость, и когда я открыл калитку, то увидел в снегу проторенную дорогу, было видно, что всю зиму ходили по этой тропе. Дверь в сени была открыта настежь. Кто-то жил в избушке, топил печку, включал электроплитку. Когда я внимательней присмотрелся, понял, что кто-то варил коноплю, отжимал, пользовался растворителем. Вся посуда загажена какой-то тягучей массой — остатки производства.

Вытащил всю посуду на улицу, навел порядок. Дверь изнутри была изрублена — в нее кидали нож. Уже засыпая, услышал скрип снега — «хозяин» пришел. Лежу, думаю, что делать. Когда шаги приблизились к окну, я покашлял, обнаружил себя. В такой ситуации не знаешь, как действовать, что делать, лучше всего не делать глупостей, не хвататься за ружьё, хотя в первое мгновение эта мысль главенствует, подумать. Шаги смолкли, и мне даже не хотелось подниматься, брать фонарь и выходить, смотреть, кто там и что там. Утро покажет. Заснул я быстро.

* * *

Не надо быть опытным следопытом, чтобы отличить вечерние следы от позавчерашних. Хотя на этот счет есть охотничья байка. Молодой начинающий охотник спрашивает опытного:

— Дядя Коля, а как вы отличаете, когда коза прошла, давно или недавно?

— А ты помет видишь?

— Вижу.

— Возьми в руку.

— И что, холодные, замерзшие катыши.

— А ты их в рот возьми, через минуту разойдутся — два дня назад прошла, через тридцать секунд — день назад, ну, а если теплые... Только что.

— Фу...

— Ну, если фу, то ты никогда хорошим охотником не станешь.

* * *

Утром я обследовал снег. От окна в сторону бани отпечатались двухметровые шаги. «Заяц» подлетел к забору и, не касаясь его, перелетел на другую сторону, затем, не сбавляя темпа, пошел в гору тем же аллюром, потом вдоль горы... Дальше я не пошел, но удивило меня, с какой силой летел мой неожиданный постоялец, видимо, молодой, крепкий. И зачем губить себя всякой дурью и дрянью?! Но воробей был пуганый, я попытался повторить его шаги и не смог, размер обуви примерно 37 указывал на небольшой рост. Но забор-то у меня — два метра и десять сантиметров высотой. Это для точности.

* * *

В очередной раз я навестил домик за две недели до Пасхи Христовой. Снег перед калиткой уже стоял. Я обратил внимание, что калитка не замотана проволокой, как я сделал перед отъездом. Посмотрел на избушку, окна не были занавешены изнутри — значит, кто-то опять побывал у меня. Во дворе я увидел чужую собаку. Из избушки вышел какой-то парнишка и, не видя меня, шагал навстречу. Ему было на вид лет пятнадцать. На тропинке разойтись было невозможно, поэтому столкнулись, что говорится, нос к носу. Я уже начинал закипать изнутри: ясно, что кто-то живет в доме.

— Ты кто и откуда? — не нашелся я, что бы сказать поумнее и пожестче.

— Я здесь не живу, — парень, видимо, начинал понимать, кто я.

Я поднял лежавшую на придавленном кусте малины увесистую круглую палку:

— Сейчас будем разбираться, кто здесь живет...

Я успел достать носком сапога задницу убежавшего подростка. Потом я сожалел об этом, парнишка оказался не при чем.

«Что происходит? Заселились какие-то люди без страха и совести, живут. Что делать?»

Мысли лихорадочно крутились вокруг ситуации, но я уже вошел в избушку. За столом слева сидели три подростка, справа — девчонка. В избушке было тепло и чисто. Я резко для устрашения замахнулся дубиной на подростков:

— Ну, с кого будем начинать?

Парнишка, ближний ко мне, шарахнулся к столу. Сидевший посредине встал:

— Я сейчас всё объясню. Вас дядя Вася зовут?

— И что?

— Мне дядя Петя сказал, что вы сдаёте домик. Мы с Лерой пришли, дом был открыт, мы постучали, никто не открывал, мы до вечера прождали, думали вы придёте, а затем устроились на ночлег.

— Как-то всё просто у вас. Пришли, зашли. А у меня вот здесь холодильник стоял, здесь стиральная машина, телевизор. Где это всё?

Холодильник и телевизор, и стиральную машинку я придумал, всё это унесли раньше, но хотелось хоть как-то их пристыдить, напугать, Лера спокойно наблюдала за спектаклем, который разыгрывался всерьез. Впервые я приехал к себе на дачу, а оказался в гостях...

— Ребята, вы хоть понимаете, в какую историю влипли? Или для вас нормально войти в чужой дом, взломать дверь и жить, даже с хозяином не договорившись?

— Я вам сейчас всё объясню...

— Как вижу, ты хорошо всё объясняешь, а как тебя зовут-то, мальчик?

— Николаем, я могу и паспорт показать.

Паспорт, конечно, посмотреть надо было, но я же не участковый, поверил на слово.

— А ребята, может быть, пусть идут, они здесь не при чём? — Николай посмотрел на меня.

— Пусть идут. А ты, парень, извини, — это я тому, которого встретил в огороде, — я же не знал, что тут за ситуация.

— Да ладно, что уж теперь...

Они ушли, а мы с Николаем перешли на веранду. Я заметил, он вибрировал всем своим хрупким телом, не мог подкурить сигарету, спичка не слушалась пальцев.

— Тебе лет-то сколько?

— Двадцать один. А что, я выгляжу моложе?

Он действительно выглядел подростком. Подружка его тоже была несовершеннолетняя, как выяснилось позже.

— А где твои родители?

— Я детдомовский, в Слюдянском «Солнышке» воспитывался.

— Но вам же дают квартиры по совершеннолетию.

И он начал мне сочинять, что квартиру кто-то отнял, что у Леры умерла мать, отец уехал в Иркутск, с мачехой ужиться не получилось, жили у тетки, но дом недавно сгорел, и пришлось заселиться в мой.

Так я обрел неожиданных «родственников».

Когда я рассказал об этом Валентину Григорьевичу Распутину, он зашел в редакцию в понедельник, он спросил или ответил за меня:

— И ты, конечно же, разрешил им остаться в доме...

* * *

Шла страстная седмица. Я разрешил им пожить до Пасхи, но предупредил, что мы с женой после Пасхи будем сажать огород.

— А мы можем вам помочь и вскопать и посадить картошку.

— Ну а как мы вместе будем в этом курятнике жить?

Прежде чем приехать в очередной раз, мне надо было встретиться с ними, я позвонил Лере на мобильный, так мы договорились. Повторял набор несколько раз. Телефон был отключен.

Я приехал утренней электричкой в Култук. В избушке никого не было. Стол был завален грязной посудой, на полу валялись пустые бутылки из-под водки, пива, вина, окурки. Нечистый дух прокуренной теплушки висел в воздухе. Квартиранты справляли проводины.

Всё стало понятно, но я всё же позвонил ещё раз. Телефон отключен. Я открыл настежь дверь, затопил печку и начал прибираться в избушке.

И явилась ясная и простая мысль: всё, край, дальше здесь жить невозможно, как поётся в песенке, пора съезжать на новую квартиру... На этом и успокоился.

«Дурак думке рад» — ёмкая поговорка. Подумать-то я подумал, но как изменишь ход жизни, складывавшийся десятилетиями, где взять деньги на покупку новой дачи в другом месте при наших пенсиях? Обстоятельства заставили сми-

риться, и мы продолжали с женой наезжать в Култук, сажать огород, ходить за ягодой и грибами, ждать в гости детей и внуков и провожать их по воскресеньям на электричку, на Вербный.

В межсезонье я навещал свой домик, после очередного взлома и какого-нибудь мелкого грабежа, хотя брать у нас нечего, заделывал прораны, ремонтировал запоры, восстанавливал разбитые окна, всё это было привычно и не вызывало даже досады.

* * *

Ручей, который вытекал из просекинского распадка, истощился, и не дотекал до речки Култушной, как прежде. В прошлом году он едва дотягивал до мостика в конце нашей улицы. Водоколонка целый год не работала, и воду приходилось носить от мостика, а потом и там источник иссяк. Я стал возить воду из речки на велосипеде: наполнял пластиковые бутылки, загружал их в рюкзак, взваливал на плечи, крутил педали до подъёма, избушка стоит на взгорке, спешился и доставлял воду до крыльца. В этом году колонку запустили в работу, и можно пользоваться с девяти часов до шестнадцати, до перебоев воду можно было брать круглосуточно. Вода, видимо, застаивается, запах от неё идёт несвежий, поэтому пьём только кипячёной.

Русло ручья за зиму завалили всяким мусором и отходами, хотя через дорогу, ближе к крайним домам метрах в сорока, расположены мусорные ящики. «Широк русский человек, я бы сузил». Но в широте и беспредельности нас вряд ли кто остановит, вдоль дорог железных и асфальтовых, таёжных и просёлочных, везде, куда может добраться автомобиль, кучи мусора. Всё, что в хозяйстве домашнем отслужило свой срок, вывозится прочь из дома (такое разграничение своего дома и общего природного, в своей ограде чисто, а за оградой — срач, другого слова не подберёшь), растут бесчисленные свалки вдоль чистых таёжных рек, назвать их чистыми можно только с оговорками; на лугах и полянах, на заброшенных покосах и лесных полянах, — как будто люди ослепли и оглохли в погоне за внешними благами, не видят поэзии и красоты всякий год обновляющейся природы, в напоминание данной нам Богом, чтобы мы не очерствели взглядом, не заскорузли слухом, восторгаясь очередным весенним воскрешением. Уже кажется глупым размышлять о разумности человека, отравленного цивилизацией, homo sapiens всё больше становится самоубийцей, не способным осознать своего безумия. А тех, кто говорит об этом, слушают и не слышат, да и сами самоубийцы любят поговорить на эту тему абстрактно, не имея себя в виду, потому что слово и дело в современном человеке окончательно расторгли свой союз, и слиться воедино смогут только на пороге вселенской катастрофы, перед неотвратимой неизбежностью, которую сами люди так старательно приближают. Не будет ли поздно?

Сегодня большинство осознаёт вред, наносимый «хозяйственной» деятельностью человека, но обратного хода человечество не делает, и делать не собирается, и есть ли он, обратный ход?

* * *

Нашей писательской общиной мы участвовали во многих событиях култухской жизни и когда жили в посёлке, и когда вернулись в Иркутск. Приезжали и на

Просекинские чтения, учрежденные по нашему предложению, в них участвовали и многие иркутские писатели, не имевшие никакого отношения к посёлку. Эта традиция сохраняется и ныне стараниями директора библиотеки Розы Петровны Токаревой. В Култукской школе постоянно проходили различные школьные конференции, участниками которых были преподаватели иркутских вузов, филологи, историки, биологи и другие специалисты, в зависимости от тематики. После одной из конференций участники и школьники, и руководители семинаров, заложили парк на берегу Байкала, на пустыре, который с одной стороны примыкал к станции Култук на Кругобайкальской железной дороге, а другой упирался в окраину посёлка. К сожалению, парк не состоялся, не был обнесён достаточным ограждением, и дикие козы и коровы не оставили от насаждений и следа. А на повторное действие никто не решился. «Зачах наш бедный сад...»

Иммигранты Кузнецовы

Распад Советского союза стеганул лопнувшими стальными тросами по лицам русских людей больше, чем по другим. Ленинская национальная политика сработала как запоздалый детонатор распада СССР. Десятки миллионов русских оказались в одночасье изгоями, в странах, где их стали считать людьми второго сорта, в странах, которые своим рождением обязаны российской империи, странах, под дланью русского царя сохранивших свои традиции и саму национальную жизнь. Местечковый бытовой шовинизм так называемых малых народов вытеснял русских из своих домов, лишал работы, а подчас и самой жизни. Русских обвиняли во всём, что творили местные князьки.

Армейскую службу я проходил в Семипалатинске, городе, основанном русскими, и в шестидесятые годы двадцатого века большинство населения в этом городе составляли русские, как и в других промышленно развитых городах Казахской ССР. В нашей радиолокационной части служили армяне, немцы, корейцы, узбеки, украинцы, молдаване и другие, хотя, естественно, русские составляли большинство и в рядовом, и в командном составе. И если бы тогда кто-то стал говорить о межнациональной розни, его бы просто подняли на смех, этого представить было невозможно, даже обладая богатой фантазией. Мы ходили в увольнение, общались с казахами, бывали на их свадьбах.

В 1995 году я познакомился с Олегом Слободчиковым, писателем, приехавшим из Казахстана, но уже нового, перестроечного, в Иркутске его приняли в Союз писателей России, а позднее я предложил ему возглавить отдел прозы в журнале «Сибирь». Он приобрёл половину дома на станции Шумиха на Кругобайкалке, бывал у меня в Култуке, я наезжал к нему на Байкал. Он рассказывал, что происходило в Казахстане, когда местечковые князьки почувствовали власть и стали вытеснять русских. Кто мог стали возвращаться в Россию. Принимал беженцев и Култук. Типична судьба семьи Кузнецовых.

Вначале я познакомился с Кузнецовыми заочно. Их историю мне поведал Олег Слободчиков.

А спустя какое-то время, летом, я собирал грибы на склоне горы и встретил молодого человека в армейской форме, так как местных я знал в лицо, догадался, что это Саша Кузнецов, он недавно вернулся из армии. Господь сводит людей на земле по какому-то Ему Одному известному плану, и, казалось бы, люди, кото-

рые никогда не должны были встретиться, встречаются там, где они и быть-то не должны по ходу жизни. И само единение происходит естественно, по тому же необъяснимому притяжению.

Клавдия Петровна Кузнецова рассказывала:

— Жить становилось в Алма-Ате невыносимо. Вокруг нагнеталась напряженная атмосфера злобы. На улицах, в автобусе казахи стали выказывать неприязнь. Когда мы продавали квартиру, покупатели предлагали доллары, но мы не знали, что с ними делать (а вдруг в Култук негде будет обменять), и попросили в рублях. А пока собирали вещи, ехали в Сибирь, рубль обесценился, и мы приехали в Россию нищими. На остатки денег смогли купить машину бруса на дом да машину досок. Жили у сестры. Пошли работать и я, и дети, Саша с Элиной.

Судьба этой семьи похожа на миллионы других. Советский Союз стал большим территориально объединенным табором, под напором власти человеческие массы перемещались по огромной территории, подобно тектоническим сдвигам, в основном в северо-восточном направлении: расцерковление, расказачивание, раскулачивание. Беломорканалы, Днепрогэсы, великие комсомольские стройки требовали рабочей силы, «севера» заманивали людей большими деньгами, национальная Россия была раздавлена, размыта и затоплена искусственными водоёмами. До сих пор всплывают со дна отеческие гробы и деревянные обломки сожжённых жилищ.

Жили в Черемховском районе четыре сестры и брат.

Вспоминает одна из сестёр, Нина Петровна Курсанова: «В детстве мы жили по месту ссылки наших родителей, бабушек и дедушек в Черемховском районе, пос. Касьяновка. Папу с родителями сослали в Касьяновку из Воронежской области, Ново-Калитвянского района, в их оставленном доме впоследствии открыли почтовое отделение. Маму с родителями сослали в Касьяновку из Башкирской АССР, Хайбулинского района.

В Касьяновке для ссыльных строились бараки, в которых каждой семье была выделена одна комната. А семьи были большие. Наши дедушка, бабушка, мама, папа своими силами построили дом и выехали из барака. Так сделали многие семьи. Но многие и остались там жить. Со временем бараки перестроили, и у каждой семьи появилась квартира.

По окончании школы, получив образование в Иркутске, мы разъехались по стране. Клава уехала в Алма-Ату, к родителям мужа, так как он находился в армии. Мария, окончив техникум, уехала к Клаве. Я уехала в Норильск, туда направили мужа на работу после окончания Иркутского политехнического института. Старший брат, Женя, уехал из Касьяновки в Приморье после того, как в посёлке закрыли шахту, работать было негде, и посёлок зачах. Тоня осталась жить в Черемхово. В 1981 году Тоня с семьёй переехала в Култук, мужа назначили директором «Автовнештранса». Наступили 90-е годы. Жить в Казахстане стало невозможно. Русских притесняли, работы не стало, и Клава решила на переезд в Россию, т.к. казахи вытесняли русских. С трудом продали квартиру и переехали в Култук. Почему был выбран Култук? Потому, что здесь жила старшая сестра. Было где жить в первое время и строить дом. На деньги от продажи дома Клава успела купить стройматериалы, правда частично, в начале 90-х была большая инфляция, деньги быстро обесценились, и нанимать строителей было не на что. Строил дом сын, Саша, — один. Дочь, Элина, помогала деньгами. Мария тоже вынуждена была продать свою квартиру в Алма-Ате и приехать в Култук. Мы с мужем жили

в Норильске, и нам нужно было думать, куда поехать после ухода на пенсию. Выбирать не пришлось. Деньги в 1991 году «сгорели». Купить квартиру было не на что. Поэтому было решено строить дом. Вместе с сёстрами написали заявление о выделении участков под строительство домов. Землю выделили, и мы начали строиться. В стране был закон, касавшийся северян, о строительстве кооперативных квартир в любом районе страны, кроме Москвы, после выхода на пенсию. Но нас нигде никто не ждал. Сначала нужно устроиться на работу, пожить в общежитии с семьёй лет пять, потом встать на очередь в кооператив».

Издавна в России была традиция строить избы сообща, это называлось — помочи. Собирались всем миром и возводили дом. Хозяйка готовила еду, кормила работников, в завершение устраивалось праздничное застолье.

Идея помочь казахстанским беженцам пришла Олегу Слободчикову, он спросил меня, могу ли я поработать на строительстве дома Кузнецовым.

Я согласился. Топор в руках я держать умел, неоднократно в «диких» бригадах рубил дома, а набравшись опыта и сам руководил бригадой. С моим товарищем Николаем Косаревым даже ездили в Ерофей Павлович, так называется посёлок в Амурской области, где в то время работал его друг, бравший строительные подряды по всей стране. Мы там за лето срубили большой брусовой двухквартирный дом.

В советское время «дикие» бригады по численности превосходили армейские дивизии, по всей стране нанимались на строительство в летний сезон армяне, молдаване, украинцы, русские, бригады работали в основном в сельской местности, строили котельные, коровники, жилые дома и другие объекты, в чём нуждались колхозы и совхозы. Заработки, учитывая, что работали от зари до зари, были хорошие, но местные мужики даже на период отпуска редко нанимались в эти бригады, но не от лени, а по какой-то другой причине. Вкалывать, как у нас говорят, они умеют. Хотелось, наверное, отдохнуть в отпуске.

В субботу в Култук приехал Олег Слободчиков с братом. На участке нас ждал Саша Кузнецов. Расчистили площадку, уложили оклад, за два или три дня подняли сруб наполовину, установили оконные и дверные коробки. Это всё, что нам позволяло время: у каждого были свои планы, заботы, работы, и Саша Кузнецов, двадцатилетний парень, один достраивал свой первый в жизни дом. Но не последний.

Весна 2013

Всю зиму я не ездил в Култук, и уже ближе к весне собрался. Зима выдалась снежной, хотя для Култука это редкость, когда я открыл калитку, то в глаза бросилась проторенная в снегу грязная колея, было ясно, что всю зиму ходили по этой тропе. Дверь в избушку была распахнута настежь. Понял, что кто-то жил в избушке, топил печку, включал электрообогреватель. Зимний постоялец к тому же варил зелье, у печки валялись тряпичные скрутки с отжатой травой, бутылки из-под растворителя, кастрюли загажены какой-то тягучей слизью — издержки производства.

Вытащил посуду на улицу, прибрался, подмёл полы. Дверь изнутри была иссечена — в нее кидали нож. Большая карта мира, закрывавшая всю стену над моей лежанкой, изрезана ножом на части. Больше всего досталось территории СССР. Уже засыпая, услышал скрип снега — «хозяин» пришел. Лежу, думаю, что делать.

Когда шаги приблизились к окну, я покашлял. В такой ситуации не знаешь, как действовать, что делать, лучше всего не делать глупостей, не хвататься за ружьё или топор, хотя в первое мгновение такая мысль кажется наиболее верной. Шаги смолкли, и мне даже не хотелось подниматься, брать фонарь и выходить, смотреть, кто там и что там. Утро покажет. Заснул я легко, от усталости и какого-то странного безразличия, человек такая скотина, что ко всему быстро привыкает, как к плохому, так и к хорошему.

* * *

Перед новым 2016 годом, в начале декабря я поехал в Култук. Подходя к калитке, увидел, что, хоть снегу было много, но широко и плотно утрамбованная ногами тропа говорила о длительном передвижении народных масс туда и обратно, даже выпавший ночью снег был примят. Утром здесь ходили. Ставни плотно притворены, а я никогда их не закрываю. Запоры на дверях в сени были взломаны, в избушке было тепло, электрообогреватель, который я в спешке осенью не успел засунуть куда-нибудь подальше с глаз, был включен. Похоже, что «хозяева» недавно куда-то вышли. Полки на стенах были чисты, ни посуды, ни всего прочего, необходимого для постоянной жизни на них не было. «Кому нужна эта рухлядь?» — подумал я. Но потом обнаружил в сенях и одежду и посуду и прочее, всё было уложено в коробки, ведра и корзины. Мне непонятно было, зачем это сделано, но в дальнейшем объяснилось. Сомнений не было, в доме кто-то живёт. Я позвонил участковому, объяснил ситуацию.

Оперативники без особого интереса слушали меня, бегло взглянули на искорёженные двери, спросили, что пропало. Я вынудил, именно вынудил составить протокол. Участковый пообещал в течение недели понаблюдать за домом и, если что-то обнаружат, позвонить. Но я не дождался звонка и поехал через неделю сам.

Свежие следы возле дома, похудевшая поленица дров, помои, вылитые прямо под стену дома, всё указывало на присутствие квартирантов. Стало ясно, что ждать милости от полиции не приходится, придётся брать их самому. Я запер дверь снаружи, открыл ставни, постучал:

— Эй, ночевальщики, пора просыпаться.

Занавески на окнах были задёрнуты изнутри, ничего не было видно, но лампочка просвечивала сквозь тюль. Я не был уверен, что сейчас в доме кто-то есть. Постучал в дверь — тишина. Снова подошёл к окну: лампочка погасла, а когда отходил, заметил, как дрогнула занавеска.

Звоню участковому:

— Ну, что же вы, Михаил Александрович, обещали наблюдать, а так ни разу не подъехали. Они как жили, так и живут преспокойненько. Запер я кого-то, подъезжайте, разбирайтесь.

Гости, вероятно, услышали мой разговор, вышли в сени, стали вести переговоры из-за двери:

— Дед, выпусти нас, мы не при чём. Мы ночью в три часа приехали из Иркутска, нас сюда пустили переночевать. Мы не при делах, — голос парня был чистым и приятным.

— Ребятки, у меня к вам никаких претензий нет, если вы не при чём, подождите немного, сейчас полиция прибудет, и им расскажете всё и пойдёте по своим делам.

— Слушайте, зачем полиция, давайте так уладим дело, мы заплатим, скажите сколько.

— Если вместе с моральной компенсацией, — решил пошутить я, — то тысяч пятьдесят хватит.

— Да ты что, дед, где мы возьмём такие деньги? Ну хоть девчонку-то выпусти.

Переговоры шли, а полицейских не было. В окно в сених высунулся молодой человек, неширокий в плечах, он мог бы протиснуться между металлическими прутьями. Я вытащил из кармана куртки револьвер. Он соскользнул вниз. Револьвер был не боевой, сигнальный, но кто ж его определит по внешнему виду.

— Ребята, наберитесь терпения, я вот уже сорок лет терплю, а полицию первый раз вызвал.

Позвонил участковый, сказал, что наряд должен подъехать, и в это время я увидел двух молодых людей в черных куртках, идущих от ворот.

Вслед за ними протиснулся в избушку. Там оказалось трое молодых парней, лет двадцати — двадцати трёх, и девчонка, совсем юная, лет, наверное, шестнадцати. Красивое чистое светлое лицо и ясные голубые глаза.

— Опасные, острые, режущие предметы, паспорта — на стол. — Оперативники ощупали карманы парней. — Собирайтесь, на выход.

Это были опрятные, хорошо одетые молодые люди, смущённо, как мне показалось, воспринимавшие эту ситуацию, не было ни дерзости, ни злости, ни наглости. Явно они случайно оказались в это время в этом месте. На наркоманов не походили, а девчонка, это светлолицое хрупкое существо, что она делала в их компании, может, была сестрой кого-то из них?

Крыша милицейского «уазика» проплыла над забором внизу и пропала. Я остался один. В груди было напряжённо и пусто.

Листом ДСП закрыл намертво окно в сени, прикрутил длинными стальными шурупами деревянный щит, обшитый жостью, на дверь и уехал вечерней электричкой в Иркутск.



АЛЕКСАНДР НОВОСЕЛЬЦЕВ

Куда ж России без Христа?

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ И
ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

Очень трудно, говоря о Шукшине, «в лоб» оперировать хрестоматийными понятиями Вера, Церковь. Не рискуем ли мы быть объективно непонятыми как со стороны самой Церкви, так и ее противников? Церковью за то, что он не был прилюдно воцерковленным человеком, строго следующим канонам церковных служб и постов... А неверующие наверняка скажут: «Вот еще из одного делают святого! Почитайте-ка лучше его рассказ «Верую» про неверующего попа!» Чтобы не вдаваться в спор между этими двумя сторонами, лучше обратиться к самому писателю, актеру и режиссеру, находя в его творчестве и биографии страницы, кадры и факты по затронутой нами теме.

Кажется, у большинства русских людей глубоко в душе лежит и в то же время просто с языка срывается: «Он свой, он наш!» Это и так ясно. И мне ясно, и всякому-любому, кто с радостью берет любой том Шукшина или смотрит любой фильм с его участием или им поставленный. Это — так душа скажет. Сходу. Но вот «по уму»... Тут уж, поверьте, простая бабушка скорее объяснит и проще. С ходу — нет, потому что, трудно поддаваясь рациональному, умственному объяснению, — в чем заключается православие в творчестве В. Шукшина, — сердцем мы сразу принимаем и недоуменно восклицаем, глядя на непобедимого скептика: «Да как же иначе?! Да он же... да вы что?!» А скептик все так же, прищулив глаза, с ухмылкой будет глядеть на нас: «Ну-ну... и где же у него Бог, у коммуниста? Что он, в церковь ходил?»

Так с чего же начнем, братцы? С чего? А от печки и начнем, с тех самых печек и лавочек. Что-то же и у нас есть универсальное: и для ума и для сердца? Есть, слава Богу, уместившее иррациональное в рациональном — Далев словарь. «Крестьянин (по Владимиру Далю) — Крещеный человек, мужик, землепашец, земледелец». Говоря о Шукшине, мы не раз еще вспомним все эти далевские определения. Вспомним и по «Калине красной». И по сценарию, и по фильму. Вспомним, потому как, несмотря на всю разницу положения вора-рецидивиста Егора Прокудина и самого Шукшина, в герое внутренне очень много личного от Шукшина-писателя и еще больше от режиссера и актера:

«Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле и шел.

— У него даже походка-то какая стала!.. — с восхищением сказал Губошлеп. — Трудовая.

— Пролетариат, — промолвил глуповатый Бульдя.

— Крестьянин, какой пролетариат...»

(Так в киноповести. Только, помнится мне, замечу в скобках, что в фильме сказано про походку «мужицкая», и что эти уточнения Шукшина-режиссера перед

Шукшиным-писателем только еще раз объемно, по-далевски, раскроют единую, неразрывную связь понятий слов крестьянин-христианин-мужик-землепашец).

Для скептиков о теме «Шукшин и православие...» можно говорить и формально, анкетно: верил-не верил, ходил в храм или нет?.. Можно. Если так, то — был крещен. Вероисповедания православного (а какое же может быть еще у русского крестьянина?) Когда в 1956 году родились племянники, дети Натальи Макаровны, Надя и Сережа Зиновьевы, он был им крестным. Крестил их в Бийской православной церкви втайне от их отца, Александра Зиновьева, которого очень любил. Потому, верно, и берег его, боялся навредить по службе.

К вопросу о вере. В 1961 году после смерти Александра он написал своей сестре Наталье такие слова: «..я не верю ни во что — и верю во все. Верю в народ... Я хочу, чтобы меня похоронили... по-русски, с отпеванием, с причитаниями...» Да, в этом «..я не верю ни во что — и верю во все» слышно язычество, и это для любого русского, тем более деревенского мальчишки неосознанно-естественно. Жизнь крестьянского мальчика в Сростках, это — Катунь, согра, костры на островах, ночное. Это и есть то язычество, которое каждый во младенчестве проходит, как прошло его во младенчестве человеческое общество. Но еще тогда, заглядывая в неизвестный конец жизни, он уже осознанно желает, «чтобы меня похоронили... по-русски, с отпеванием, с причитаниями...» Конечно, кому-то вспомнится есенинское:

*Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.*

Нет в этом никакой натяжки. Да, Шукшин любил Есенина. И не случайно в рассказе с самым, пожалуй, актуальным для нашей темы названием «Верую!» (1970) поп (именно «попом» назовет всякий, полуосуждая, но больше любя, этого героя) с больной душой плачет от есенинской песни. Да при этом произносит слова, которые не всякий в быту скажет, постесняется. Для этого душу надо иметь чистую и широкую, да не бояться покаяния, ибо рядом сидит такой же человек с больною душой: «Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю». За что же скептик осудит этого попа? За широту русской души, которую, по выражению Достоевского, «можно немного сузить»? Нет, пожалуй, не сужается она до объема вмещаемого в стакан. Нет! — говорит своим рассказом Шукшин, мы такие: и попы, и приходящие к ним по-простому, смутно тоскующие мужики. Мы — русские, нам верить — так во все сразу, что есть в жизни, во все на свете.

Вопрос обращения к вере человека, раньше не проявлявшего к религии никакого интереса, — в рассказе 1972 года «Гена Пройдисвет». Интересно, что сначала Шукшин назвал его «Антихрист 666». В нем напрямую ставятся вопросы веры и неверия. Конфликт между Геной, бросившим институт и из-за беспокойного, неуживчивого характера нигде надолго не задержавшимся, и его дядей Гришей, «новообращенцем», возникает из простого желания Гены уличить дядю, расколоть его. Жизнь дядя понимает просто: «вся жизнь свыше записывается на пленку, как в кино, а после смерти прокручивается». Из его уст звучит главная, пожалуй, мысль рассказа: зачем искать подтверждений чуду — они просто на огороде, где все растет из земли. Разве это не чудо? И человек тоже — из нее вышел, в нее и

уйдет. Неизбежная при непонимании Гены драка до крови с дядей Гришей, как борьба веры с не столько воинственным, сколько невежественным неверием, примирается самой жизнью: Нюра, крупная, здоровая и очень добрая дочь дяди Гриши по-родственному разнимает, разводит их по углам, умывает и ставит на стол мировую бутылку, а сама идет доить корову. Грустная народная песня остужает спорщиков, и Гена задумчиво смотрит, наблюдая за еще одним обыденным чудом: корова дает молоко. Он, совсем успокоившись, отказывается от водки и решает: «Лучше я стихи напишу. Про корову».

Еще к вопросу о вере, — высказанное Шукшиным и документально засвидетельствованное в письмах 1969 года к Василию Белову, касающихся темы, очень болезненной для русского человека вообще, а творческого в особенности. Тема серьезная, потому нет в словах Шукшина никакого ироничного оттенка, наоборот, упомянут единственный надежный способ, дающий возможность преодолеть напасть: «А пить бросил. Побожился. Не надо...», и еще «Давай, как встретимся, поклянемся на иконе из твоего дома: я брошу курить, а ты пить». Крепче, видимо, силы, как от отчей иконы, не нашлось. И это у писателя, у которого такой словарный запас! А слова нашлись лишь эти, единственно убедительные.

А можно говорить не о внешней стороне, когда имя Божие упоминается, а о том едином мире, внутреннем мире Шукшина-человека, и том, что создавался Шукшиным-писателем, мире, в котором Имя Его подразумевается нравственным состоянием самого автора и его героев.

Творчество писателя корнями в его истоках. Шукшинские истоки — чернозем Алтая. Сам Алтай — природный храм, в котором Вася Шукшин жил среди преданий, среди людей и тех простых бабок, что сохранили и традиции, и веру. Крестьянская, деревенская проза — из истоков народной культуры, которая по сути своей культура православная.

Интересно, что вся русская классическая литература в большей степени литература деревенская. Бунин начинался, как в последнее время сказали бы, как «писатель-деревенщик», со стихотворения «Деревенский нищий», и весь состоит, кажется, из ощущений деревенской усадебной жизни, пахнувшей антоновскими яблоками, прелыми листьями, сырым сизым черноземом, пронизан сквозящими лучами низкого вечернего солнца в саду. Все это и в его «Деревне», в «Митиной любви», «Жизни Арсеньева», и пребывание героев вне размеренной сельской жизни скорее исключение. Деревенской усадебной жизнью живут герои Льва Толстого, Гончарова, Гоголя, Лескова, Чехова, Некрасова, Фета, Никитина, Кольцова. Вне почвы никогда не родились бы глубоко народные страницы пушкинского «Онегина», тургеневских «Бежина луга», «Записок охотника». Почвенность всей русской классической литературы, осознание чувства связи с родной русской землей несомненны, как несомненна православная ее основа, полученная классиками не столько из уроков Закона Божия, сколько из нравственно чистых устоев народной русской жизни. Как исключительно народны десятки тысяч пословиц, собранных Владимиром Далем, но сложенных простым Народом, создавшим и сохранившим сам русский язык.

«И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, прикинувшись щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное». О чем же рассказывает «Калина красная»?

Есть вечно новая Евангельская притча о возвращении блудного сына в родительский дом. Она проходит через всю русскую литературу. Это не хеппи-энд,

счастливый конец на западный манер, когда герой через горы трупов становится счастливым, это — духовное восхождение к вершинам нравственности заблудшего сына, часто опустившегося до крайней точки и понявшего, что единственное его спасение в возвращении к корням, к отчему дому. Древняя как мир и вечно новая тема, переживаемая каждым в жизни.

Шукшин до буквы, до запятой в своем творчестве, и как писатель, и как режиссер и актер неразрывно связан с темой крестьянина, простого человека от земли. Истоки нравственности, отразившиеся в его творчестве — в материнской любви простой крестьянской женщины. Так же глубока и его любовь к матери, своей родне.

Мать Василия Макаровича Мария Сергеевна так учила своих детей: «Не надо смеяться над человеком, а вот самого униженного, падающего, вот ему-то и надо помочь, поднять на ноги, чтобы он встал». И в этом ее крестьянском-нравственном природно проявилось то, о чем говорил Толстой: «Ненавидь дурное в человеке, а человека люби». Эти нравственные христианские традиции, просто высказанные в материнском завете, проявились почти с первых строк шукшинской прозы, и звучат все отчетливее во всем творчестве писателя. Полюбить героя, самого, казалось бы, несимпатичного для читателя, дать ему проявить себя даже в самых преступных поступках и не отнимать у него искры человеческого — в этом сила шукшинского, по-христиански милостивого творчества.

Казалось бы — чего проще писать «плохих» героев черной краской, а хороших — в радужных тонах. Примеров «плохих», «отрицательных» героев у Шукшина множество, но следуя заветам — материнскому «человека люби», и христовому «да любите друг друга», он и в них ищет «искру божью». Возьмем для примера крайне негативных шукшинских героев. Женщина-вахтер из документального рассказа «Кляуза», героем которого был сам Шукшин, и который писался, как признается Василий Макарович, «со зла». Но даже в крайней степени озлобления, когда человек обычно пускается во все тяжкие, говоря о своих обидчиках, пытаюсь найти в них самое плохое, — даже в этом случае в нем говорит человек: «Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, — я думал: буду помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот — забыл. Забыл даже: есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, может быть, это мне со зла кажется, что есть». А в конце рассказа он прямо ищет оправдание ее наглости и хамству: «Может, у ней драма какая была в жизни, .. она обиделась на веки вечные...»

Интересны герои рассказа «Охота жить». Случай сталкивает в таежной избушке старика Никитича с беглым заключенным. Сам автор не проявляет симпатии к беглому преступнику, его блатной речи и выходкам, и мы видим его скорее глазами Никитича, — человека не без греха, но жизненная человеческая сила которого вызывает у читателя уважение.

«— Не боишься меня, отец?

— Тебя-то? — изумился старик. — А чего тебя бояться?

— Ну... я ж лагерник. Может, за убийство сидел.

— За убийство тебя Бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от его не уйдешь.

— Ты верующий, что ли? Кержак, наверное?

— Кержак!.. Стал бы кержак с тобою водку пить.

— Это верно. А насчет боженок ты мне мозги не... Меня тошнит от них. — Парень говорил с ленцой, чуть осевшим голосом. — Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил».

Дважды Никитич спасает беглеца: от холода и от нагрянувших работников прокуратуры, и в третий раз дает возможность бежать ему, уже предавшему надежды старика. И получает предательский выстрел в спину. Не Шукшин любит-ся этим парнем, не он жалеет беглеца. Но, не оправдывая его, он все же находит причину всем его поступкам, не нравственную, а скорее животную. И выносит ее в название рассказа: «Охота жить».

Редкий, если не единственный случай в творчестве Шукшина, когда не только у автора, но и у всех действующих лиц главный герой находит прямое осуждение. Это рассказ «Крепкий мужик» (1969). Со слов близкого друга Шукшина, А.П. Саранцева, прототипом бригадира Шурыгина, свалившего в селе церковь, был его родной дядя, и об этой истории он рассказал Василию Макаровичу. Осуждает Шурыгина не только весь деревенский мир. По народному поверью его ждет проклятье и гибель, и об этом ему прямо говорит мать: «...то ли дома окочурися в одночасье, то ли где лесиною прижмет невзначай...»

Была в этом рассказе мысль, вложенная в уста Шурыгина: «Ведь все равно же не молились,.. а теперь хай устраивают. Стояла — никому дела не было, а теперь хай подняли». И эта тема, прозвучавшая в «Крепком мужике», не оставляет Шукшина. Он задумывается: так ли на самом деле виноват народ, молча глядевший на разрушающиеся храмы? Отчего они рушатся: от времени, от рук таких «крепких мужиков», поощряемых властью, или от безразличия власти? И тогда, в том же 1969 году он пишет рассказ «Мастер». Герой его, Семка Рысь, в отличие от благополучного бригадира Шурыгина, хоть и забудыга, но — подвижник, одержимый идеей постижения красоты и секретов мастерства, рожденной им при виде церкви в селе Талица. Для него красота определяется не временем создания церкви, как ему говорят умные люди в облисполкоме, — для него она природна, и он готов бесплатно трудиться, восстанавливая красоту. Но его желание постичь «о чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку?» разбилось об отказ властей. И этот духовный рост от «забудыги», как называет его Шукшин в начале рассказа, к человеку был остановлен. «А если случилось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал».

Сам образ разрушающихся, заброшенных православных храмов становился для Шукшина символом утраты нравственности в обществе, реально наметившегося разрушения деревни, ухода из нее молодежи, забывающей родной дом и родителей... И Шукшин пишет сценарий «Калины красной». В нем — та же вечная тема евангельской притчи о заблудшем сыне, вставшем на путь возвращения к людям, земле, матери. Путь Егора Прокудина от жизни вора к истокам крестьянской жизни тяжелый, жертвенный. Мало кто из нас поверит, что во время исхода крестьянской молодежи из деревни к легкой жизни такой случай типичен, но мало кто может усомниться, что он единственно праведный. Оттого так близко к сердцу воспринял народ фильм «Калина красная», не как мелодраму, а как рассказ о поступке человека, который каждый хотел бы совершить в жизни. Для того, чтобы ощутить себя единым народом, объединенным общими нравственными ценностями.

Видеоряд «Калины красной» усиливает эту тему. В первых кадрах, когда Егор плывет по реке, мы видим в ней затопленный храм как символ разрушенной жизни героя. Во второй раз отраженный в воде храм возникает в сцене бегства с «малины». То, что не мог сказать Шукшин-писатель, говорит Шукшин — кине-

матографист. Одна из самых эмоционально напряженных сцен фильма — сцена раскаяния Егора после поездки к матери. В киноповести ее еще нет, но ко времени съемок в Шукшине происходит что-то, что позволило ему снять, как мне кажется, кусок совсем не прокудинской жизни. Помните: Егор останавливает грузовик, выбегает из машины и падает на пригорок, за которым белеется храм. Помните слова, которых нет в сценарии, слова — крик души: «Господи! Прости меня, Господи!...»? Кажется, что это уже не столько слова Егора, сколько самого Василия Макаровича. В последних кадрах фильма из бегущего по реке «Метеора» снова виден храм. Затопленный. Видя его, думается: Егор-то покаялся, а мы? И кровь Егора, как понял и не ошибся народ, это кровь самого Василия Макаровича. Она запекшимися в гроздья капельками в октябре 1974 года, без сценариев и указаний сверху, горела над морем подлинно народного горя, враз навалившегося на всю Россию. Море горя, людское море и алые капельки, капельки, капельки у Новодевичьего...

В том же 1969 году Шукшин пишет рассказ «Залетный». Герой рассказа носит характерное имя Саня Неверов. В самой фамилии этого человека заложена некая позиция к вере. Но он, больной хрупкий человек, неизвестно откуда взявшийся в селе, вызывает жалость и уважение у местного кузнеца не столько к себе, сколько ко всей жизни, данной человеку и мало им ценимой. «Сны матери», «На кладбище», «Осенью», — во многих рассказах размышления писателя о смерти. Но «Сны матери» — особый цикл рассказов, даже не рассказов, а записанных от матери воспоминаний о ее снах. Читаешь, и такое чувство, будто что-то вечное в них, древнее, и небесное и земное сразу. То ли Евангельские притчи вспоминаешь, то ли сказки народные, но чувства светлые, волшебные, истинно детские. В них признание своего природного, стихийного православного восприятия жизни, ясное, не требующее доказательств — это же материнское! И уже ясный путь к православию осознанному.

В Шукшине, и в его творчестве, и в жизни есть то, что глубоко близко русскому человеку — совесть. И это тоже от матери. Когда отца арестовали, за него в семье молились. Через много лет, узнав, что ее сын приезжает домой, в Сrostки, не один, а со своими московскими друзьями, Мария Сергеевна прибрала икону, висевшую в избе. Шукшин заметил, что угол непривычно пуст, и спросил мать, где икона. Та объяснила ему, что она постеснялась гостей и боялась сыну хоть чем-то навредить. На что Шукшин сказал: «Не надо, мама, ты повесь ее».

В статье «Нравственность есть правда» Шукшин говорит о самом сокровенном в своем творчестве. В ней есть очень важные для понимания самого Шукшина слова о том, что одна из главных задач его собственного творчества «...выявить попутно свой собственный запас доброты...» и еще — в жизни и творчестве нести Правду с большой буквы, «...ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью, думать как думает народ, потому что народ всегда знает Правду». Собственно это и есть ключ к пониманию всего того, что Шукшин нес людям: снимал ли кино, писал книги, играл. Оттого русским людям так близко все то, о чем он говорил, и по-толстовски, по-христиански любил людей: и живых, и придуманных им самим.

Что же было в последние годы жизни самого Шукшина?

В апреле 1974 года, когда Шукшин лежал в больнице, близкий его друг, кинорежиссер Р.А. Григорьева, навестила его, оставила Евангелие и уехала на съемки.

На алтайский адрес киногоруппы он и отправил из больницы письмо, полученное лишь спустя год, когда Шукшина уже не стало. Оно многое определяет в вопросах его веры. Евангелие лежало у него под подушкой, и он все время думал: что же там находят другие, и это его злило. А когда он открыл Евангелие и стал читать, его словно обожгло. Для него определился наш общий исход: куда же России без Христа? И признается, наконец: Верую. Верую, как мать в детстве учила: в Отца и Сына и Святого Духа.

Вот я и думаю: а нужно ли спорить? Шукшин явился на этот свет — это такое счастье! Человек, с образом которого и его творчеством в душе каждого русского человека звучат простые светлые слова: Мать, Природа, Земля, Совесть, Душа, Родня, Россия, Правда. А еще — Любовь и Вера.

«В защиту мира»

О киноповести Михаила Ворфоломеева «Полюнь — трава горькая»

Имя Михаила Ворфоломеева прочно связано с небольшим шахтерским городком Черемхово: там он родился, вырос, впервые заявил о себе как писатель и драматург. Опубликованный в 1965 году в газете «Черемховский рабочий» рассказ «Дачница» положил начало творческому пути автора, оставившего немалое литературное наследие: около двухсот рассказов, более шестидесяти пьес и сценариев, десять повестей и два романа. В разные годы автор становился лауреатом премий имени М.А. Булгакова и имени И.А. Бунина, премии за лучшую пьесу о войне, а также премии Всероссийского конкурса драматургов «Мы дети твои, Россия».

Широкую популярность М. Ворфоломеев обрел благодаря пьесе «Полюнь», впервые поставленной на сцене черемховского театра в 1975 году. С. Перевалова, сыгравшая в спектакле главную женскую роль, свидетельствовала о том, что Маша Жаркова на всю жизнь осталась в ее памяти как одна из самых дорогих ее сердцу ролей. «Пьесы М. Ворфоломеева — это наша жизнь со всеми ее горестями, печалью и радостями, и поэтому они так близки и понятны простому зрителю», — так охарактеризовала актриса творчество драматурга.

В 1982 году по сценарию автора режиссером А. Салтыковым был снят одноименный фильм. В центре внимания режиссера оказалась история «о любви, выше которой нет ничего на свете. О том, как взаимосвязаны верность самому себе, своей любви и верность Родине. О том, как жертвенна и великодушна любовь женщины <...> И о человеке, который, не имея твердых принципов, порою становится жертвой обстоятельств и сам, не задумываясь, творит зло» [2]. Актриса О. Прохорова, исполнительница роли Маши, в одном из интервью дала емкое определение проблематике картины: «фильм очень остро выступает в защиту мира» [2].

В киноповести «Полюнь — трава горькая» М. Ворфоломеев повествует о послевоенном времени, о жизни людей, прошедших страшные испытания и пытающихся найти свое место в мирной действительности. Девушка Маша, чудом выжившая в немецком концлагере, спасший ее Трофим, делец Павел, превратившийся в тылу в «мыльного короля», его тихая и безропотная жена Лиза и беспринципная любовница Марта, самоотверженная деревенская красавица Дуся, гордая и справедливая Шура, любящий отец генерал Жарков — каждый из этих героев выбирает свой путь.

Ключом к пониманию проблематики киноповести становится заглавие произведения. Традиционно полюнь предстает как символ горечи и разочарования [2, с. 255] и олицетворяет наказание за грехи и пороки, отступничество и непослушание. Развертывание данного идейно-смыслового значения связано с образом Павла.

Открывает повествование краткая пейзажная зарисовка: «Еще не прилетели жаворонки, уже теплы серебряным звоном ручьи, и ждет земля, когда прогреет ее солнце до той глубины, где лежит ее материнское начало. А по обочинам дороги уже чуть зазеленела среди прошлогодних коричневых стеблей полюнь»*.

*Здесь и далее цитируется по тексту рукописи М. Ворфоломеева.

Описание пробуждающейся природы соотносится с восстановлением мира и окончанием войны. При этом упоминание полыни акцентирует внимание на том, что вокруг еще по-прежнему много зла, которое буквально «прорастает» в людях и их поступках. Именно здесь автор вводит одного из героев произведения — директора мыловаренного завода Павла, который «всего этого не замечал», поскольку «другим был озабочен»: нечестным накопительством, связью с любовницей Мартой.

Счастливое известие о том, что «войне конец», тревожит Павла, опасаясь за свое положение: «Знаю, радость. А вот будут приходить с фронту... им почет и уважение... Придет такой... и меня с места! Я, конечно, не боюсь... Но по-всякому может стать!».

Возвращение с войны собственного брата сопряжено для него, в первую очередь, с материальной выгодой: «И наш вернется. Да еще как навезет, заграничное, мать, нынче дорого! <...> В чинах придет, с медалями. Мы ему место подберем, уберем старика Кулишова, и его — завбазой! Нынче очень выгодно завбазой».

В разговоре с Дусей Павел подвергает сомнению самое святое — надежду на то, что смерть обойдет стороной, если верно ждать и надеяться: «Про то, что вернутся, еще не сказано, а я вот — живой, при галстукке. А какие те придут, еще неизвестно. Да и придут ли...».

Идея отступничества связана также с образом Марты, городской любовницы Павла. Ее обособленность, чуждость людям, живущим надеждой на возвращение родных и любимых, подчеркивается важной деталью: ее дом стоит на отшибе, и дорога от него располагается «далеко в обход». Окружающее ее пространство — пространство мертвое: «Валялись рваные сапоги, догнивали сани. Но самое неприятное — это то, что не было живности». Как контраст предстает описание Лизы, жены Павла, создающей вокруг себя пространство гармоничное.

С символикой полыни связана также проблема духовного самосохранения. Известно, что название растения (*Artemisia*) переводится с греческого как «дающая здоровье» [3]. Полынный настой олицетворяет в повествовании горечь обид и разочарований, сделавших сильнее тех, кто остался верен своим духовным принципам и идеалам. Так, исцеляет отвар Лизу, простившую мужу очередную измену: «Стала пить Лиза, потек по подбородку настоек».

— Горькая, — только и сказала.

— Полынь, родная, — ответил ей Авдей. — А полынь — трава горькая...

Пьет, пьет Лиза настоек, и возвращается к ней жизнь...».

Духовно искалеченную немецким концлагерем Машу старуха Авдотья тоже отпаивает горьким настоем целебной травы: «А тебе, дочка, зелья сварю. Из простой травы, полынь называется. Трава простая, а полезительная. Попьешь — поправишься». И смягчается душой осторожная Маша, впервые называя Трофима «милым».

Первое совместное мытье Трофима и Маши в бане связано с сакральным актом очищения и возрождения. Характерно, что здесь вновь упоминается полынь: старик Авдей оставляет для них в банной кадке травяной отвар.

Нравственная чистота героев позволяет им противостоять злу и несправедливости окружающего мира: вопреки всему сохраняет веру в добро пережившая ужасы концлагеря Маша, не отказывается от своей возлюбленной Трофим, а Дуся, верно ждавшая его с войны, принимает его выбор и ни в чем не винит, тихо уходит Лиза, не затаив обиды ни на неверного мужа, ни на разлучницу Марту, достойно переживает предательство отца Шура.

Еще один смысловой аспект, обращающий к символике полыни, — идея сохранения памяти. Принято считать, что именно эта трава способна вернуть человеку память. Для героев М. Ворфоломеева важно сохранить даже самые страшные воспоминания: о войне, о смерти, о постигшем людей горе. Так, вернувшаяся из плена Маша не помнит ничего, но такое беспмятство не позволяет ей обрести покой в мирной жизни.

Память о пережитом становится для героев «Полыни» своего рода инициацией. Когда возвратившийся домой Трофим припадает к родной земле лицом, прошедшее вновь живо встает перед глазами. При этом герой чувствует, как склоняется над ним густая полынная ветка.

Жива память и об умершей Лизе, что вновь подчеркивается символической деталью — упоминанием полыни: «Вокруг старых могил трава уже пожухла, только полынь еще все зеленая, хотя и ей скоро к зиме высохнуть надо. Шура могилку убирает, а с фотографии глядит на нее молоденькая Лиза, глядит, улыбается...».

Описание наступившей весны в финале закольцовывает повествование: «Весна подошла. Земля оттаяла, заблестели лужи, и воробьи, радуясь солнцу, заплескались в талой воде. В это время тихо в поле. Еще не прилетели жаворонки, уже отпели серебряным звоном ручьи, и ждет земля, когда прогреет ее солнце до той глубины, где лежит ее материнское начало. По обочинам дороги уже едва зазеленела среди прошлогодних коричневых стеблей полынь».

Символика полыни раскрывается здесь уже в ином смысловом ключе. Если в начале произведения трава предстает как символ горечи, то в финале она знаменует торжество добра, которое воплощают люди, не изменившие своим принципам. Финал произведения примиряет героев: осознает свою вину Павел, уезжает Марта, а Трофим и Маша, преодолев все испытания, вновь обретают друг друга.

Литература

1. Купер Дж. Энциклопедия символов / Дж. Купер. — М.: Ассоциация Духовного Единения «Золотой Век», 1995. — 401 с.
2. Полынь — трава горькая. Рецензии на спектакли [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.kino-teatr.ru/teatr/art/teatr/690/>.
3. Чванина Г. Семь символических растений Библии: полынь [Электронный ресурс]. — URL: <https://kazanocheka.livejournal.com/549225.html>.



*Памяти русского народного
писателя Василия Шукшина*

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

**Тяжесть креста:
Воспоминания о Шукшине**

...Василий Макарович Шукшин, как мне представляется, был максималистом, его жизненный путь усыпан максимальными трудностями, максимальными замыслами, а то, что им свершено, останется в русской культуре. (Являются ли максималистами Тарковский или, скажем, Евтушенко? Решите, читатели, сами...)

Вот примерно таких взглядов я придерживался во время моего знакомства с Макарычем. Наша многолетняя дружба случайной не была.

Тяжесть шукшинского креста с годами все увеличивалась, но Макарыч шел на свою Голгофу, не оглядываясь и не озираясь. «Как горько мне было уезжать!» — говорит он о первой, еще краткой разлуке с родным домом. Вторую разлуку Шукшин описывает так: «Душа потихоньку болит — тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди».

Поступление его в техникум я назвал первым вполне осмысленным броском из крепких материнских рук, из прочных деревенских объятий. Сельский парнишка, лишенный не только родного отца, но и отчима, становится мужчиной, берет на себя ответственность за мать и сестру.

Учиться! Учиться во что бы то ни стало, чтобы, во-первых, облегчить ношу, сдавившую материнские плечи. Но какое надо было иметь упрямое мужество, чтобы отказаться от учебы и привезти обратно к матери «постельную принадлежность», когда почувствовал, что автомобильный техникум — это совсем не то, что надо нечто другое, что для этого другого необходимо двигаться в европейскую часть государства. «Почувствовав полтора года, бросил учебу, пошел работать, — пишет Шукшин в автобиографии 1973 года. — Работал сперва в колхозе, потом с 1947 на стройках...» Стоп!

Прервем на минуту наше повествование, осмыслим, чего это стоило матери, Марии Сергеевне. Из техникума он ушел и уехал с Алтая. Ближе к Москве...

Но вот и первая серьезная радость: денежный перевод родным на Алтай. Не ахти сколько, но все же... Где только ни носило, кем только ни вкалывал, чтобы самому прокормиться, одеться-обуться, да и послать денег в Сибирь. Такелажник на строительстве турбозавода в Калуге, слесарь на тракторном заводе Владимира,

слесарь на ремонтно-строительном поезде ст. Щербинка... И почти с каждой полочки — переводы в Сибирь. Немного, но душа смягчалась от почтовых квитанций, эти переводы не давали ожесточиться.

В такой тревоге за будущее сестры и матери настигла Шукшина необходимость служить действительную. Военно-морской флот, Ленинград...

Флотская романтика (тельняшка, бескозырка, военные корабли) слегка скрасила суровость матросской жизни, но никуда не делись ни заботы о матери и сестре, ни почти несбыточные мечты о десятилетнем образовании. Появляются друзья из офицерской и матросской среды. Другой мир, другие впечатления! А вот и Черное море, солнечный город Севастополь, отстроенный после кровавой войны, город сопок и флотских музеев, пронизанный золотыми лучами русской истории. Здесь Василий Шукшин становится старшим матросом-радиотом. Должность хоть и невелика, но позволяет ежеквартально скопить денег и послать на Алтай. Но где же среднее образование? Его нет... Время идет, вот уже и на третий десяток двинуло. Аттестат зрелости даже и не маячит, он все еще в морской дымке... Как повернется судьба после службы? И далеко ли уедешь на морзянке и художественной самодеятельности? Свистеть умеешь так, что ребята в восторге... Тужи не тужи, служба быстрее не победит. Одно спасение — новые книги, да еще кое-что начал на досуге записывать.

В январе 1953 года Военно-медицинская комиссия из-за язвенной болезни списала старшего матроса Шукшина с корабля... Прощай, Черное море. Поезд стучит колесами по снежной бесконечной России, стучит и сердце — то тревожно, то радостно. Час за часом ближе и ближе к родным. Вот и Алтай за окном! Как-то там, в Сростках мать и сестренка? Мелькают один за другим березовые колки. Но лишь в Бийске, когда выбрался на Чуйский тракт, почувствовал, что теперь он дома, минутное дело — и Сростки.

Вот и знакомый заборчик с родимой калиткой. Радостным визгом встретил Шукшина пес Борзя, в слезах выбежали из дома Мария Сергеевна и подросшая сестра Таля, прибежали соседи. Что тут началось! Не мог и сам удержать счастливых слез...

При первой возможности, после застолья, когда утомонились родственные восторги, накинул шинель, вышел к реке. Взглянул в сторону гор, окинул поспешным взглядом заснеженную тополиную рощу на Поповом острове. Тихо. Только в камнях глухо шумит незамерзшая часть родимой реки. Скорей на Пикет! И когда вышел на громадный крутолобый и широкий увал, добрался до того места, где резко и круто, почти под ногами обрывается он, захватило дух от простора, от бескрайности отцовской земли, заплакал чуть ли не в голос. Оглянулся. Никого вокруг не было... Чуть не бегом спустился с Пикета. Пришел в себя около сестры и матери, слегка успокоился и только после этого начал ходить по родне, кого не успел встретить на чаепитии. Хотелось обнять каждого, даже незнакомого встречного. Но главный визит после родственников — школа, библиотека. Не пропадем! Сразу же, не теряя ни одного дня, в рукопашную за учебу...

А Катунь глухо и спокойно шумела за шукшинской спиной, весна торопилась в Сростки. Небо разверзлось над Пикетом еще светлее и шире, еще дальше стала видна родная Сибирь.

Да, пожалуй, и некогда любоваться меняющимися по цвету просторами, обложился учебниками. Прорвемся, он обязан взять эту крепость! Заветный аттестат зрелости даже снился во сне. Зрелости? Какой такой зрелости, он давно созрел,

вот залечить бы только проклятую язву. Мать достала у знакомых пчелиного меду. А пчелки уже летают по сибирским цветочкам. Как прекрасна земля в цвету!

Визит в райком не исчез бесследно. После того, как поставили на учет, Шукшину предложили работу в Сросткинской школе. В том же 1953 году Шукшин становится вторым секретарем Сросткинского РК ВЛКСМ, о чем свидетельствует К. Николаенко в барнаульской газете «Голос труда»: «... я был в командировке в Бийске. В номер гостиницы, где я жил, поселили второго секретаря Сросткинского райкома комсомола В.М. Шукшина». («Голос труда» от 31.12.99.) В автобиографии 1973 года Шукшин не упоминает об этой работе, он как бы стеснялся ее афишировать. Слишком не совпадал данный кусок жизни с судьбой расстрелянного отца, судьбой всей родни, да и всей биографией самого Макарыча! Со мною он говорил об этом эпизоде с улыбкой, и то потому, что я тоже прошел партийную школу.

...Казалось, матросский период благополучно завершен, но снова появилась изжога, язва не зарастала. Сколько же раз глотать эту жуткую кишку? Гастроскопия вновь подтвердила диагноз, а учеба в полном разгаре. Работа нашлась, и женитьба приспела — а куда от нее денешься? Лихая была пора для Макарыча, ничего не скажешь! Подсобляли ему все: мать и сестричка, родня отцовская и материнская, учителя и дружки-одногодки, работники клуба и сросткинской библиотеки. Наконец победа, сдан последний экзамен, получен заветный аттестат зрелости!

Как досталась матросу эта победа, Макарыч особо не распространялся, никогда не рассказывал он и о первой женитьбе... Только глухо покашливал, переводил разговор на другие темы. Все эти годы он тайно вынашивал план второго броска на Москву. По-видимому, как раз весной и летом 1954 года он твердо решил покинуть Алтай. Наверное, великая жалость к жене, матери и сестре точила ему сердце, когда он думал о своих планах. Для будущих честных биографов Шукшина не помешает и сценарий «Позови меня в даль светлую», и нехитрая сибирская песенка «Миленький ты мой», и некоторые рассказы, пронизанные болью не только за мать и сестру, но и за женщину, оставленную в Сибири. Разрыв с этой женщиной был предопределен переездом в Москву, которая не верит никаким слезам.

Только мать Мария Сергеевна простила ему все, что связано с новой разлукой; жена, кажется, не простила... К тому времени скопилась порядочная папка с рукописями, пресловутый аттестат зрелости вместе с этими рукописями подбадривал Шукшина. Он скопил какие-то деньги, поднапрягла семейный бюджет мать, и к осени 1954 года он все бросил и ринулся в Москву. Словно с головой прыгнул в холодный омут! Что ждет его? Какие напасти припасает судьба, как «опружить» эти напасти? Надо поступить в институт, чего бы это ни стоило!

Бывший матрос трусливым не был. Без колебаний отыскал он калитку на Тверском бульваре. Редакцию журнала «Знамя» он вряд ли заметил, но по скверу Литературного института шагал с замирающим сердцем. Бронзового Герцена в то лето тут еще не стояло. Шукшину не понадобилось заходить в главное здание, на фронте которого красовались знаменитые музы. Приемную комиссию он обнаружил во флигеле. На какого цербера нарвался Шукшин со своей рукописью? Или какая-то серая московская галка пропищала жестокую фразу? Надо пройти конкурс. Художественный, причем... Исписанную от руки пачку листов даже не стали читать. Сердце его обрушилось. Что ж, конкурс, значит конкурс...

Мне не известно, кто завернул Шукшина из Литературного института... Сейчас, осмысливая шукшинский провал с Литинститутом, я думаю, будь на месте первого встреченного на шукшинском пути в вуз не цербер и не бездушная дамочка, а сам ректор Иван Николаевич Серегин, он бы разглядел в матросе то, что надо. И неизвестно, по какому пути пошел бы дальше Василий Макарович Шукшин, то ли скользкой тропой всяких эйзенштейнов, то ли каменистым шляхом Шолохова.

Так решаются судьбы русской культуры: то гавкающими церберами, то ехидным щебетом столичных пташек. Шукшин повернулся и вышел. Он был близок к отчаянию. Ведь в ту пору еще не было в Алтайских горах ледника с его именем, не было бюста в родном селе. Планета имени Шукшина в небе тоже явилась намного позднее...

Провидение отвело его от Архивного института, куда он поступал параллельно с ВГИКом. Вот он стоит перед не менее опасными дамочками, не допускающими случайных людей ни к литературе, ни к искусству. Велика Россия, бездонна и неисчерпаема! Безблагодатна пока столица ее Москва, несмотря на святые соборы. Но попадают и в Москве сибирские мужики вроде Пырьева либо Охлопкова...

Осенью 1954 года насмешники тиражировали анекдоты про алтайского парня, вознамерившегося проникнуть в ту среду, где, по их мнению, никому, кроме них, быть не положено, взобраться на тот Олимп, где нечего делать вчерашним колхозникам. Отчуждение было полным, опасным, непредсказуемым. Приходилось Макарычу туго среди полурусской, а то вовсе не русской публики. Часто, очень часто он рисковал, без оглядки ступал в непроходимые дебри.

Спасали его книги, спасали, но не спасли. Даже будучи признанным всею страной, он шел по долине и озирался каждую секунду, ожидая ядовитого укуса, змеиного броска. Как ему еще удалось так далеко пройти по этой змеиной долине? Его кончина для меня и сейчас так внезапна, так нелогична, я просто не буду о ней рассказывать...

Смерть Шукшина, на мой взгляд, подобна смерти Есенина. Шипенье змей продолжается, яд копится, истекает с их гнусных зубов даже после смерти Макарыча. Змеи, вернее, черти, захватившие монастырь, пишут этим ядом нашу историю... Прочтите хотя бы «юбилейную» статью Юрия Богомолова в «Известиях» от 30 июля 1999 г. Вы убедитесь, что шельмование шукшинского наследия за четверть века отнюдь не прекратилось.

* * *

Главным событием для русской культуры, по моим представлениям, стала его пьеса, где сказочный Илья Муромец бросил сакраментальную фразу, давшую Шукшину название произведения: «Ванька, смотри!» Этим «смотри!» неожиданно и странно погибший Шукшин сказал свое завещание друзьям и всем, кто считает себя русским. Горестные размышления о последующих российских событиях лишь подтверждают, что как раз эти слова и есть подлинное завещание Макарыча.

Змей Горыныч вновь сделал для нашей Родины все, чтобы ее оскорбить и унижить. Русские люди клюнули на перестроечную приманку... Пословица «нет худа без добра» здесь неуместна. Мы просмотрели даже трехмесячные жестокие бомбардировки Югославии. Оставили дружественную Сербию наедине с натовскими башибузуками. Кажется, что и до сих пор Ванька не совсем понял, с кем дело имеет и что его ждет. Сидя у телевизоров, мы подставили свои уши для очередной идеологической лапши. Эту лапшу бжезинские и киссинджеры старательно варят для нас в десятках и сотнях американских университетов. Вся жизнь и все творчество Василия Шукшина разве не доказывают правоту подобного утверждения?

Никогда не был я рьяным любителем кинематографа, считая кино синтетикой в искусстве. Об этом я твердил в своей публицистике еще при жизни Макарыча. Может быть, потому и пропустил фильмы с участием Шукшина. (Даже хуциевскую ленту «Два Федора», одну из лучших актерских работ Макарыча, смотрел с большим запозданием.)

Впервые я услышал о Шукшине году в 56-м, от вологодского поэта Игоря Тихонова, активного и весьма способного участника местного литобъединения. Мы собирались в редакциях газет, обсуждали свои опусы, спорили, но время так называемой «оттепели» никто из нас не почувствовал. Насколько помнится, всю жизнь стояла идеологическая «холодьюга»... Тихонов был знаком со всеми актерскими работами Шукшина, с восторгом встретил он и его первую книжку «Сельские жители». Сам Игорь был незаурядной, несколько бесшабашной личностью, из числа тех русских парней, которые из-за войны и нужды не имели ходу в культурную привилегированную среду.

В один из моих приездов на Вологодчину он рассказывал о Шукшине, о его работе в «Двух Федорах», о первой шукшинской книге. Где-то я приобрел «Сельских жителей» и поразился удивительному сходству своего и шукшинского детства. Через издательство я послал автору письмо, где восхищался рассказами. Вначале я даже не думал о личной встрече с Шукшиным. Со всем пылом неопита осваивал Москву. Четыре десятка однокурсников составляли пеструю публику. Москва вскармливала своих будущих недругов. Однажды кто-то из студентов заглянул в мою комнату и попросил сходить на тот этаж, где проживал один белорусский сценарист. Мне сказали его номер. Я нашел комнату, постучал. Все стены были увешаны страницами очередного киносценария. Свой рабочий стол киносценарист уступил мужчине средних, как мне показалось, лет. Он сутуло сидел за столом прямо в темно-коричневом зимнем пальто. Обернулся на мой приход с широкой, но несколько грустной улыбкой. Произнес глуховато:

— А, дружище, так это ты Белов? Придется нам познакомиться...

— Это Шукшин, — сказал несколько недовольный киносценарист.

Я за руку поздоровался с обоими. Присел на свободный стул. Мы обменялись несколькими дежурными фразами.

И для Шукшина, и для минского киносценариста я был всего лишь студент, которому не положена отдельная комната. Я испытывал неловкость и вскоре ушел, сообщив номер своей комнаты.

Вскоре я вновь встретился с Макарычем. Это было в пору его работы над фильмом «Живет такой парень». К этому времени я каким-то образом тайно от коменданта занял свободную комнату и благодаря этому за две недели написал повесть «Деревня Бердяйка», с которой и началась моя прозаическая деятельность. Мою «Бердяйку» напечатал в своем альманахе Борис Зубавин.

Однажды Лев Ошанин устроил нам экскурсию на «Мосфильм», и я впервые наяву увидел, как делаются кинофильмы. Мне это совсем не понравилось...

Встреча с Шукшиным произошла в то время, когда он разводился со своей «библиотекаршей». Семейные неурядицы были у нас с ним, конечно, разные, но во многом иногда одинаковые: мы оба, как могли, противились благоглупостям своих жен, зараженных женской эмансипацией. Не избежал подобной опасности и Шукшин, когда женился на Федосеевой. Макарыч не скрывал от меня и от Заболоцкого своего весьма тревожного семейного состояния, усугубляемого напряженной идеологической обстановкой в Москве. Мое настроение было не лучше шукшинского, но тут я слегка забегаю вперед...

Осенью, кажется, 1964 года, после очередного нервного срыва он безуспешно гасил свое отчаяние сухим вином. Мне хотелось хотя бы на время оторвать его от семейного дискомфорта, от недружелюбной киношной среды, и я предложил ему поехать ко мне в деревню. Он согласился охотно.

Далеко не в лучшем духовном и физическом образе мы приехали в Вологду. Я познакомил его с женой Ольгой Сергеевной, показал закуток, где уединялся для работы (темная непроветриваемая кладовка площадью 2,5 кв. метра). Там умещался лишь стол и стул. Матери Анфисы Ивановны дома не оказалось, она пестовала в ту пору моих племянниц. (Знакомство Шукшина с матерью состоялось позже, когда родилась моя дочь Анюта.)

Мы переночевали и утром уехали пригородным поездом Вологда — Вожега. [Потом] мы дождались мотовоза и влезли в его грохочущее нутро. Моторист не узнал в Шукшине киногероя, чему Макарыч, кажется, был весьма рад, и несколько повеселел, болтал с ним о том, о сем. Машина сильно гремела, качалась на каждом стыке, угрожая сойти с рельсов, что придавало нашему продвижению некоторую, связанную с риском, романтику.

На 41-м километре мы покинули мотовоз и отыскиали в лесу тропку, ведущую в родную мою сторону. До Тимонихи осталось километров двенадцать. То по вырубленному лесу среди ягодников, то по невырубленному мы отошли от УВД. Мотовоза давно не слышно. Лесная предосенняя благодать окутала нас нежно и властно: Макарыч крикнул от удовольствия.

Я рассказал, как чуть не четыре года служил под началом Лаврентия Павловича, как поклялся приехать с гражданки и плюнуть в лицо одному капитану. Теперь пришла очередь смеяться Макарычу:

— Ну что, выполнил клятву?

— Нет, прособирался... Так и не съездил.

Оказалось, Шукшин тоже имел отношение к морзянке. Мы прислушались к свисту рябка, затаившегося в ельнике. Я рассказал, как с помощью азбуки Морзе высвистываю рябчиков на охоте. «А меня списали с корабля из-за язвы желудка, — сказал Макарыч. — Приехал домой с язвой, лечился медом. Мать и сейчас говорит: сходил бы ты, сынок, к еврею... — Он опять засмеялся. — К какому еврею, мама? Врачи и так чуть не все евреи. В кино, говорю, их еще больше».

Было приятно, что Макарычу стало веселее в моем лесу.

Мы шли не торопясь все двенадцать километров, прошагали часа четыре. Осенний лес был не то что летний или весенний, кишачий птицами. Сейчас все было спокойно, лишь иногда стукали дятлы и тонко свистели рябчики. Природа готовилась к зимнему сну. Шукшин совсем повеселел, он вышагивал рядом, если позволяла дорога, отставал, когда она становилась тропой. Он рассказывал о своих детских эпизодах с алтайскими змеями, а я похвастался, что в моем лесу не водятся даже безобидные ужи, не говоря о гадюках.

— Почему? — спросил он.

— Холодно, они тут вымерзают.

Я поведал ему, как пас однажды коров и заблудился. (История описана в этюде «Иду домой» и в повести «Привычное дело».)

Лесное безмолвье изредка прерывалось звучными очередями. Эту пулеметную дробь запускали дятлы, смело долбившие своими носами сухую древесину. Я вспоминал Александра Яшина с его незабвенным Бобришным угором. Для чего дятлы долбят?

Мы поговорили о головной боли, которая почему-то никогда не преследует эту нарядную птицу, но тайга навевала Шукшину другие, более трагические темы. Он говорил о народных страданиях, о лагерях...

Но лес моей родины кончился, мы незаметно подошли к заросшим ивой и ольхою полям, где я провел детство и раннюю юность. Макарычу была интересна любая деталь...

Мы вышли в поле, Макарыч сравнивал наши неброские поля с родными алтайскими. Рассказал о раскулачивании в Сростках, о расстреле отца. Он знал подробности по рассказам матери, да и сам кое-что помнил. Таинственное, полученное однажды письмо, конечно, не оправдало его предположений о том, что оно прислано родным отцом. Этот случай он рассказывал мне несколько раз...

Разговор о них, о «французах», как тогда говорилось [про евреев], продолжался уже в моем обширном доме, где все было как и прежде.

Мы скинули рюкзаки и затопили русскую печь. Четвертинку водки, спрятанную в моем рюкзаке, я поставил в шкаф. Далее сюжет развивался так: едва мы успели переночевать, радио объявило о Дне колхозника. Бабы позвали меня на общий праздник играть на гармони, Шукшин идти отказался. Я не настаивал и дал ему несколько книг. Показал, где стоит чекушка и что поест. Ушел я «пировать» со старухами в крайний, уже нежилой дом.

Имевшиеся в наличии старухи и бабы, несколько мужиков из Тимонихи и Лобанихи — вот и вся наша когда-то многочисленная бригада. Сдвинули два стола, разложили какие-то пироги. Бригадиром тогда был Вася Смирнов. По прозвищу Опаленный. Все лицо у него в красных рубцах, горел в танке. Смирновым принесена была водка и чья-то гармонь. (Своей гармошки у меня в ту пору, кажется, еще не имелось. Или она оказалась неисправной.) Я так обрадовался встрече с земляками, что забыл и про гостя, которого одного оставил в своем доме. Вскоре женщины затащили неизменного «Хас-Булата», спели некрасовскую «Коробушку», а затем им захотелось и поплясать. Мне пришлось взять гармонь. Думаю, сыграю разок и домой...

Раньше плясали у нас по двое, но когда гостей много, то переходили на пляску «кружком», то есть все вместе. Выкладывал я все свое умение, старались и мои земляки, вернее, землячки. Мужчин было всего двое-трое, и они не плясали. (В 1999 году я с ужасом обнаружил, что и землячек уже осталось в живых всего две. Моя родина вымерла.) Вдруг в бабьем кругу появилась высокая мужская фигура. Я обомлел — Шукшин! Он плясал с моими землячками так старательно и так вдохновенно, что я растерялся, на время сбился с ритма. Но сразу выправился и от радости заиграл чаще. Не зная бабьих частушек, Макарыч ухал и подскакивал в пляске чуть не до потолка... Плясал же он правильно, так же, как наши бабы, я видел его пляску уже во второй раз, о первом рассказу ниже. (Позднее, когда смотрел фильм «Печки-лавочки», я окончательно убедился, что на Алтае пляшут точь-в-точь, как и у нас на Севере, с индивидуальными вариантами. Одинакова оказалась не одна пляска, но и многие песни, и пословицы, и форма слогов, и названия упряжи или другой утвари. Родство с Алтаем было полным, причем не только с Алтаем, но и с Хабаровским краем... Не мудрено: Ерофей Павлович, мой земляк, дал название железнодорожной станции. Валентин Распутин, побывавший на Вологодчине, тоже во всем улавливал это родство.)

Шукшин плясал вместе с женщинами, пока в сених не завязалась драка. Два мужика, пришедшие из Лобанихи, сводили счеты, оставшиеся еще с войны и свя-

занные с женой одного из них. Драчунов женщины успешно вытолкали из коридора на улицу, а на ворота накинули крюк. В горячке я тоже хотел было стать «миротворцем», то есть ввязаться в конфликт, топорщился и азартный Макарыч. Тем временем бабы передали гармонь другому игроку. Мы спели еще «Златые горы», поговорили, и я увел Шукшина домой.

Мы продолжили День колхозника уже вдвоем. Сидели за столом у окошка и пели. Спелись в прямом смысле, где забывал слова я, там вспоминал их Макарыч, где забывал он, там подсоблял я. И сейчас помню глуховатый его голос. Спели «По диким степям», «Александровский централ», «Шумел, горел пожар московский» и еще что-то. Так оставленная в шкафу чекушка разбредила Шукшину душу, он не выдержал одиночества и прибежал в дом, где праздновали женщины. Завершился «день колхозника» походом за речку в гости к моему приятелю Фаусту Степановичу.

Личность моего приятеля была примечательна не только странным именем Фауст. Он был потрясающий рыбак. Поклонник генералиссимуса Сталина, он в самые азартные годы гонений на исторического вождя не снимал со стены газетную вырезку с фотографией Рузвельта, Сталина и Черчилля. Сам он оставался колхозником, редко и нехотя работавшим в «коллективе». Все время устраивался то пожарником, то дорожником. Моя мать не любила его как раз по этой причине, однако мои отношения с Фаустом Степановичем были почти всегда отличными, пока он не начал требовать от меня того, что от меня никак не зависело. (Например, чтоб я снял с должности председательшу. Мы рассорились с Фаустом как раз на этой почве, но в пору приезда Макарыча жили весьма дружно.) Я даже устраивал Александра Яшина на ночлег к Фаусту, когда Яшин простуженным приехал в Тимонику.

Помню, мы с Макарычем долго сидели у Фауста за самоваром, слушали рыбацкие и лесные истории. Мужик всегда изъяснялся образами, например: «Чего задумался? Пусть думает мерин, голова у него больше». Или: «В нашей конторе стуликов не хватает, дак сидят и на подоконниках». О рваных сетях он говорил: «Наша рыба дыр не боится». Макарыч быстро нашел с Фаустом общий язык, а Заболоцкий позднее дружил с рыбаком до самой его неожиданной кончины. (Фауст пошел утром поить лошадь и не вернулся, умер прямо в конюшне.)

...Мы с Шукшиным ушли от Фауста глубокой ночью. Фауст благословил нас свежей рыбы на завтрашнюю уху, я взял, сколько вместилось в кепку, и мы двинулись в ночь. Небо светилось от звезд, а внизу стоял плотный туман. Полное безмолвие окутало мою родину. В ночи с севера на юг бесшумно летело какое-то яркое небесное тело. Мы приняли его за метеорит, но оно летело какими-то странными зигзагами, оно как бы кувырчалось в ночной мгле... Моя деревня мерцала в тумане всего одним огоньком. Лавы через речку оказались узки, я поскользнулся, поддерживая Макарыча, и мы оба полетели с них долой. Воды в речке было всего по пояс, Макарыч тотчас выскочил, а я со смехом ловил в темноте уплывающих рыбок. Они уплывали от нас по течению, но часть из них я изловил и утром сварил уху. Печь к этому времени стала еще теплей, и Шукшин полюбил это место, вспоминая мать и прежнюю пору. У меня было точно такое детство, как у Макарыча, только нас осталось без отца пятеро. Мы говорили о странных именах, которые давал наш священник, о Яшине и Федоре Абрамове, о его повести «Безотцовщина», о яшинских «Рычагах».

На следующий день я истопил для Макарыча баню и повесил ему на печь

керосиновую лампу. Вновь зашла речь «о них». Кто был Андропов, который дамочковым мечом висел над нашими темечками? Бог знает. Шукшин в тот вечер прочитал кое-что из моих писаний и посоветовал закопать их где-нибудь в доме, где нет пола. (Позднее я так и сделал.) Сидя внизу, я слышал, как Макарыч рванул на груди рубаху...

Через три дня он начал торопить меня с отъездом. Мы ушли за семь километров на центральную усадьбу, выехали на автобусе в Харовск. В райцентре нас встретили районные слишком гостеприимные журналисты, и мы начали гуртом ходить «по избам», как выражалась Ольга Сергеевна. Проходили «по избам» вплоть до архангельского поезда. Вечером покинули мой райцентр, но в Москве выгрузились без моего рюкзака. С похмелья и в суете оставили поклажу в поезде. Я несколько раз писал в Архангельск и железнодорожному начальству в Москве. Но ни из Москвы, ни из Архангельска ответов не последовало. Рюкзак так и канул. Кто-то сильно обзарился на наши рукописи и пироги с рыбой Фауста Степановича. Шукшин лишился рукописи очередного киносценария, а я повести «Плотницкие рассказы». Ладно, что у того и другого оказались дома вторые экземпляры.

Шукшин писал после поездки:

«Вася! (До чего у нас ласковое имя! Прямо родное что-то. Хоть однажды скажи маме спасибо, что ты не Владимир, не Вячеслав...) Здравствуй, друг милый! Письмо твое немного восстановило в душе моей «желанное равновесие». Ты — добрый. Как мне понравилось твое ВОЛОГОДСКОЕ превосходство в деревне! И как же хорошо, что эта деревня случилась у меня! У меня под черепной коробкой поднялось атмосферное давление. А ведь ты сознательно терял время, я знаю. И все-таки: помнишь ту ночь с туманом? Вася, все-таки это был не спутник, слишком уж он кувыркался. А внизу светилося только одно окно — в тумане, мгле. Меня тогда подмывало сказать: «Вот там родился русский писатель». Очень совпадает с моим представлением — где рождаются писатели. Ну, дружка, а за мной — Сибирь. Могу сказать, что это будет тоже хорошо. У меня так: серьезно, опасно заболела мать. Ездил домой, устраивал в больницу. И теперь все болит и болит душа. Мы — не сироты, Вася, пока у нас есть МАТЕРИ. На меня вдруг дохнуло ужасом и холодным смрадом: если я потеряю мать, я останусь КРУГЛЫМ сиротой. Тогда у меня что-то сдвигается со смыслом жизни. Быт? Родной ты мой, ну, а что делать? Что делать?!! Одному жить невозможно. Не пишу. Ездил домой, потом ездил в Югославию. Кажется, это последний раз, что меня посылают за границу. Я перепутал Белград с Тимонихой. Ну и черт с ними! И в России места хватит. Тебе известно, что Ершов отказался от твоей повести? Я тебе говорил, что это... Не горюй, Вася. Глупо звучит, но не горюй.

Маня растет. Обнимаю тебя. Шукшин».

Даты на письмах он никогда не ставил, это письмо было уже зимнее. В своем письме ему я, вероятно, жаловался на свой быт. Можно бы прокомментировать каждую шукшинскую строчку, но стоит ли?

* * *

Таково предисловие к поспешному описанию наших многолетних дружеских отношений.

Эта рукопись была бы написана лет двадцать назад, если б не одно странное обстоятельство, для читателя, если таковой будет, вряд ли это обстоятельство интересно, и все-таки я должен объяснить. Почему я так долго не осмеливался браться за шукшинскую тему? Дело в том, что я как-то стеснялся откровенно рассказать о наших отношениях с Василием Макаровичем, поскольку многие эпизоды его судьбы до смешного схожи с моими. Впрочем, смешного в этом сходстве мало... Оно скорее трагично. Разница в нашем возрасте невелика. Его отец расстрелян во время раскулачивания, мой погиб на войне. Велика ли тут разница? Одни ненавистники нашего государства подчеркивают разницу в потерях военной поры с потерями предыдущих периодов. Для меня в этих потерях особой разницы нет. Гражданская война и троцкистская коллективизация ничуть не дешевле обошлась русским, чем наши жертвы во время Великой Отечественной.

Шукшин (...) написал пронзивший меня рассказ, как мать с детьми добывала зимой дрова. Со мной все было так же, один к одному. Именно после того рассказа я осмелел, набрался нахальства послать автору благодарственное письмо. Ответ на него затерялся среди других писем, но я запомнил характерную фразу: «Авансы мне выдал большой, теперь придется отрабатывать...»

Как Шукшин «отрабатывал» мой «аванс», видно хотя бы из воспоминаний Анатолия Заболоцкого. Макарыча даже не прописывали в Москве, его выпустили из ВГИКа с волчьим паспортом. Он жил в столице нелегально, подрабатывал игрой в каких-то случайных, порою бездарных фильмах.

Феномен массовости стал главной решающей причиной того, что Шукшин посвятил себя кино — этому общественному идолу. Идол, правда, долго не уступал шукшинскому напору. Как норовистый жеребец, он больно кусался, лягался задом и передом. Нужна была незаурядная смелость и неподражаемая сибирская энергия, чтобы одолеть этого жеребца, на что Шукшин тратил почти все свои силы. Писательство оказалось для Макарыча на втором плане. Но письмо Леонида Леонова, насколько мне известно, подействовало на него довольно сильно... Впрочем, письмо Леонова и встреча с Шолоховым были позднее. Вначале же он был непреклонен, держался кинематографа и судорожно искал непродажных друзей среди земляков и столичного бомонда.

Наверное, с этим обстоятельством связан один характерный эпизод, происшедший вскоре после нашего с ним знакомства. Мы ехали однажды по столице ночью в такси, причем Шукшин был чуть «под мухой». Вероятно, он на ходу соображал, где бы ему ночевать. Тогдашняя Москва среди глубокой ночи становилась совсем пустынной. Шукшин остановил машину напротив Савеловского и вылез. Шофера не отпускал. Я не мог оставить своего нового друга одного среди ночи и тоже вышел из машины. Друг же неожиданно принял боксерскую стойку. Начал он задиаться и провоцировать меня на драку: «А ну, давай, давай, отбивайся!» И начал прискакивать вокруг меня. К боксу я был всю жизнь равнодушен и, хотя было обидно, отбиваться не стал. Шофер с любопытством глядел на нас из работающей машины. Шукшин сделал слабый непрофессиональный выпад, я оттолкнул его руку. «А, а, трусишь!» Я в сердцах уселся в кабину и хлопнул дверцей. Он сделал то же самое. Мы долго молчали. Таксист терпеливо ждал. Шукшин, смеясь, обозвал меня хлюпиком, упрекнул в боязни милиции. Я всерьез обиделся и надолго заглох. Шукшин почувствовал это, перестал хамить, начал просить прощения. Я промолчал. Не помню, куда мы поехали, кажется, к его благодетельнице Ольге Михайловне Румянцевой. Эта благородная женщина на свой

страх и риск прописала Шукшина на своей жилплощади. Обиженный, я не стал заходить, решил уехать на чем угодно или уйти. Шукшин щедро расплатился с шофером и приказал ему свезти меня на улицу Добролюбова. Но я в тот раз уже закусил удила...

...Он не хотел уезжать на работу в Магнитогорск, зная, что без Москвы ему фильм не поставить и вообще никуда не пробиться сквозь густопсовую еврейскую толщу. Но и в Москве он задыхался.

Насколько помнится, уехал я от дома Румянцевой с некоторым сожалением, у меня имелся интерес к ее дочери Ире и зятю Юре Бухарину. Я готовился работать над хроникально-художественной книгой «Кануны» и своей широкой задумкой делился с Макарычем. Шукшин ездил ночевать в эту квартиру только в самых отчаянных случаях. Он стеснялся приезжать туда часто. Ольга Михайловна навсегда останется в благодарной памяти шукшинских почитателей. Не в пример многим начальникам, предательски подставлявшим Макарыча под тяжкий пресс неустроенного быта, она по-матерински принимала даже меня. Ее дочь Ирина и зять художник Юра Бухарин рассказали и показали мне очень многое из того, что мне потребовалось для работы. Тогда я, как многие, идеализировал Николая Бухарина, считал, что Сталин — это сатрап, и что Бухарин на суде был подставным, не настоящим. (Сергей Николаевич Марков, с которым после института я сильно подружился и который с удовольствием ездил в Вологду, говорил: «Ходили слухи, что у Бухарина на суде отвалилась бородка».)

У нас с Макарычем к Сталину и ко всей его братии существовал особый счет, о коем мы поговорим еще в этой книге. Юра Бухарин был сыном известной еврейки-красавицы, очаровавшей Николая Бухарина. После развода Юры с дочерью Ольги Михайловны Ириной он не ответил на мою просьбу о встрече. Следы его затерялись в грандиозной Москве, а может быть, и в Нью-Йорке. Но в то время я дружески встречался с Юрием Николаевичем.

Но дело не в нем, а в Ольге Румянцевой. Шукшинское покорение Москвы началось давно, еще с того времени, когда он ночевал под мостом, приглядываясь к столице и мечтая о вузе. Она, столица, действительно слезам крестьянским не верила. Макарыч рассказал случай, когда после очередного ночлега под мостом, на набережной, он познакомился с мужиком, вызывавшим какое-то доверие. Они встречались на набережной несколько раз. Мужичок говорил, как трудно русскому проникнуть в кино, и, видимо, сказал Шукшину свой адрес и однажды пригласил домой. Этот первый московский визит Макарыч не мог вспоминать без горечи. Жена нового знакомого, знаменитая актриса, встретила обоих слишком неласково. Мужичок оказался всемирно известным кинорежиссером Пырьевым. Не знаю, говорил ли Макарыч об этих встречах кому-либо еще, а если и говорил, то, разумеется, с оглядкой, потому что знакомство с Пырьевым еще и сейчас не проходит для человека бесследно. Супруга Пырьева выставила Макарыча за дверь, да еще и обругала мужа. Шукшин, с его обнаженным сердцем, конечно, прекратил хождение по набережной. Кто была эта супруга, я долго не знал и знать в общем-то не хотел. (Лишь недавно догадался, что знаменитые режиссеры обычно снимают главными героинями собственных жен.) Шукшин об этом не говорил, он всегда боялся выглядеть болтуном.

Супругой же самого Макарыча была в свое время та самая библиотекарьша из фильма «Живет такой парень», которая играла не только в кино, но и в семейной жизни. Она написала на Макарыча прямой донос в партбюро. Такого преда-

тельства Шукшин, разумеется, переварить не смог и оставил «библиотекаршу» в самый разгар съемок своего первого фильма. Он явился ко мне в общежитие, попросил никому не говорить, что он здесь, в общежитии на улице Добролюбова. Он жил у меня с неделю, прячась от всех. Я ходил за кефиром и варил пельмени, благо пельмени Макарыч любил и в еде был неприхотлив.

Однажды меня вызвали вниз, к дежурной. Около входной двери толпилась целая делегация во главе с бывшей женой Макарыча. Подсоблял этой жене кинооператор Гинзбург, который снимал «Парня» — фильм о шофере Пашке Колокольникове. Играл Пашку Леонид Куравлев. Не помню, присутствовал ли он среди посланцев. Делегация сразу же довольно агрессивно приступила ко мне. Помня наказ Макарыча, я сказал, что он заезжал, но где он сейчас, не знаю. Они потолклись еще минут пять и укатили. Поверил ли мне Гинзбург, так хорошо описываемый Заболоцким? Неизвестно. Но каждый час простоя на съемочной площадке стоил довольно дорого. Макарычу грозило увольнение со студии им. Горького.

Между тем я получил какой-то гонорар, и пришла православная Пасха. Сбежал я в магазин через дорогу и купил в честь праздника гармонь. Впоследствии она стала вполне литературной, поскольку была причастна и к судьбе Макарыча, и к судьбе поэтов Лени Мерзликина и Коли Рубцова, и к судьбе прозаика Астафьева. (Как моя баня, описанная в документальном рассказе «Московские гости», эта гармонь достойна отдельной, подробно рассказанной истории.) Пришел к нам в комнату Ваня Пузанов. Мы устроили пасхальную вечеринку. Случайно заехал и Володя Котов, работник журнала «Молодая гвардия». (Журнал уже в то время приобрел славу «антисемитского органа».) В той же «Молодой гвардии» обретался тогда еще до конца не раскрывшийся великолепный нынешний публицист Владимир Бушин. (Не подумайте, что я его хвалю потому, что сам его побаиваюсь.) Пасху мы отпраздновали довольно оригинально: русской пляской. Но Шукшину было в общем-то не до веселья. Он тужил и расстраивался. Стали сообща думать, как его выручать, перебирали общих знакомых, кто бы мог подсобить... Родилось несколько вариантов.

Наутро я побрел на этаж ВЛК, где жила писательница (кажется, из Казахстана), имевшая любовника в соседнем общежитии мединститута. Она близко к сердцу приняла нашу беду, пообещала связаться со своим кавалером. Впрочем, на этом месте я могу и сбиться со строгой документальности, поскольку этот сюжет использован в романе «Все впереди»...

Что значит документальный сюжет? И что значит документальный рассказ, введенный в литературный оборот именно Шукшиным?

В горячке наших литературных разговоров я пытался доказать, что рассказ есть рассказ, художественный жанр, что никакого документального рассказа быть не может. Документальным может быть и даже обязан быть только очерк, а не рассказ. Я убеждал, что сюжет всегда является организующим началом рассказа, что без сюжета рассказ рассыпается, что стиль, язык, настроение в прозе отнюдь сюжету не противоречат. Сюжетов в нашей жизни хоть отбавляй, но их нельзя делать достоянием всех. Пусть это делают газетчики. Литература отнюдь не использует все сюжеты подряд. (См. мою статью о сюжете в книге «Раздумья на родине».)

Шукшин доказывал, что любой рассказ может быть документален, и даже должен быть таким, что читатель больше верит документу. Мода на документ, применяемая в кино (например, фильм Герасимова «Люди и звери»), действовала, вероятно, и на Макарыча как на писателя и сценариста. Документализм позволял ссылаться на жизнь: так, мол, и происходит в самом деле, выходило, что разреша-

лось снимать любую тусовку, что и делал Герасимов. С такими зубрами, как он, Шукшину нельзя было не считаться, хотя он и имел свой взгляд на вещи. Запомнилось, как Макарыч встречал меня на киностудии им. Горького, куда я безуспешно совался со своим сценарием.

Вскоре я узнал, что недельное сидение в моей комнате обошлось для Шукшина выговором. Гинзбург продолжил съемки. Пашка Колокольников пошел в народ и принес Макарычу первую победу на режиссерском поприще. Втроем с Куравлевым мы отметили выход фильма обедом в ЦДЛ. Студентов вроде меня тогда еще пускали в эту заветную московскую цитадель.

Наше знакомство, теплые отношения с Макарычем закрепились и развивались уже по своим законам. Не так думали иные биографы Шукшина. Говорю прежде всего о наиболее серьезной книге покойного В. Коробова. Сейчас я с нравственными колебаниями думаю: а надо ли упоминать здесь все подробности, касающиеся моих друзей и знакомых? Может быть, не стоило все упоминать, например, о шурине Горбачева. Может быть... Но если быть документалистом (что я признаю в биографических книгах), то, наверное, надо рассказывать и о таких щепетильных подробностях о себе и своих друзьях.

...Скитаясь по разным ночлегам, Макарыч завез однажды меня на квартиру к Вике Софроновой. Я не видел тогда их маленькую дочь, может быть, я уклонился, может быть, девочки не было дома. Но разговор с покойной Викой Анатольевной помню. Мы засиделись, и меня не отпустили домой в общежитие, хотя в те времена окошки первых и вторых этажей в Москве еще не были зарешечены. Убийства и грабежи были весьма редкими. Мне было постлано на полу, Шукшин устроился на диване рядом, и мы долго еще говорили с ним о крестьянстве, о диссидентах, о политике и евреях. Заснули уже под утро.

Вообще о евреях и тогда говорили почти все, одни напрямую и громко, другие тихо, с оглядкой. О слове «жид» вспоминали редко, и то в основном сами евреи. Это слово произносилось обычно с провокационными целями. Если человек вспомнил жидов, то это был верный признак того, что он сам еврей либо из еврейского круга, и наверняка представит тебя своим близким как антисемита. Я несколько раз попадался в такую ловушку. Антисемитский ярлык был несмыслаем...

Шукшин прекрасно знал сие опасное обстоятельство, может быть, поэтому и устраивал мне экзамен с боксом. Большинству женщин он несколько не доверял, особенно в политике. Не верил, как теперь выяснилось, и своей жене Лидии Федосеевой, не верил совсем не напрасно, если судить о ее замужествах. Он был радикальнее меня в этом смысле. Актера Жору Буркова он долго подозревал в двойной игре, и тоже совсем не напрасно. О Буркове убедительно пишет А. Заболоцкий в книге «Шукшин в кадре и за кадром».

Частенько он спрашивал меня о Шолохове, о наших встречах с писателем по молодежному Болгаро-Советскому клубу. Его встреча с Шолоховым во время съемок фильма «Они сражались за Родину» перевернула все его интеллигентские представления о писательстве... Нельзя забывать, что евреи с помощью демагогии энергично и постоянно внушали нам ложные представления о Шолохове. Ядовитая мысль о плагиате, запущенная определенными силами и поддержанная Солженицыным, посещала иногда и мою грешную голову. Сердце, однако же, вещало нечто другое. (Стерляжья уха на Дону во времена Болгаро-Советского клуба тут ни при чем.) Я был в легкой оппозиции к современному классику и должен когда-нибудь написать о нашей международной встрече с Шолоховым.

Но мои тогдашние представления о Шолохове связаны были не с солженицынской инсинуацией о «Тихом Доне», а с «Поднятой целиной», где главный герой учит мужиков-казаков, как надо пахать. Я не напрасно считал эту книгу уступкой конъюнктуре, что и подтвердилось в серьезных и благожелательных исследованиях.

Нынешний секретарь российского СП, будучи работником ЦК ВЛКСМ, опекал в то время молодежь. Он привез Болгаро-Советский клуб на Дон, всю громадную делегацию с переводчиками и зарубежными «марксистами». Меня поселили почему-то вместе с неким Мишей Членовым. (Не спутайте, пожалуйста, с Михаилом Чвановым!) Членов переводил с немецкого. До сих пор осталось стойкое ощущение, что этот Миша переводил не все и не точно, особенно наши политические разговоры с немецким писателем Гюнтером Гёрлихом. Из прилетевших на Дон поляков запомнился мне симпатичный Ежи Кжиштонь (впоследствии я встречал его в Варшаве и слышал потом о его трагической гибели). Другой поляк был, вероятно, совсем не поляк, а еврей, но его день рождения мы праздновали весьма хлебосольно. После очередного банкета утром я раскрыл гардероб и был поражен догадливости Миши Членова. Весь гардероб был уставлен бутылками коньяка и какого-то марочного, крепленного и сухого. Никогда бы не пришла мне в голову мысль о такой запасливости! С кем Членов поделился своей добычей, сие мне не известно. Я же использовал этот случай в рассказе «Одна из тысячи», чем лишний раз подставил свой «антисемитский» бок какому-нибудь проворному Льву Аннинскому.

Владимир Тендряков, который однажды увез меня с писательского съезда к себе на дачу, называл всех писателей-вологжан людьми «с душком», с антисемитским душком, разумеется. На даче Тендряков читал мне по секрету свой политический опус и так уморил, что я задремал в кресле. После чтения он показал мне свои довольно роскошные хоромы. Рядом была дача Твардовского. Под снисходительные тендряковские комментарии я с волнением издали глядел на Твардовского. Тендряков называл его Сашкой. Наверное, так же презрительно звал он и Александра Яшина, моего лучшего наставника. (Яшин утверждал, что Тендряков украл у него сюжет со свинаркой.) На каком-то совещании в Новосибирске я снова встречался с Тендряковым, тогда и попал в разряд людей «с душком», хотя не давал никакого повода. На том семинаре Анатолий Софронов запел песню на собственные слова. Вместо выступления... Не менее экзотичными были выходки некоторых лидеров и противоположного, еврейского лагеря. Не стоит сейчас их вспоминать, хотя и следовало бы. Твардовский и Яшин находились между двумя лагерями, им доставалось от тех и от этих.

...Александр Трифонович не дошел до тендряковского дома и скрылся на своей даче, а Тендряков, видя, что мне не интересен его манифест, не стал больше читать. Надо сказать, что в те времена я был во многом солидарен с Владимиром Федоровичем. Смущал меня только его излишний рационализм, какая-то эстетическая жесткость в его многочисленных повестях. Тендряковский быт с физкультурой и холодными купаниями тоже был жестко рациональным. Смерть не пощадила и этот рационализм с атеистическим «душком». Тендряков был полной противоположностью Владимиру Солоухину, ставшему довольно близким Александру Яшину. Земляк Яшина Феликс Кузнецов, мне кажется, не вызывал у Яшина таких симпатий, какие вызывал Солоухин. Александр Яковлевич, несмотря на всю свою бескомпромиссную натуру, был добр и совестлив, иной раз даже не-

сколько сентиментален. Однажды он при мне вернулся домой из ЦДЛ. Раздевался весь в слезах оттого, что не подал руки Леониду Соболеву...

Но я отвлекся от встречи с Шолоховым, о которой рассказывал Шукшину. Болгаро-Советский молодежный клуб с Любомиром Левчевым во главе все же сплотил довольно большую группу патриотически настроенных молодых людей. С русской стороны туда входили такие литераторы, как Палиевский и Семанов, Ланщиков и Михайлов, Валерий Ганичев и Валентин Сидоров. На втором или на третьем заседании появился Валентин Распутин. Все мы были тогда молоды и задиристы. (Но и сейчас со стыдом вспоминаю, что на Шипке я забыл снять свою кепчонку...) Не знаю, почему Михаил Александрович Шолохов несколько раз выделил меня среди интернациональной толпы. Во всяком случае, не потому, что меня выбрали вице-президентом. Мода на президентов внедрялась в наше сознание очень осторожно, со всей мягкостью. Вкрадчиво и постепенно. Ортодоксальный марксизм давно одряхлел. Русские изжили его уже во время очередной войны с Германией. Изжить-то изжили, но вся система держалась на страхе, а страх нагоняли еврейские бонзы либо их прислужники. В придачу многие из нас глубоко задумывались: что значит прогресс? Что такое атеистическая культура? А нам снова подсовывали Маркса и диамат. Я уже писал в какой-то статье, как библиотекарша Литинститута отказала в выдаче «Дневника» Достоевского.

В толпе, окружившей Шолохова, функционер ЦК ВЛКСМ Гена Серебряков давил мне на ботинок, чтобы я не сказал лишнего, но я и не говорил лишнего, я только спрашивал нечто лишнее. Даже вроде бы упрекнул Михаила Александровича за «Поднятую целину»... Я спросил, сколько надо было иметь пудов зерна, чтобы угодить в число раскулаченных. «Сорок пять пудов, — глухо промолвил Шолохов. — Иногда даже меньше». Что значили сорок пять пудов даже для иногородних, не говоря о коренных жителях Дона?

Я сказал, кого и как раскулачивали у нас на Севере, но клеветы Сергея Павлова быстренько усадили Шолохова в машину и увезли.

В доме, где прошло детство Шолохова, мы пели хором «По Дону гуляет» и другие донские песни. Казахский поэт, друг Евгения Евтушенко Олжас Сулейменов, тоже вскормленный нашим институтом, тут же гнусно и втихаря перефразировал песенные слова, получилось, что гуляют подонки. В эту минуту Михаил Александрович рассказывал венграм о конных схватках донцов с венгерскими конниками во время первой мировой войны. Много пили и вкусно ели, не зевал и казахский поэт Сулейменов. (Международная шпана сделала его потом представителем ЮНЕСКО.)

С клубом прилетел на Дон и Юрий Гагарин. Мы фотографировались над Доном, у того обрыва, где Григорий поил коня и встретил Аксиныю. Гагарин был смоленским, Твардовский тоже смоленский. Мой отец лежит в смоленской земле сразу в трех могилах... Я хотел объединить все эти три обстоятельства и написать очерк об отце, о Гагарине и Твардовском. Обо всех троих. Я поделился в Москве своим замыслом с Макарычем. Его слова ошпарили меня как кипятком. Он слишком резко сказал о Гагарине: пьяница! Так резко, что у меня пропало желание писать очерк. Документализм повернулся ко мне новым, непредвиденным мною боком...

Рассуждая о сюжетной беллетристике, Шукшин кипятился: «Не хочу я читать эту надуманную литературу! Не верю я им, беллетристам!» Я спрашиваю: «Бунин — беллетрист?» — «Да, но Есенину я верю больше. Все-таки он барин, Бунин-то...»

Твардовский в своей статье о Бунине упомянул Белова и Лихоносова. Это окрылило меня, но еще больше насторожило московских критиков.

Макарыч не однажды писал мне и говаривал о своей душевной боли. Не помню, как я отвечал ему, говоря о собственном состоянии. Моя мать Анфиса Ивановна иногда пела трагическую по своей безысходности народную песенку:

*Все прошло и все пропало,
Снегу белого напало,
Все переменялось,
По шею навалилось.*

Это было, наверное, безблагодатное ощущение глубокой осени, предчувствие неминуемой старости, боязнь одиночества, ощущение того, что ничего хорошего впереди уже нет, один лишь холод зимы и слякотный ночной мрак. Но и в молодости что ей было ждать — моей матери? В младенчестве сирота, в детстве круглая сирота, в замужестве лишь два-три года была счастлива. Родила шестерых, в том числе и меня. Накатилась война. Мужа — опору семьи — убили на фронте, корову Березку пришлось сдать безжалостному государству, чтобы рассчитаться с налогами. Пятеро детей бедствуют, трое дома — птенцы неокрепшие, двое старших на неприютной чужбине. Даже амбарчик, рубленный ею вместе с Иваном Федоровичем, стоявший в родном огороде, раскатали и увезли. (Правление колхоза решило, что этот амбарчик в огороде Беловых стоит напрасно, его отдали под хлев фронтовику.) Бригадир Рябков, только что демобилизованный из армии (прозвище у него было Безменко), не постеснялся того, что Иван Федорович погиб на фронте, и увез от вдовы и сирот их любимый амбарчик.

* * *

...О, сколько было их на Руси, талантливых, но пропавших из-за сиротства, из-за тюрьмы или из-за обычной нужды! Горечь за таких ребят, которым были намертво закрыты дороги в искусство, в литературу и вообще «в люди», выражена мною в стихотворении, посвященном памяти таких, теперь уже умерших моих друзей, как Игорь Тихонов, Валерий Гаврилин, Николай Рубцов, Владимир Шириков, Александр Романов. Критики-демократы всех их оптом записывали в кагэбэшные пристегаи. Василий Шукшин, конечно же, шел по разряду таких же, хотя, подобно Гаврилину и Александру Романову, сумел пробиться к диплому. Вот это стихотворение:

*Нет, я не падал на колени
И не сгибался я в дугу,
Но я ушел из той деревни,
Что на зеленом берегу.
Через березовые склоны,
Через ольховые кусты,
Через еврейские заслоны
И комиссарские посты
Мостил я летом и зимою
Лесную гибельную гать...
Они рванулись вслед за мною,
Но не могли уже догнать.*

*Они гнались, гнались недаром,
Чтобы вернуть под сельский кров.
...Я уходил на дым пожаров,
На высыхающую кровь.
Под дикий свист вселенской злости
Вперед!.. еще немного вспять, —
Где ноют праведные кости
И слезы детские кипят.
Пускай одни земные кремни
Расскажут другу и врагу,
Куда я шел из той деревни,
Что на зеленом берегу.*

Эти строчки были написаны еще до смерти Макарыча, но он их не знал, я их просто прятал. Но мое литинститутское настроение он знал превосходно. В свободное время он не однажды навещал меня в общежитии. Во время скромного обеда в ЦДЛ, где мы отмечали сдачу «Такого парня», зашел разговор о поездке в Сростки. На студенческую стипендию летать в Сибирь, конечно, было начесть. Я отнекивался, но Макарыч всерьез задумал такое путешествие. И однажды я сдался...

Мы выехали во Внуково и купили билеты на ближайший рейс (конечно, за счет Шукшина). Рейс откладывали, объясняя техническими причинами. Мы проголодались, изнервничались. Макарыч утянул меня в ресторан. Там мы услышали, что рейс на Бийск и вовсе отменили. Взбешенный Макарыч заказал коньяку... Каково же было мое удивление, когда девушка в справочном сообщила, что рейс отменили из-за малой нагрузки! С горя Макарыч начал дерзить милиции, я с трудом отводил его от опасности. Каким-то образом удалось благополучно уехать из Внукова. Так неудачна оказалась наша попытка слетать на Алтай.

При жизни Макарыча мне так и не удалось побывать на его родине. Прилетел я туда вместе с женой, когда его уже не было на свете.

Алтайские пейзажи оказались куда роскошнее и шире вологодских, они запомнились мне навсегда. Но Макарыч полюбил и мою родину, она была ему близка и понятна. Вологодчина ближе к Москве, Макарыч завидовал этой близости. Восемь часов — и дома... В один из приездов в Тимонику он всерьез хотел купить домишко около озера в нашем колхозе. Долго ходил вокруг этого озерного домика с есенинской березой под окном. Дом стоил всего какие-то гроши. У меня и этих грошей не имелось, а последние деньги Макарыча были вложены в какую-то подмосковную дачу. Семья его копилась, надо было содержать мать и учить племянника, денег всегда не хватало. Напрасно думают, что кино приносит большой доход. Впрочем, кому как. Макарыч к богатым отнюдь не принадлежал, я тем более. Он из всех сил помогал мне пробить сценарий, это видно по письмам.

И ничего у нас не получалось, ничего! Мы натыкались на какую-то невидимую паутину, сплетенную хитро, давно и основательно. Как он переживал, что я по дешевке отдал «Ленфильму» право экранизации повести «Привычное дело». Поставить фильм как следует режиссеру Ершову не дали времени. Может, он и сам не очень хотел ставить «как следует»? Жена Михаила Дудина Тарсанова легонечко обвела неопытного автора повести вокруг пальца. (Это повторилось позднее на телевидении.) Я был рад и тем жалким рублям, кои мне выплатили на «Ленфильме». Макарыч, когда узнал, то негодовал уже на меня:

«Жаль, что ты продал право на экранизацию. Очень жаль! Договор, что ли, есть? Это ужасно глупо, друже. Такие повести не пишутся каждый год. Если еще договора нет, не подписывай, скажи им, что передумал, что хотел бы участвовать в написании сценария хотя бы на пару с кем-нибудь. Облапошили, пираты! Повторяю, никуда бы они не делись! Как же так? Ведь тебе за такие деньги надо две книги писать. Ты же не фабрика! Ах, черти!.. Не стыдись их, если не поздно. Они сами никого не стыдятся. Пойми это. Уважай себя. Это грабеж среди бела дня. Небось, Нагибина не надуешь. Послушай ты меня: если не поздно, верни свое согласие на продажу права — поставь свое условие».

Увы, было уже поздно, договор с Тарсановой подписан и отослан...

В этом же письме Макарыч сообщал:

«Был у меня тут один разговор с этими...» (На что бесстрашен, и то некото-

рые слова вслух произносить побаивался.) *«Про нас с тобой говорят, что у нас это эпизод, что мы взлетели на волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так и останемся — свидетелями, в рамках прожитой нами жизни, не больше. Неужели так? Неужели они правы? Нет, надо их как-то опружить...»*

Нам усиленно прививали всевозможные комплексы. Враги ненавидели нашу волю к борьбе. Тот, кто стремился отстоять свои кровные права, кто стремился к цели, кто понимал свое положение и осознал важность своей работы, кто защищал собственное достоинство, был для этих «культурников» самым опасным. Таких им надо было давить или душить, внушая комплекс неполноценности. *«И чего им всем не хватает? — писал Шукшин. — Злятся, подсиживают друг дружку, вредят, где только можно. Сколько бешенства, если ты чего-то добился, сходил, например, к начальству без их ведома. Перестанут даже здороваться...»*

Вспоминаю, как со смехом Шукшин рассказывал о мнимой ссоре с оператором Заболоцким. Оба притворились, что насмерть поссорились. Разошлись, так сказать, друг с дружкой. И сразу в мосфильмовских коридорах с обоими начали здороваться, останавливать и любезничать.

Мы оба изведали снобистское презрение городской, главным образом пижонской стихии. Невидимая «табель о рангах» безотказно действовала в Москве, в Ленинграде, в Киеве и в Одессе. Сценарий кинокомедии даже с помощью Шукшина нигде не прошел. Везде вежливо отвергали. Шукшин страдал оттого, что не может мне помочь выбраться из нужды. История с «Ленфильмом» возмутила его. Съездил я в Ленинград на премьеру фильма и успокоился. Наплевать, что жена Дудина меня обдурила! На банкете по случаю просмотра меня притворно поздравляли, среди приглашенных были знаменитости вроде Лаврова и Смокутновского. Своеобразная компенсация дурачку-автору...

Снобистскую, порой презрительную снисходительность к себе я чувствовал в не меньшей мере, и на каждом шагу старался забыть оскорбления и обиды. Но можно ли прощать и забывать прямое вранье? Да еще в печати? Как часто господа из редакций заворачивали авторов, ссылаясь на цензуру, тогда как авторы просто не годились мишам рощиным! Если б не Яшин, я бы никогда не встретил и Твардовского...

В «Новом мире» у меня был приятель Юра Буртин, я считал его русским и говорил с ним без обиняков, честно. Это не помешало Юре угледеть в моих действиях антисемитские наклонности. Игорь Виноградов, сидевший в то время в редакции, в разговорах постоянно провоцировал антиеврейские темы. Однажды он при мне и Инне Борисовой заявил, что он чистокровный татарин. Его поздние статьи обнаруживают совсем иное происхождение автора.

Анну Самойловну Берзер, хотя она и забрала некоторые мои бухтины, я уважал больше, чем притворщиков, которые звали себя «татарами». Анна Самойловна была опытной журналисткой и, несмотря на некоторую специфичность своих взглядов, являлась прекрасной добропорядочной редакторшей. (По крайней мере, она не сюсюкала по поводу «умненьких глазок» и гардероба «деревенского мужичка». Кстати, гардероб-то у меня был вполне приличный, это Кондратовичу хотелось придать моим брюкам определенный вид.) Инна Борисова старалась быть не фамильярной и доброжелательной, более осторожной в суждениях. Не то что Игорь Виноградов...

Сейчас, читая письма вдовы Твардовского Марии Илларионовны, я вспоминаю первую встречу с Александром Трифоновичем. Мы говорили тогда о положе-

нии крестьянства. Моя позиция была вполне радикальна: надо устранить советское крепостное право и дать паспорта всем колхозникам. Александр Трифонович вдруг поднялся из-за стола во весь свой богатырский рост. Он вышел на середину кабинета и широко развел руками:

— Так ведь разбегутся же все!

Макарычу попадало от «французов» еще больше, чем мне. Лидия Федосеева, мать двух дочерей Шукшина, в те времена была единокровна с мужем, по крайней мере, мне так представлялось.

* * *

Все время я сбиваюсь на собственную биографию. Но что делать? Судьба Шукшина была так родственна мне, так похожа, что приходится «якать», объясняя сходство в событиях и в отношении к этим событиям.

Как-то я привез в Москву и подарил Макарычу икону начала XVII века (может, и конца). Он жил тогда без постоянного пристанища и оставил икону на какой-то квартире. Хозяин квартиры (киношник) похвастал не своей иконой, а вологодский художник Николай Бурмагин ездил в Москву и услышал, что Белов якобы с помощью Шукшина избавился от шедевра... Христос-Эммануил оказался в ведении одного из шукшинских «благотетелей», у которого Шукшин раз или два ночевал. Бурмагин смеялся над моей близорукостью, я обиделся на Макарыча и, наверное, высказал эту обиду в каком-то письме...

По приезду моем в столицу мы в тот же день вместе двинулись выручать икону. Это оказалось не простым делом. Икону киношник возвращать не хотел. Макарычу пришлось сунуть ему четвертной, чтобы забрать свою же икону. За хранение, что ли?

Шукшин искренне радовался, что вернул себе мой подарок. Киношник (не помню его фамилии) активно сопротивлялся, но деваться ему было некуда...

Двигался ли к Богу сам Шукшин? Мне кажется, да. Некоторые его поступки указывали на это вполне определенно, не говоря о литературных. Вспомним кое-какие его рассказы, хотя бы «Залетный» в сборнике «Земляки», изданном в 1970 году.

Долго и труден наш путь к Богу после многих десятилетий марксистского атеизма! Двигаться по этому пути надо хотя бы с друзьями, но колоннами к Богу не приближаются. Коллективное движение возможно лишь в противоположную сторону...

Мое отношение к пляшущему попу (рассказ «Верую») и при Макарыче было отрицательным, но я, не желая ссориться с автором, не говорил ему об этом. Сам пробуждался только-только... Страна была все еще заморожена атеистическим холодом. Лишь отдельные места, редкие проталины, вроде Псково-Печорского монастыря, подтачивали холодный коммуно-еврейский айсберг. Но и такие места погоду в безбожной России еще не делали. Однажды я оказался свидетелем встречи фальшивого печорского монаха с новомировцем Юрием Буртиным. Этот «монах» (наверняка с одобрения КГБ) проник в Печорский монастырь со своими тайными целями, жил там несколько лет и собрал, записал большой компромат на всех насельников. Теперь он решил извлечь из этого компромата материальную выгоду и притащил свои записи в «Новый мир». С Буртиным у меня были хорошие отношения, тогда он успешно громил «заединщиков» вроде Грибачева, Маркова и других официозных писателей. Двери к Буртину для меня были всегда

открыты, не то что к Кондратовичу или к Дементьеву. (Эти не давали Александру Трифоновичу без них шагу ступить, либеральный конвой шутить не любит.)

Меня запросто занесло в закуток к Буртину. Там как раз сидел этот самый «монах». Насколько помню, Юра смутился, «монах» и при мне увлеченно клеймил монастырских насельников. Показывал в доказательство фотографии и чуть не захлебывался в своих обличениях, считая, что он в среде единомышленников. Но даже Буртин морщился от бесовских восторгов доносчика. Юра быстро свернул разговор к необязательному обещанию познакомиться с рукописью.

В ту пору я читал на квартире у Буртина подпольно распространяемую книгу Авторханова «Технология власти», где имелись подробности троцкистско-бухаринского бунта против Сталина. Глаза открывались медленно, ведь мы почти ничего не знали. Проходили отдаленные слухи о ленинградских юношах, создавших ВСХСОН — тайную организацию с христианской идеологией. Шукшин жадно ловил эти слухи и делился ими со мной и Анатолием Заболоцким. Попадал к Макарычу и журнал В. Осипова «Вече». Какая-то дама, вроде бы жена Фатей Яковлевича Шипунова, встретила нас на лестнице студии имени Горького. Она заговорила о журнале «Вече». Но мы оба, боясь провокации, откровенными с ней не стали. Фатей был странным сибиряком и отпугивал шумной своей откровенностью. Владимир Осипов тоже ведь был откровенен, и, может, зря мы боялись распространителей журнала «Вече»? На Руси уже тогда имелись смелые, мужественные, не подставные ее защитники. Правда, почти все из них сидели по тюрьмам...

Макарыч безжалостно тратился на фотокопии недоступных простому читателю книг, таких, как авторхановская «Технология» или книги В.В. Розанова, талантливейшего, несколько демонического представителя русской журналистики. Даже «Историю кабаков» Макарыч вынужден был переснимать, не говоря о более серьезной литературе. Он жадно поглощал запретные тексты, отснятые на фотобумаге мелким, вредным для глаз шрифтом. Многим из нас такой шрифт основательно портил зрение. Книг не было!

Мне уже приходилось писать, что еврейские диссиденты возили из-за границы то, что надо было именно им, еврейским диссидентам, отнюдь не нам, русским. Помню, в Германии при посещении православного монастыря мне подарили крохотную брошюру о Карле Марксе. Какой-то венгерский автор, тоже, впрочем, еврей, написал правду о Марксе, о его сатанизме. Я был поражен открытием, хотел привезти книжечку домой, но в последний момент трусил, выбросил в гостиничную урну. Жаль. Всем коммунистам надо было знать про эту книжицу. Она не дошла до России и до сих пор, ее сюда не пускают и еще долго не пустят.

* * *

Шукшин все время звал меня в Москву. Если б я и захотел жить в Москве, я не смог бы это осуществить, мне там никто не припас жилья. Но я и не рвался туда. Мой друг ревновал меня к Вологде, завидовал возможности в любое время укрыться в деревне от столичных невзгод. Но совсем без Москвы тоже было невозможно, Москва печатала, кормила, поила, несмотря на обилие недругов.

Анатолий Заболоцкий правдиво описывает знакомство с Макарычем и свою жизнь в Минске. Шукшин искал верных друзей. Ради него Толя сменял минскую квартиру на московскую и обосновался в столице. Шукшин хотел, чтобы так же сделал и я, да Москву на Вологду тогда не меняли. Не много было у него настоя-

щих друзей! Сростки с матерью далеко, да и делать режиссеру в Сростках нечего. Нужна Москва...

К тому времени я окончил институт, но в Москву то и дело приходилось ездить. Полтысячи километров — это все же не то, что летать на Алтай. Хотя нужда тоже иногда подпирала. Но я не был избалованным. Дали вологодские власти какую-то квартирнку, и ладно. (С годами вселился в настоящую трехкомнатную.)

В один из московских приездов я прямо с вокзала залетел к Шукшину в Свиблово, где уже ночевал однажды. Но его дома не оказалось. Лида сказала, что он дома не живет, и где он сейчас, она будто бы не знает. Знала, конечно, и намекнула на Заболоцкого.

У Толи оказалась довольно большая, но какая-то пустынная, похожая на рубцовскую, комната. Из мебели стол да кровать. Еще имелась раскладушка, которую и захватил беглый, совершенно трезвый и даже веселый Макарыч. На полу около раскладушки валялись бумаги и прошнурованные фотокопии запретных книг. В ответ на мой вопросительный взгляд Макарыч крякнул:

— Да не могу я с ней сладить! Вот к Толе сбежал... Пьем кофе и думаем.

Толя снова поставил чайник.

Ни у одного из нас интеллигентской привычки вести дневник не было. Мы ничего никогда не записывали. Может, напрасно? Память запечатлела многие острые разговоры. В тот раз мы говорили о странном сходстве евреев с женщинами, вспомнили, что говаривал о женщинах Пушкин. Дома в Вологде у меня имелся случайный томик Пушкина. На 39-й странице есть такой текст: «Браните мужчин вообще, разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь сатирически до прекрасного пола — все женщины восстанут на вас единодушно — они составляют один народ, одну секту». («Как евреи» — это была моя добавка к Пушкину.)

Говорили о «нечаевщине», описанной Достоевским в «Бесах». Шукшин от волнения даже вскочил. Этот роман Федора Михайловича он считал самым потрясающим.

А чем нас воспитывали, чему учили в детстве и юности? «Оводом» Войнич да «Чапаевым» Фурманова, горьковским «Челкашом» в придачу. Хорошо, если окажется под рукой «Хождение по мукам» Алексея Толстого либо «Железный поток» Серафимовича. Есенина с Клюевым не было и в помине. В школьных шкафах сплошь Жаровы да Чуковские. Лермонтов до сих пор прощается с «немытой Россией», прощался бы еще, да подоспел Бушин со своей статьей.

Говорили в тот день и о требовании ленинградских коммунистов изменить Устав партии. Откуда-то Макарыч расчихал, что ленинградцы требуют ограничить прием в партию женщин. Мы оба выражали ленинградцам тайную солидарность. Шукшин вообще относился к женщинам здраво, то есть где всерьез, а где с юмором. Высмеивал моду, стремление женщин подражать мужикам в одежде и в физической силе, страдал от «бабьих» потуг обходиться без мужей в обеспечении семьи. Уже тогда шла психологическая атака на традиционные семейные ценности.

Мы оба были против западных «ценностей», пропагандируемых «Свободой» и «Свободной Европой». Как ни глушил будущий перестройщик А.Н. Яковлев эти радиостанции, забугорные передатчики были такими мощными, что сплошной грохот генераторов не мог как следует заглушить западные голоса. Позднее я узнал, что глушились уже и те американские передачи, которые были невыгодны «мировой закулисе», «лучшему немцу» и всей его перестройке. Но глушились уже не нами, а самими американцами или их европейскими пристегаями. Как я

узнал это? Очень просто. После поездки в США и моего выступления на «Свободе» я сходил к А.Н. Яковлеву и, притворившись простачком, спросил, работают ли в Европе наши глушилки. «Нет, давно уже не работают», — ответил Александр Николаевич, главный наш перестройщик. Да, наши глушилки и впрямь уже бездействовали. Тогда кто же глушил мое выступление? Конечно, я не сказал Яковлеву, что выступал на «Свободе», что меня глушили его же западные хозяева. А то, что глушили — это был факт. Не могло тут быть никакой ошибки, цензура была всемирна. Мои друзья в Европе слушали мое выступление на радио «Свобода», вдруг началось завывание генераторов. Европейские глушилки включались, когда кто-то намеренно или ошибочно говорил по «Свободе» что-то невыгодное «мировой закулисе». Тут уж были бессильны все, даже самые матерые балканские диссиденты, не то что какой-то там «россиянин» вроде Белова. Надежда на свободную Европу была явно худая. Жаль, я уже не мог рассказать об этой истории Макарычу, среди живых его уже не было.

Мы собирали правдивую информацию по крупицам, в том числе и с помощью той книжечки, что я выбросил в гостинице Франкфурта. Вот почему бесились и брызгали на нас ядом ярые столичные культуртрегеры, внушавшие нам комплекс бескультурия и малых наших возможностей.

Я стеснялся ночевать в Свиблове у Макарыча, когда приезжал в Москву. Однажды в ту пору, когда он еще прикладывался к алкоголю, Лида в слезах открыла дверь свибловской квартиры. Я приезжал всегда утром, а тут был, кажется, вечер. Маши в проходной комнате не было, она, видимо, спала в маленькой, следующей. Шукшин хмуро сидел за столом с бокалом сухого вина в руке. У дверей стоял большой чемодан.

— Мы разводимся, — сказала Лида, заметив мое недоумение по поводу чемодана.

Макарыч подтвердил ее слова и сильно сдавил в кулаке бокал с красным вином. Бокал хрустнул, осколки посуды с остатками вина были зажаты в его кулаке. Было удивительно, как он не поранил руку. Мои жалкие утешения на него не действовали. Он глухо, но отчетливо запел свою любимую сибирскую:

*Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там, в краю далеком
Буду тебе я женой.
Милая моя,
Взял бы я тебя,
Там, в краю далеком
Есть у меня жена...*

По-видимому, эта песня сопровождала Макарыча постоянно с тех пор, как он оставил в Сибири мать, первую жену, сестру и маленького племянника. Тоска по родине, боль за близких все эти годы ни на минуту не покидали его. Москва сдавалась ему очень медленно. Наконец он заимел свою квартиру и мог уединиться хотя бы на кухне. Что же опять лишило покоя обитателей этой небольшой, прямо скажем, тесной квартиры?..

Когда я спросил Макарыча о причине очередного скандала, он отмахнулся: «Деньги... Бабам нужны деньги, больше им ничего не нужно... Я удочерил девочку... Ну, ту, которая у Вики. А то больно уж непонятная фамилия...»

Я вспыхнул, только сейчас соображая, в чем дело...

В книге А.Д. Заболоцкого «Шукшин в жизни и на экране» подробно отражено, как создавалась кинокартина «Калина красная». Многие эпизоды фильма снимались на Вологодчине. С островом Сладким я был знаком через майора Леонида Буркова, который служил в УВД. Это был добрейший человек, пробудивший у Александра Яшина интерес к острову. Своего земляка Сергея Орлова Бурков, сколько ни приглашал в эту режимную, к тому году закрытую колонию, не мог туда увлечь. Майору Буркову помогал Евгений Макаровский, будучи секретарем Белозерского РК КПСС. Яшин живо откликнулся на приглашение и приехал на остров вместе с семьей. Он страстно увлекался рыбалкой, ежедневно ездил по озеру с дорожкой и спиннингом, успешно ловил крупную рыбу.

Остров, собственно, был не один, а два: главный, большой считался непосредственно монастырем, его мощные стены вымахивали прямо из озерных глубин, образуя романтическую средневековую крепость. В бывших кельях содержались особо опасные узники, кажется, даже смертники и заключенные с громадными сроками, поскольку за каждый побег срок прогрессивно увеличивался.

Прибрежный колхоз имени Карла Либкнехта кормил и обслуживал колонию, но к тому времени учреждение прикрыли. (Мужики свой колхоз звали «Карл Липкин», он захирел со временем, а колонию забросили.)

Рядом с монастырем-крепостью был второй остров, где проходили когда-то ярмарочные праздники, отчего и называли его Сладким. Крепость соединялась с островом свайным мостом.

Мы с Александром Яшиным обследовали все камеры и всю лагерную систему охраны. Зона делилась когда-то на две части — бытовую и производственную. Лодки въезжали прямо в крепостные ворота. Пилорама была заброшена, везде валялись лагерные бумаги и всякие остатки «прежней роскоши», вроде банных тазов. Бараки для охраны и дома лагерного начальства сохранились, и некоторые использовались для хранения сена. Яшины выбрали себе пустующий дом. В «кабинет» для Александра Яковлевича жена сторожа подобрала письменный стол, принадлежавший какому-то лагерному начальнику. Я приезжал навестить Яшиных вместе с директором издательства Владимиром Малковым и Аркадием Сухаревым.

Когда снимали «Калину красную», крепость и вся система охраны, бараки и камеры — все было восстановлено. Со дня на день я откладывал поездку на остров Сладкий, да так и не съездил. Побывал у Шукшина лишь в Белозерске. Макарыч обрадовался встрече, показал брошенную кем-то квартирнку в деревянном доме. Они с женой ночевали тут по-походному. Подарил мне дореволюционную книжечку Горбунова, взятую у какой-то белозерской старушки. Он знал, что я увлекался этим великолепным рассказчиком, совмещавшим в себе писателя и прекрасного артиста. Горбуновские миниатюры неповторимы. Я вслух зачитал про пушку...

Макарыч искренне смеялся, но ощущалась какая-то подкожная грусть, я видел его нутряную усталость. Картина, видимо, совсем его вымотала. В штабе съемочной группы в Доме колхозника он поспешно распорядился, кому что делать, раздраженно объяснился с нерадивым мосфильмовским работником. Я ушел, чтобы не мешать, и попал в цепкие руки какого-то фотографа. Из «штаба» мы на автобусе уехали к месту съемок в деревню, где жила брошенная сыновьями старушка.

Ощущалась не только физическая усталость Макарыча, но и моральная. Он

был раздражен политикой «Мосфильма» в отношении «Калины красной». То пленку дают второсортную, то плохую аппаратуру. То слишком долго не проявляют отснятый материал, а затем торопят снимать и требуют план. Кое-кто из актеров не приехал. Саботажники проявлялись внутри сложившегося съемочного коллектива. А еще Макарычу было стыдно за поведение некоторых участников группы. Москвичи дружно ударились в поиски антиквариата... Когда он говорил об этом, мне вспомнилось выражение одного известного человека об ученых, где ученые сравнивались с туземцами, которые после крушения корабля ищут на берегу выброшенные морем матросские пожитки... Собиратели антиквариата были тоже очень похожи на этих ученых-туземцев. Но москвичи не подозревали, какое крушение постигло вологодских аборигенов. Действительно, как много было накоплено икон, самоваров и прялок жителями Белозерска с тех пор, как Белозерский полк весь целиком полег на Мамаевом побоище! Русские иконы обнаружены даже на Мадагаскаре, крестьянские прялки с опиленными копыльями возят сейчас по Америке и Европе...

Кому-кому, а уж Макарычу-то было понятно, какое крушение потерпел российский корабль. Тоска стлыла в глазах Шукшина, когда он снимал документальные кадры в деревне под Белозерском...

Баня, купленная «Мосфильмом», стояла у небольшого озера, одна стена у нее была выпилена. Не знаю, построил ли «Мосфильм» местному колхознику новую баню. (Ходил слух, что так ничего и не было сделано.) На другом берегу озера стояла заброшенная церковка. Мы съездили туда на лодке. Макарыч выбрал для этого время. Вот и тот пригорок, на котором пластался от горя шукшинский герой. Пластался, по сути, не персонаж «Калины», а сам Шукшин...

В заулке между двумя избами снимали незначительный эпизод. Заболоцкий со своей камерой нервничал, стоял на стреме, а Макарыч застопорил съемку, ему чем-то не понравился сценарный текст. «Придумай мне диалог, надо две-три живых фразы!» — обратился он ко мне и объяснил, что надо было переделать в разговоре родителей Любы. Я отказался. Тогда Макарыч сел на крылечко соседнего дома с карандашом и рабочей тетрадью. (Да, он на ходу придумывал во время съемок новые сценарные диалоги, сочинял новые эпизоды.) Все отошли в сторону. Ждали. Он сидел минуты две, не больше, черкал что-то в тетради. Затем порывисто встал, поговорил с двумя актерами, с оператором. И вдруг скомандовал: «Начали. Пошел!»

Все это было любопытно, однако мало меня заражало. Послonyaлся я немного по деревне, поглазел на скучную съемочную площадку. К этому времени Заболоцкий в двух дублях снял эпизод. Макарыч сказал мне: «Давай хоть снимемся на память... Когда еще будет такая возможность!». Он кивнул фотографу Гневашеву, и мы уселись на фоне дровяной поленницы.

Вскоре объявили обеденный перерыв, привезли горячий обед, а я уехал с то-миком Горбунова в Белозерск, а потом и в Вологду.

Макарыч так и не смог всерьез заразить меня кинематографией, она по-прежнему представлялась мне каким-то модным, не очень серьезным занятием... С годами такой мой взгляд на кино не только не менялся, но укрепился еще больше. Кино для меня и сейчас есть нечто несерьезное, а порой даже вредное, похожее в чем-то на конкурсы красоты или на демонстрации дорогих шуб и дамских туалетов.

Уже чуть ли не полвека прошло со времени моего знакомства с Макарычем, а литературная катавасия вокруг его имени ни на минуту не останавливалась. Шукшин все эти годы был в центре борьбы за национальную, а не интернационально-еврейскую Россию. Теперь для многих уж не страшен антисемитский ярлык, но знает ли основная масса русских и нерусских людей, заколдованная телевидением, разницу, например, между Леонидом Бородиным и «правозащитником» Ковалевым? Разницу между Юрием Селезевым и критиком Аннинским? Я уверен: не знает. Золотушные правозащитники типа Ковалева на Руси по-прежнему популярны, словно дешевенькие певички. О своих настоящих защитниках страна не ведает. Ко всему этому мы еще попались и в другую, теперь уже денежную ловушку. Пока не поймем, что интернационалистская ловушка и новая «демократическая» — это одно и то же, нам грозят все новые и новые капканы, изобретаемые на другом берегу Атлантики для всех племен и народов.

«Ванька, смотри!» Шукшинское завещание — название сказки — было злободневно все эти годы. Оно долго еще будет необходимо России. Государство выдержит, переварит в себе очередную свою перестройку или перетряску, как переварила Россия троцкистский набег в начале и в первой части прошлого века. Если будем глядеть в оба...

В одном из писем, которые я приводил выше, Шукшин обвинял себя:

«Вспомнил, как я тебе писал всегда — все что-то нехорошо на душе, нехорошо, и я все вроде жалею, что ли. Не знаю, за что я расплачиваюсь...»

Письмо написано красными, словно кровь, чернилами. Имелась в нем такая приписка:

«Разина» закрыли... В «Новом мире» больше не берут печатать, взял оттуда свои рассказы. Но все же душа не потому ноет. Нет. Это я все понимаю. Что-то больше и хуже. Жду письма или самого».

Не помню, как я ему ответил, но его душевная боль имела то же происхождение, что и моя. Корень ее был крестьянский. «Классовый», как сказал бы добросовестный троцкист, натасканный в совпартшколе, обязанный тявкать на врагов пролетариата. Троцкисты-большевики не только тявкали, в 20-х годах они еще и «трудились», «работали» не покладая рук. Не знаю, читал ли Макарыч повесть земляка своего Зазубрина. Она называется «Щепка». Вроде бы он уже читал эту повесть. Не могу категорично судить о том, что он читал к тому времени, когда писал мне о душевной боли. Приходилось даже скрывать, что читаешь. Шутить с андроповскими ребятами нельзя было, история ВСХОН продемонстрировала это со всей очевидностью.

Шукшинская душевная боль имела явно общероссийские масштабы, мы унаследовали эту боль от собственных матерей и погибших отцов. Сходство Марии Сергеевны, которую я впервые увидел на похоронах ее сына, это сходство с Анфисой Ивановной было просто потрясающим! Все манеры, все интонации в голосе, даже бытовые привычки оказались теми же... Лишь выговор был у нее несколько иной, сибирский. Все остальное оказалось таким же... Мое почитание своей родительницы было не досконально-нежным, как у Макарыча. Нередко я грубил своей матери, проявляя несдержанность. Еще в детстве я почему-то стыдился родительской нежности. Помню это ощущение стыдливости даже по общению с отцом, не только с матерью. Не воспитала Анфиса Ивановна во мне чего-то такого, что имелось у Макарыча. Я стеснялся открыто, как он, выражать свои чувства к мате-

ри. Такая стеснительность распространялась иногда и на всех прочих, в том числе и на Макарыча... Я мог неожиданно сгрубить либо оскорбить неуместным молчанием самых верных своих друзей. Это случалось иной раз и по отношению к А.Я. Яшину, Федору Абрамову, Николаю Рубцову. (Рубцов, по моим теперешним представлениям, и сам был точно таким же, несмотря на сиротство. Из-за своей природной стеснительности жил он скрытно и потому многим казался угрюмым, необщительным. Вероятно для того, чтобы придушить это вечное чувство стеснительности, особенно в отношении женщин, Рубцов научился еще в молодости прикладываться к бутылке. Разве один Рубцов? И разве только в молодости? По себе знаю, что и в общении с начальством, и в общении с той средой, от которой материально зависишь, очень часто требовалась банальная выпивка...)

Но мифы о моих друзьях, как о вечно пьяных, развеяны временем. От этих фальшивых мифов не осталось даже следа. Подобно Рубцову, Шукшин любил жизнь во всех ее проявлениях.

Помню, как он смеялся, когда гуртом разбиралось какое-либо смешное слово. Любил он и остроумные анекдоты, они часто скрашивали тревожную невеселую жизнь. Любимый анекдот Макарыча достоин того, чтобы его сейчас вспомнить:

«На окраине деревни у развилки дорог рукодельные щиты-лозунги, обязательства: дадим государству масла столько-то центнеров, хлеба столько-то пудов, шерсти столько-то тонн, яиц и т.д. У лозунгов неподвижно стоит босой мужик, а сапоги, связанные верёвочкой, у него на плече. Он молча читает весь перечень обязательств и вдруг говорит вслух: «Вот жмут! Вот жмут?!». На плечо ему опускается рука, и он видит уполномоченного, который наступательно спрашивает: «Кто это жмет?» Мужик от неожиданности оробел на мгновение и ответил: «Сапоги жмут!» — «Сволочь, ведь ты же босой!». Мужик уже победно и без паузы: «Вот от того и босой, что жмут!»

Макарыч смеялся своим глуховатым, негромким, но заразительным смехом.

Такая народная сценка вполне подошла бы к любому фильму. Макарыч знал это и без меня. Он, конечно, снял бы ее, но... Ленты его и без таких сценок безжалостно резали. Давать профессиональные советы я не имел права.

* * *

Он по-прежнему звал меня в Москву, предложил даже как-то сниматься в роли Матвея — сподвижника Разина. Я расхохотался, а он недоумевал, почему это я не хочу сниматься? У него уже имелся опыт общения с писателями, которые с удовольствием откликались на его режиссерские просьбы. Началось еще с Бэлочки Ахмадулиной. Некоторые дамы напрашивались. Покойный Глеб Горышин тоже однажды причастился к этому виду деятельности. Конечно, я вытерпел бы оплеуху, которую по сценарию должен был влить Стенька своему крестьянскому сподвижнику. Но дело не в оплеухе... Даже театр постепенно утрачивал для меня свой заманчивый ореол, хотя мои пьесы шли в десятках провинциальных театров, ставились и в некоторых столичных, в том числе и академических. Когда-нибудь я расскажу читателям о моих театральных приключениях с участием лицедействующей братии...

Михаил Александрович Ульянов, подобно Любимову, пробовал инсценировать мою прозу, но это меня покорило еще больше, чем на Таганке. Инсценировка Ульянова оказалась беспомощной. Вместо того, чтобы помочь Ульянову что-то

сделать, я предложил ему пьесу. Думал, получится так, как с Малым театром. Получилось нечто противоположное, Ульянов не пожелал со мною сотрудничать... Но я отнюдь не поэтому считаю его неискренним. Перечитайте его интервью о Шукшине в «Российской исторической газете» (№7, 1999). Надо знать, во-первых, что эту газетку срочно придумали в противовес настоящей исторической, которую редактирует Анатолий Парпара. (Испугались либерал-демократы и сварганили свою «историческую».) Вот в этом желтоватом листке и напечатал свои противоречивые, во многом лживые измышления Михаил Ульянов. По случаю 70-летия Шукшина газетка, конечно, начала не с Шукшина, а со слащавого панегирика Андрею Тарковскому. «Надо меньше чувствовать и больше думать», — крупным шрифтом сообщает газетка слова «киногения». Но еще занятнее рассуждает о «чувствах» Михаил Ульянов: «Он неразговорчивый человек, — вещает мэтр о В.М. Шукшине. — Перекинулись... и расстались. В тот раз отношения не завязались». На этом бы Михаилу Александровичу и остановиться, потому что отношения не завязались и дальше, а он врет: «То было как озарение! Читая Шукшина, я находил для себя...» И т.д. Сплошь лицемерие. «Шукшин стал мне жизненно необходим. Я загорелся идеей поставить его пьесу-сказку...»

Ах, Михаил Александрович, если б вы загорелись, так и поставили бы, но вы не загорелись и не поставили. Ваша трактовка пьесы, помещенная в этом интервью, вполне подтверждает именно эту мысль, а не какую-либо иную... «Передо мной стояла задача, — пишете вы, — придать фантасмагорической пьесе реалистическое звучание». Вы называете пьесу «фантасмагорической»? Странно. «Спектакль начинал скоморох-зазывала разными шутками-прибаутками: «А вот я пришел вас позабавить, с праздником поздравить! Здорово, ребятишки! Здорово, парнишки! Бонжур, славные девчушки, быстроглазые вострушки! Бонжур и вам, нарумяненные старушки! Держите ушки на макушке! Ну, друзья, нечего крутить на карусели, заходите посмотреть, как пляшут мамзели! А мне бросайте в шапку медяки, да не копейки, а пятаки!»

Ух, сколько тут восклицательных знаков... От всего этого Шукшин начал бы плевать. По ульяновской добавке можно судить об эстетических возможностях автора, продолжившего статью такими словами: «... в сцене столкновения монастыря с чертями я отметил не святость, а скотство всех этих обитателей монастыря с их вседозволенностью, которая выводит их за грань духовного, человеческого». Каково! Приписать монахам свойства чертей мог только Ульянов. «Меня постигла неудача», — признается он дальше, а мы добавим: «И хорошо, Михаил Александрович, что она вас постигла». Ваши мысли о Георгии Буркове тоже ошибочны, но этот грешок уже помельче...

Итак, мое отношение к кинематографу было очень нетрадиционным. Я считал, что коллективное творчество — это слишком тяжеловесное творчество, а в кино в особенности. Все эти множественные дубли, муторные повторы, чтоб снять какую-то совсем, может быть, необязательную сцену вроде ссохшихся сапог. Эти дубли позднее отбирались, монтировались, их стригли, клеили, переставляли местами. Участвует уйма народу. В такой пестрой обстановке, в атмосфере суеты и всякой возни искусство, по-моему, улечувивается. Даже в театре, когда актера превращают в марионетку, как делает это Любимов, оно исчезает. И, на мой взгляд, напрасно один из наших общих с Макарычем друзей, Федор Абрамов, восторгался работой Любимова, поставившего спектакль «Деревянные кони». Я побывал на спектаклях по Абрамову и Можаяву. Знаю, что это за работа, хотя бы

у того же Любимова. Когда режиссер начал из двух моих повестей выкраивать нечто, понятное ему одному, я пресек общение с Таганкой. Опыт с Малым театром был несколько удачнее. Драматургия увлекала меня несколько лет. Пьесы шли, писать их было интересно. Этот альянс был ликвидирован лишь во времена Ельцина, слишком я был чужой тому, что началось в стране...

Разумеется, определенную часть души я отдал и кинематографу, еще в детстве и юности. Радовался великолепным актерским работам Жана Габена и некоторым фильмам итальянцев. И в Америке, по-моему, ненадолго, появлялось более-менее сносное кино. Вспомним хотя бы «Раз картошка, два картошка» или «Скованные одной цепью». Вскоре дурные подражательские фильмы отечественных и зарубежных деятелей сотнями потекли на наши экраны, они тушили мой интерес к кино. Думаю, что не только мой. Порнография совсем доконала кинематограф.

Знакомство с Макарычем несколько обновило мои отношения с кино, убедило меня в том, что искусство кино может существовать, если в одном лице совмещается сценарист, актер и постановщик. Плюс кинооператор — единомышленник постановщику. Лишь при этом довольно редком условии можно считать, что подлинное искусство с трудом, но все-таки пробивается из духоты условностей при создании фильма. (Так пробивается печной огонь, заглушаемый дымом, производимым самими же дровами, не желающими сразу вспыхнуть и гореть в полную силу.) И сейчас, на пороге семидесятилетия (жизнь, в общем-то, прожита), я думаю точно так же...

Может, мои требования к театру и кино, искусству как таковому, слишком завышены? Нет, нет и еще раз нет! Я благодарен судьбе, что я занижал их только по собственному малодушию, только из-за нужды либо из-за неблагоприятных внешних условий. И я счастлив, что сохранил в сердце трепетное отношение к понятию «искусство», что благодаря этому почти все, что мною сделано, кажется мелким, порою ненужным, заставляя краснеть. Стыдно и за то, что я был максималистом по отношению к другим, когда самому приходилось халтурить, изворачиваться...

А как работал, например, Николай Васильевич Гоголь или современник его художник Иванов? Гоголь рекомендовал писателю переписывать свои сочинения до десяти раз... (Это тогда, когда не было ни печатных машинок, ни компьютеров. Каждый листок надо было написать своею рукой. Но, может, и лучше, что своей-то рукой?)

В кино, как мне казалось, вообще невозможно избежать отчуждения. Шукшин, поддерживаемый Заболоцким, нехотя сопротивлялся моим доводам. Он доказывал преимущества кино, говорил о возможности общаться сразу с миллионami. Такая возможность была для него весьма дорога, заманчива и, на мой взгляд, обманчива. Признавая массовость, зрелищность, я говорил, что книга все равно надежнее целлулоидной ленты, даже в смысле физическом. Того же мнения, насколько мне известно, придерживались и Леонид Леонов, и Михаил Шолохов.

* * *

Весть о внезапной шукшинской смерти застала меня в деревне. Жена по телефону сообщила об этом ужасном событии. Не очень хорошо запомнил я все последующие дни и часы. От горя из памяти выпали важные разговоры и встречи со значительными людьми. Не стало самого верного друга, и многое вообще потеряло значение!

Насколько помню, главную тяжесть похорон Макарыча принял на свои плечи А.Д. Заболоцкий.

...Мой Христос-Эммануил стоял на полочке в квартире на улице Русанова. Серая шукшинская кепка и шарф, присланные из Волгограда, сиротливо лежали на письменном столе Макарыча. Сам он в это время находился в морге института им. Склифосовского. Мы с Толей и еще с кем-то (с кем — не помню) проникли в это печальное место. Макарыч, словно живой, лежал на постаменте. Это возвышение было то ли мраморное, то ли обитое жостью. Казалось, что трагическое выражение в шукшинском облике появлялось по мере того, как мы вглядывались в его такое родное, такое близкое лицо, уже подернутое смертельным бескровием. Кажется, нас торопили...

Нам еще сообщили, что будет производиться патолого-анатомическое исследование. Этого исследования почему-то не произошло. Кто-то из начальства распорядился не делать повторного вскрытия в институте. Достаточно, мол, и одного, волгоградского. Тело поспешно перевезли в Дом кино...

Очередь желающих попрощаться с Шукшиным повергла в изумление даже гугнивого Евтушенко. В Доме кино кинематографические бонзы хватали нарукавные повязки и суетливо сменялись у гроба нашего друга. Кто-то что-то делал, кто-то что-то говорил... Гроб завален был красными гроздьями. На Новодевичье приехало так много народу, что я с трудом сквозь густую толпу пробрался ближе к Макарычу. В давке пришлось пролезать под гробом... У Заболоцкого написано обо всем этом лучше, я же и сейчас не могу спокойно рассказать об этих похоронах...

Время, несмотря на общественные трагедии, не залечило две душевные раны: это кончина Анфисы Ивановны и смерть Шукшина. Недавняя смерть старшего брата Юрия и Саши Романова наложились на незажившие раны. Без нашего ведома растут скорбные списки. Рушатся даже бетонные памятники...

* * *

После смерти Макарыча я выбрал наконец время для поездки в Сростки и в Бийск, где доживала свои последние месяцы Мария Сергеевна. Она невероятно тосковала по сыну, болела как раз от этой тоски. Она до слез обрадовалась моему приезду и много рассказывала о его детстве.

Существовали эпизоды, о коих я не подозревал. Например, история с уткой, открывшая матери актерские способности сына. Собирали что-то съестное на болоте, что-то из растительности (не помню название). За этой работой он сказал: «Мама, хочешь, сейчас к нам прилетит утка?» Она изумилась: как может прилететь утка? А Вася громко крикнул, подражая утке. И вдруг большой красивый селезень прилетел откуда-то и уселся совсем рядом.

Оказывается, еще в детстве Шукшин умел подражать многим птицам. Эту его способность заметили в школе. Учителя, видимо, настойчиво ориентировали его на артистическое будущее...

Да что значит будущее крестьянского мальчика, когда безотцовщина свирепствовала по всей Руси великой?.. Нужда не обошла и дом Марии Сергеевны. В один из моих редких приездов я побывал в этом доме. Там жили совсем другие люди, но почти всё оставалось так, как в детскую пору Шукшина. Вот и та самая печь, на которой коротали часы двое сирот в ожидании матери. Вот забор и огород, где бегал любимый детьми пес Борзя, вот и тропка, ведущая к реке, к лод-

кам и островам... Мои хлопоты в Бийске по приобретению этого дома для музея успехом не увенчались, хотя хлопотали еще многие люди. На родине Макарыча еще действовал евангельский принцип, утверждавший, что не бывает пророка в своем отечестве. В Сростки, где пешком, где автобусом, я добрался быстро, но уехать обратно в Бийск хотелось еще быстрее. Душила меня горечь воспоминаний... Столовая при дороге щедро кормила шоферов, едущих по Чуйскому тракту. Я поговорил с дядей Макарыча, побывал в библиотеке, где зародилась у Шукшина неудержимая тяга к большой культуре. Постоял я у памятника погибшим в последней войне, прикинул, сколько однофамильцев среди не вернувшихся в Сростки. И сколько всех не вернулось. Мысленно присоединил к ним еще одного земляка. Считал я, считал и сбился со счета...

И вспомнился скорбный мартиролог, записанный в рабочую тетрадь режиссера в какой-то короткий промежуток между съемками: «Отец — расстрелян. Дядя Иван — расстрелян. Дядя Михаил — 18 лет отсидел в лагере, погиб на Колыме. Дядя Василий — сидел в тюрьме, попал в четвертый раз. Дядя Федор — умер в тюрьме. Дядя Иван Козлов — погиб на фронте. Дядя Илья — погиб на фронте в финскую. Дядя Петр — погиб на фронте. Двоюродный брат Иван — убит сыном из ружья. Двоюродный брат Анатолий — трижды сидел в тюрьме, готовится в четвертый раз». Этот список, как говорил Макарыч, был не полным...

Я поймал попутку, уехал в Бийск, где долго искал квартиру шукшинской сестры. Квартира на мой звонок промолчала, тогда я поехал поглядеть техникум, куда со своим домашним матрацем впервые уехал из дому наш Макарыч. Техникум не застопорил неудержимое движение мальчишки к неясной, но давно поставленной цели. Он сбежит из техникума. Он еще несколько раз вернется домой к матери и сестре, но цель была, она стала для него уже яснее. (Вспомним рассказ, вернее, библиографическую зарисовку «Самолет».)

Было грустно. В гостинице сутились какие-то залетные, вроде бы из Молдавии, эстрадники. В буфете то и дело появлялись странные люди. Парень с отчетливым азиатским обликом ходил по буфету с каким-то зверьком на голом брюхе. Суслик, что ли? Зверушка напоминала большую крысу... Она перемещалась по телу парня куда ей хотелось, он демонстрировал ее и свои способности, успевая прикладываться к стакану. Почему-то пришло на ум рубцовское: «Еще бы церковь у реки, и было б все по-вологодски». Ведь Коля тоже бывал на Алтае. Здесь, в гостинице я неожиданно встретил кинооператора Александра Саранцева. С ним мы познакомились в Швеции, где он работал корреспондентом телевидения. Мы помянули Макарыча бутылкой сухого вина. Шукшин метил Саранцева на роль Матвея, от коей я так решительно отказался.

Наутро снова пробовал я найти сестру Макарыча, только опять неудачно. Еще раз навестил Марию Сергеевну с гостившей у нее родной сестрой, теткой Макарыча. Старушки меня не отпускали, однако же остаться в Бийске еще на ночь я не мог. Как жалко, что у меня не было тогда магнитофона! Мой карман был все еще мелок для этой машинки. (Позднее эту безделицу я приобрел аж в трех экземплярах.) Мария Сергеевна жаловалась на барнаульскую писательскую братию — увезли, дескать, письма Васи, и с концами. Подсобили в этом деле барнаульцам московские и вологодские дамочки, обманувшие старуху сомнительной близостью к Шукшину. Я улетел в Москву.

Сохранилось одно письмо Марии Сергеевны, я приведу его в авторской орфографии.

«Добрый день Василий Иванович, с горячим поклоном Мария С. Господи, как я дожидалась от вас письма, Господи. Откуда только не были люди писатели журналисты критики корреспонденты а вас я не могла дождаться. Мне же охота поговорить с человеком кто Васю знал хорошо. Может когда нибудь где нибудь говорили с Васей на откровенность, ведь для меня каждое его словечко дорого каждая строчечка. Люди все хорошие приезжали добрые, может я за счет людей живу, все поговорят так душевно каждый хочет разделить наше великое горе. Я рада хоть бываю с людьми а кто был близко с Васей никто не приехал. Мы удивляемся, что же это такое неужели им его нисколько не жалко? Даже письмо не напишут. Спасибо Толе Заболоцкому. Он меня встретит и проводит когда я там была. Еще Люба Соколова изредка пишет, больше из близких никто черточки не написал, а вообще то я много писем получаю, не глупые не знаю человека (...) все. Только один критик хорошо знает Васю приезжал Коробов он мне кое что рассказывал о Васе, я так была рада, знал человек сына. Вроде Толя Заболоцкий посулился, может приедет, что нибудь бы рассказал о внуках и Лиде, мы же ничего не знаем как они живут. Обидно до горьких слез, Лида нам не пишет. Я писала писала а она не отвечает, мне даже стыдно стало я ее беспокою своими письмами, ну сейчас тоже напишу. Ну до чего же обидно, не могу говорить, захлебываюсь слезами. Милый сыночек был живой, каждый подвиг детей писал и я радовалась, а сейчас не вижу и не слышу. Очень тяжело на сердце. Приезжайте Василий Иванович я буду очень рада. Василий Иванович то что написала что Лида не пишет, я вас прошу Василий И. не говорить никому ради Бога. Мы никому об этом не рассказываем, только вам, потому что я знаю что Вася вас любил, вот я вам как сыну пожаловалась. У нас спрашивают многие, сноха то пишет? Пишет. Часто. Стыдно от людей да сына жалко до слез. От людей не хорошо, будут знать. Ну ладно Василий Иванович передавайте привет своей семье. До свиданья, будьте здоровы, с уважением и с любовью Мария С. Я о себе не написала. Я всю зиму болею сильно. От слез пишу а строчки сливаются, видно полны глаза слез, сердце все истерзано, от боли горла задыхаюсь. Вот сейчас пишу а по телефону звонок. Мама Шукина Василия М. слушайте 7 по радио в 12 или в час будут передавать вечер памяти Василия Макаровича, будет Васин голос. Господи до чего я рада, забыла буквы какие писать. Ну все Василий Иванович, я много наболтала, прости меня ради Бога. Ну время будет собраться напиши мне. А не будет ладно так.

Как они узнали наш телефон. Господи везде есть записи и хоть бы кто нибудь приехал к матери».

* * *

Летом однажды (не помню, какого года) Макарыч повез нас с Заболоцким в Белые Столбы — в богатейшее хранилище отечественных и забугорных фильмов. (Живо ли оно под чутким демократическим руководством?) Мы посмотрели подряд несколько лент. «Земляничная поляна» Бергмана не произвела особого впечатления. Психологическая заумь какого-то иного (по-моему, прибалтийского) фильма тоже сразу выветрилась из памяти. А вот испанский (или португальский?) фильм под названием «Веридиана» запомнился. В его оценке я был солидарен со своими друзьями. Если бы отсечь некрофильский мотив, белыми нитками пришитый сценаристом к основному сюжету, лента была бы превосходной. Но у ев-

ропейских киношников некрофилия, педерастия и прочая мерзость были всегда в чести. Этому подражали и наши кинодеятели вроде Абуладзе с его «Покаянием».

«Веридиана», верней, часть ее, исключая некрофилию, на какое-то время вернула мне доверие к кино. Однако я по-прежнему утверждал, что писательство для Макарыча важнее, чем кинематограф. Неожиданная поддержка в этом смысле была получена от Леонида Леонова в его письме к Шукшину. Казалось, что Макарыч начал сдаваться: «Вот поставлю Разина — и конец! Хватит!»

Но слишком уж глубоко увяз он в киношную бездну. Выбраться из нее было уж не под силу...

Случались в его жизни и праздничные отдушины в связи с премиями и выходом книг:

«Живу ничего. Дали мне, ты знаешь, премию (РСФСР) — за «Ваши сын и брат». Торжественное такое вручение! Куча красивейших дипломов, золотой знак на грудь... Банкет. С банкета я куда-то еще поехал (денег тоже много дали — 1200 р.), ночь... В общем, я все дипломы потерял. Знак на груди остался. Жду последствий: найдутся где-нибудь дипломы, их переправят в Верх. Совет, а там мне скажут: «Вы так-то с государственной премией обращаетесь! Вы член партии?» Черт знает, что будет. Мне и выговора-то уже нельзя давать — уже есть стр. с занесением в уч. к. Главное, такие штуки долго потом мешают работать.

Маню видал? Славная девка, русская! Я ее зову по-иностранному: Мэри Шук. Ну, будь здоров. Жду сценарий. Передавай привет ребятам. И семейству. Шукшин».

«Белович, дорогой! — пишет он в другом письме. — Письмо твое получил уже в Москве (переслали из Ялты). Был у меня вчера О. Табаков. Говорили о тебе, о твоей пьесе. Сгоряча оба засобирались к тебе — узнать, что с пьесой, и помочь, если это возможно. Про себя я подумал так: не сценарий нам надо бы написать (хоть это не исключено, если захочешь), а пьесу: ближе к литературе, как-то понятнее для писателя, не так шпыняет совесть, как сценарий. Охота мне, чтоб у тебя случились хорошие деньги, и ты бы не так зависел от каждой книги. Не знаю, как Табаков, но я к тебе приеду — поговорить об этом. Про сценарий так: хочешь, завтра с нами заключат договор. И есть режиссер... Но надо понять: что это такое будет для нас. Про Бондарчука... Если б взялся, сделал бы — это таран с кованым концом, он все может. Думаю, что предложит соавторство. На мой взгляд, оно не позорное. Он, правда, художник, несмотря на «Войну и мир». Кроме того, он сельский. С книгой у меня такая же история. Отклонили 11 рассказов, из 15 листов осталось 9. Я был там, говорят: ну, это тоже неплохо. Оно знамо, неплохо... Но, в отличие от тебя, я и не зависаю в безденежье — шут с ними. С паршивой овцы... Это редкое удовольствие, сказать: не подходит? — прекрасно!..

Приеду эдак через неделю: еще мотнусь в Коктебель, провожу своих. И поеду к тебе. К сведению, раз пишешь пьесу: вот вдруг стали активно предлагать (начальство) для кино и для театра «Две зимы...» Абрамова. На «Ленфильме» прямо наваливают одному режиссеру, а он не хочет... Что-то же случается там... Логику обнаружить трудно, но работать, видимо, надо. Приедем с Толей Заболоцким (оператором). А потом охота учинить тебе просмотр фильмов.

Будь здоров, дорогой мой человек! В. Шукшин».

Дипломы, по-видимому, нашли хорошие люди, потому как, судя по всему, худых последствий от их потери не последовало.

Макарыч приезжал с Толей, знакомился с Вологдой. Мы пешком пошли в кинотеатр Завокзального района смотреть фильм «Странные люди». Макарыч очень расстроился, народу оказалось — сосчитать можно. После сеанса пытались говорить с кем-то, результат еще хуже. Фильм зрителям не понравился. Народ был приучен к другому. А тут, мол, в одной картине сразу шесть фильмов. Макарыч на ус намотал, больше к новеллистике ни разу не возвращался. Да и много ли было этих разов? Не разбежишься...

Макарыч всерьез думал о литературе как основной своей деятельности. Но кино держало его довольно цепко. Стоило ли тратить на него так много сил, времени, нервов? Ему ставили подножки на каждом шагу. Особенно обидным было то, что к другим, например к Тарковскому, относились иначе: денег на постановки отпускалось Комитетом значительно больше, аппаратура, пленка предоставлялись намного качественней и т.д. Помню, каким-то ветром занесло меня на студию. Пробежали по павильонам, и вдруг я попал в глухую длиннющую деревянную трубу, сделанную из дорогостоящей вагонки. Труба в рост человека. Она была не прямая, даже с изгибами. Я изумился: «Что это, для кого такая машина?» Макарыч саркастически хмыкнул: «“Сталкер”». Слышал такое словечко? Я тоже не знаю, что оно значит. Наверняка что-нибудь да значит... Дают ему столько, сколько попросит».

Речь шла об очередном «гениальном» фильме Тарковского.

Деревянная кишка со специальными рельсами для операторской камеры тянулась далеко, стало как-то даже жутковато. Заболоцкий в своей книге говорит, что «Сталкера» Тарковский снимал в трех вариантах, меняя каждый раз оператора. Сам же Макарыч расходовал бюджетные средства весьма экономно, дешевизна его картин подтверждается документами.

Особенно возмущало нас хвастовство и шум, поднятые вокруг ульяновского «Председателя» (режиссер Салтыков). «Фальшиво же все!» — раздражался Макарыч, стараясь не быть услышанным каким-нибудь любопытным соседом. Я был полностью согласен с ним в оценке салтыковско-ульяновского «шедевра», поскольку у меня уже была написана статья «Деревенская тема в кино». Ее публикацию никто из культуртрегеров не осмелился опровергнуть. Но, может, я ошибаюсь? У нас не было времени следить за прессой. Помню, я до того осмелел, что на банкете по случаю «Дядюшкина сна», снимавшегося в Вологде, сказал что-то недружелюбное по поводу «Председателя». И кому — самой Мордюковой! Сказал, а после и сам испугался. В ответ на мое раскаяние Макарыч ругался: *«Мордюкову обидел? Кэх!.. Ее только колом осиновым можно обидеть, и то бесполезно...»*

В статье моей говорилось, что кино в общественной жизни занимает более скромное место, чем кажется зрителям, критикам и самим кинематографистам. Явная полемика с Макарычем. Конечно, он сразу это почуял, но ни разу не упрекнул, не сказал против моего радикального мнения ни одного междометия.

Только два раза произошла между нами стычка, и то скорее по моей вине. Занявшись драматургией, я чтит чистоту этого жанра (как любого иного жанра: прозы, например, рассказа или повести). Понятие жанра было для меня как бы непререкаемо: нельзя путать рассказы с очерками, пьесу с биографическими воспоминаниями. Поэзия, как таковая, разумеется, может и должна присутствовать в любом жанре, философия тоже, но законы-то у каждого жанра всегда свои, особые. Между тем в литературе и вообще в культуре пошла мода на безответственное и

безобразное смешивание. В прозе, к примеру, проступали признаки драматургии, в стихах явились признаки прозы, в драме просвечивались киносценарии...

Профессиональный писатель, как мне казалось, обязан уметь работать в любом жанре — от романа и поэмы до обычного очерка. Хотя бы для того, чтобы кормиться, жить за свой, а не за чей-то счет, при этом, в меру своих возможностей, не халтурить.

С такими эстетическими убеждениями я считал, что то, что интересно делать, то и надо делать, что хочется, то и пробуй делать. В этом Ульянову я не противоречу... Не трусь и не бойся любого жанра. Разумеется, к чему душа совсем не лежит, к таким жанрам лучше повернуть своим тылом... Но что за писатель, если он трус? Уперся в одно и упрямо боится свернуть с раз и навсегда избранного пути?

Конечно, в мире полно графоманов, как и наркоманов. Сходство двух этих категорий просто полнейшее. Редкий наркотик уступает литературному «зелью». Доказательств тому тьма. Теперь даже президенты, банкиры, депутаты издают свои книги. Зачем? Тайна сия велика есть...

Истинный писатель тоже тайна. Что значит этот самый талант? Почему одних читают, других и не думают? Как определить, надо или не надо читать определенную книгу? Как понять, на что способен ты сам, и, если способен, в какой мере? Каждого человека от молодых ногтей ждут подобные искушения, каждый проходит через это, хотя бы при выборе профессиональной деятельности. Писательский ореол у людей почему-то на особом счету... Меня тоже ослепил он, этот ореол, еще в юности, в пору первой любви, в пору всяких надежд и мечтаний. Хотя эта пора и была холодной и голодной, судьба милосердно привела меня в Москву, в Литинститут, посадила рядом с более юными и, может быть, более способными... Лучше было недооценить, чем переоценить свои силы и данные Богом способности. Но если уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да, сладкий заманчивый яд известности мешался с высокой радостью литературного творчества, хотя я и до сих пор стыжусь в полный голос произносить это слово...

Примерно при таких чувствах я взялся за драматургический жанр, этот жанр был очень привлекателен, интересен. Он завлекал мою душу сюжетами, манил и другими возможностями. Мои взгляды на драматургический жанр слегка отражены в статье «Театральные размышления» (книга «Раздумья на родине», 1986 год, изд-во «Современник»).

Мое представление об идеальной пьесе не совместились с шукшинскими драматургическими опытами того периода. Его постановка в театре им. Маяковского на малой сцене мне не понравилась, и я прямо сказал об этом Макарычу. Его заело... Он раздраженно заговорил, какая это зацепка для его недругов, как обрадуются они такой оценке спектакля. О пьесе «Энергичные люди», поставленной в театре Товстоногова, мы тоже не сходились во мнении, в пьесе хозяйничал сценарист, а не драматург. Но я щадил своего друга и несколько попридержал свой язычок...

Шукшин стремительно двигался к своему драматургическому шедевр-завещанию «Ванька, смотри!» В журнале, на мой взгляд, зря переменили название пьесы. Но «Энергичные люди» не волновали, не трогали моего сердца. (Пьесы Александра Вампилова, тоже сибиряка, больше отвечали моему драматургическому настрою.) Шукшин умел учиться, на ходу постигал секреты мастерства, не боялся никакой критики, признавал любую, кроме заведомо лживой, сказанной с определенными целями. В цитируемом письме он признает, что сценарий дальше

от настоящей литературы, чем пьеса. Наверное, он уже задумывал свою сказку. И может быть, не без моего влияния задумывал, поскольку мы говорили и про новомировского «монаха», и про мои бухтины с медведем. Наверное, мне можно гордиться теперь: ведь сюжеты с монастырем и медведем наваял ему я, он читал все, что выходило из-под моей грешной руки. Поэтому о каких размолвках можно говорить!

Тем не менее я тоже был обижен публикацией «Кляузы». За нее уцепились наши общие недруги. Насколько мне известно, Макарыч просил жену показать «Кляузу» Белову и, если тот возражать не станет, отдать ее в печать. Лида же не показала мне рукопись, поспешила напечатать, сказалось вечное женское стремление к благополучию деток. В своем письме к Шукшину я, вероятно, попенял Лидии Николаевне за «Кляузу», так как Макарыч пишет:

«Лида прочитала по телефону твое письмо.

...Вася, это не будет все, это про то, как один лакей разом, с ходу уделал трех русских писателей. Это же славно! Не мы же выдумали такой порядок. Чего тут стыдного? Ничего, ничего — я чувствую здесь неожиданную (для литературы) правду... Клейма на такую форму рассказов у них еще нет, в эту-то прореху и сунуть.

Толя едет к тебе в деревню... Отступаете? Ну, отдохните. Напиши за неделю документальный рассказ: так мне стали нравиться документальные рассказы. Ну, душой буду с вами, а телом в Кунцевской больнице. Вот же хворь — это стало уже угнетать: я же так ни черта не сделаю! Так охота работать!»

Дальше, наверное, в ответ на мои семейные жалобы, пишет:

«Я про своих родных и думать-то и рассказывать боюсь... Непролазно, Вася, черно. Как же быть?! Как быть-то? Одно знаю — работать. А уж там как Бог хочет».

Была еще такая приписка:

«А по весне-то (в марте хоть) не собираешься ли опять в деревню? Ах, поприся бы с тобой! 6 февр. 74 г. Обнимаю. Шукшин».

Наверное, это единственное письмо, где указана дата. Остальные даты можно определить лишь по почтовым штампам. Но конверты я выбрасывал, освобождаясь от лишних бумаг. Одна открытка с собачкой пекинской или японской породы сохранилась:

«Вася, здравствуй! Ничего — просто лежу в больнице. Выглянул в окно — весна. Дай, думаю, поздороваюсь с тобой, поздравлю с Весной. Вот и все. Да и собачка понравилась — похожа на редакторшу. Верно? Большие писать нечего. Дай Бог тебе здоровья! Шукшин».

Шаппы на открытке оказались неразборчивы, какой был год, можно определить лишь по предыдущему письму.

Не знаю, какие слова были написаны Шукшину Леонидом Леоновым, но встреча с Шолоховым перевернула у Макарыча все его представления о бытовой безопасности. Поневоле приходится пользоваться такими терминами, поскольку без такой безопасности ничего не сделать, будь ты хоть семи пядей во лбу. Макарыч знал об этой истине и раньше, но встреча с Шолоховым просто доконала его:

«Вот в ком истина! Спокоен, велик! Знает, как надо жить. Не обращает внимания ни на какие собачьи тявканья...»

Он вернулся с Дона совсем с другим настроением, хотя съемки военных событий выматывали. Таскать противотанковое ружье было не под силу даже Алеше

Ванину, одному из верных, любящих Макарыча киношных людей. Алексею Ванину Шукшин доверял. Как доверял он и оператору Анатолию Заболоцкому.

* * *

Макарыч не оставлял мечту поставить «Разина», рассчитывал на административную поддержку Бондарчука. Поэтому и согласился играть в фильме по роману Шолохова. Как актеру ему вовсе не хотелось работать. Сценарий «Степана Разина» сделан, предстояла борьба за постановку... Борьба нешуточная, изнуряюще-долгая, почти бесперспективная. Но он верил в удачу. И, надо сказать, кое-где судьба ему помогала. На ЦК и угрюмого тамошнего сидельца Шауро надежды были плохи. Макарыч приглушенно смеялся над привычкой Шауро запирается в кабинете и играть на гармошке. Это были, разумеется, сионистские слухи, но мы судили о Шауро и Суслове не по слухам, а по их делам. Дела же казались зловещими. Суслова русские патриоты считали масоном, но разве сравнима шауровская гармонь с черномырдинской? Сусловский выдвиженец Горбачев в то время высиживал свое предательство России где-то в Ставропольском крае...

Прочитав сценарий «Степана Разина», я сунулся с подсказками, мое понимание Разина отличалось от шукшинского. Разин для меня был не только вождем крестьянского восстания, но еще и разбойником, разрушителем государства. Разин с Пугачевым и сегодня олицетворяют для меня центробежные силы, враждебные для русского государства. Советовал я Макарычу вставать иногда и на сторону Алексея Михайловича.

«Как же ты так... — нежно возмущался Макарыч. — Это по-другому немножко. Не зря на Руси испокон пели о разбойниках! Ты, выходит, на чужой стороне, не крестьянской...»

Горячился и я, напоминая, что наделали на Руси Пугачев и Болотников. Вспоминали мы и Булавина, переходили от него напрямую к Антонову и Тухачевскому. Но и ссылка на Троцкого с Тухачевским не помогала. Разин всецело владел Макарычем. Я предложил добавить в сценарий одну финальную сцену: свидание Степана перед казнью с царем. Чтобы в этой сцене Алексей Михайлович встал с трона и сказал: «Вот садись на него и правь! Погляжу, что у тебя получится. Посчитаем, сколько у тебя-то слетит невинных головешек...»

Макарыч задумывался, слышалось характерное шукшинское покашливание. Он прикидывал, годится ли фильму такая сцена. Затем в тихой ярости, однако с каким-то странным сочувствием к Разину, говорил о предательстве Матвея и мужицкого войска. Ведь оставленные Разиным мужики были изрублены царскими палашами. Он, Макарыч, был иногда близок к моему пониманию исторических событий. Но он самозабвенно любил образ Степана Разина и не мог ему изменить. В этом обстоятельстве тоже ощущалось нечто трагическое, как в народной песне о персидской княжне, как в сибирской песне «Миленький ты мой» или в песенке о снегах, что пела Анфиса Ивановна. Смутный, щемяще-печальный образ оставленной женщины, как мне сейчас представляется, не покидал Макарыча и в сценарии «Позови меня в даль светлую». Питался этот образ, наверное, тоской по родине, раздумьями о матери и жалостью к родной сестре. Кто знает, на чем держатся образы? Говорить об этом опасно, так как тут довольно легко впасть в субъективизм, еще легче ошибиться и сказать о человеке какую-нибудь неправду.

В статье 1978 года «Возвращаясь к первоначальным истинам» я пробовал до-

кричаться до всех гложущих в нравственно-эстетическом смысле. Но ни до кого не докричался! Наоборот, отвлекающий журналистский треск вокруг искусства совсем глушил редкие предостерегающие голоса. В «Литературной газете» (№ 7 за 1978 г.) со всей категоричностью заявлено: «Театр стоит перед альтернативой: либо содействовать многократному посещению... одной и той же аудитории — упор на постоянную публику, либо привлекать все новых и новых зрителей — упор на разового зрителя». Каких только альтернатив не придумали культурные перестройщики, чтобы напустить туману, запутать простые вопросы ради того, чтобы продлить государственную кормушку для халтурщиков-дармоедов. Впрочем, приравнивался к этой кормушке и я, мои пьесы шли тогда более чем в тридцати провинциальных и столичных театрах. Халтура ли это была? Конечно, время поглотит мои пьесы, но мне за них почему-то не стыдно... По крайней мере, на общественно-эстетические требования времени мы старались как-то отвечать. Шукшин своей сказкой мужественно ударил по театральному столу кулаком. Трехголового Змея Горыныча в литературе до него не было. В своем Иване, poslanном за справкой, что он не дурак, Макарыч с горечью отразил судьбу миллионов русских, бесстрашно содрал с русского человека ярлык дурака и антисемита, терпимый нами только страха ради иудейска. После Гоголя и Достоевского не так уж многие осмеливались на такой шаг! Быть может, за этот шаг Макарыч и поплатился жизнью — кто знает? Знал, может, один Жора Бурков, но ведь и Жоры вскоре не стало...

* * *

В последний раз я видел Макарыча летом. Он был порывист, возбужден и нервозен. Они о чем-то договаривались с Николаем Губенко. Довезли меня до какого-то метро, я уезжал в Вологду, а Макарыч в этот же день улетал на Дон в группу Бондарчука. Вышел он из машины, чтобы попрощаться со мной и с Губенко. День был жаркий. Мы суетливо расстались где-то около центра, кажется, на Садовом. Следующая наша встреча произошла тоже на Садовом, в морге института им. Склифосовского... Мне и сейчас лучше не вспоминать эту печальную встречу с другом.

Болгарский журналист Спас Попов, студент Литинститута, с помощью Гр. Цитриняка взял у Шукшина последнее интервью.

Итак, последние слова Шукшина были записаны на хуторе Мелоголовском во вторник 16 июля 1974 года в 9 часов утра. Попов и Цитриняк спросили Шукшина о Шолохове. Шукшинская характеристика М. Шолохова оказалась несколько иной, чем в клеветническом «Стремении “Тихого Дона”»:

«От этих писателей я научился жить суетой. Шолохов вывернул меня наизнанку. Шолохов мне внушил — не словами, а присутствием своим в Вешенской и в литературе, — что нельзя торопиться, гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, где можно осмыслить глубоко народную судьбу. Ежедневная суета поймать и отразить в творчестве все второстепенное опутала меня. А он предстал передо мной реальным, земным светом правды. Я лишний раз убедился, что занимаюсь не своим делом. Сейчас я должен подумать о коренном переустройстве своей жизни. Наверное, придется с чем-то распрощаться — либо с кино, либо с театром, либо с актерством. А может быть, и с московской пропиской... Суета! Это многих губит. Если занимаешься литературой —

распрощайся с кино. Многое для меня остается пока необъяснимым. Но то, что кино и проза мешают друг другу...»

В этой беседе Макарыч восторженно отзывался и о Белове, «сидящем в Вологде». Думаю, что, идеализируя мое «вологодское сидение», он преувеличил мои достоинства. На вопрос о литературном мастерстве Макарыч так отвечал болгарину:

«Хороший писатель иногда такого наговорит о своем литературном мастерстве, что потом, когда одумается, — самому станет противно. Я считаю, что не имею права никому ничего навязывать. Боюсь я исповедей об индивидуальной работе, о внутреннем мире писателя во время творческого процесса».

В конце интервью вновь чувствуется горечь от потерянных на кино сил, здоровья, времени:

«Сейчас я думаю о коренном переустройстве своей жизни. Пора заняться серьезным делом. В кино я проиграл лет пятнадцать, лет пять гонялся за московской пропиской. Почему? Зачем? Неустроенная жизнь мне мешала творить, я метался то туда, то сюда. Потратил много сил на ненужные вещи. И теперь мне уже надо беречь свои силы. Создал три-четыре книжечки и два фильма. Все остальное сделано ради существования. И поэтому решаю: конец кино! Конец всему, что мешает мне писать».

Журналист спрашивает: «Могу я все это напечатать?» — «Конечно. Я потому и согласился на наш разговор».

* * *

На этом общение Макарыча с газетами, с миром, со всей суетой жизни — завершилось. Ему не удалось пожить ни в новой, наконец полученной квартире, ни в новой для него обстановке, свободной от кино, пожить свободным от предательства сподвижников, засилья лстивых, коварных «французов», свободным от постоянной материальной нужды и боязни за незащитных родных и близких людей.

Но и с того, с другого берега Макарыч продолжает кричать: «Ванька, смотри!»

Россия будет всегда благодарна Шукшину за этот предостерегающий окрик, хотя мы не услышали этот окрик в нужное время. Сергею Викулову, моему земляку, несмотря на осторожность и окружающие страхи, удалось тиснуть сказку в журнале. Пусть и под другим заголовком. (И ничего страшного не случилось ни с журналом, ни с главным редактором. Редколлегию не разогнали, «Наш современник» продолжал выходить номер за номером.)

Сказка Шукшина пошла в народ, увы, уже после смерти Макарыча. Ее читали и перечитывали. Ставили самодеятельные коллективы и, кажется, замахивались профессионалы.

* * *

Все в этой жизни было взаимосвязано, взаимообусловлено. (Никак не вспомню философский термин, обозначающий такое явление. Детерминизм, что ли? «Культурный» еврейский щеголь типа Фридриха Горенштейна обрадуется, назовет такую мою забывчивость «духовным нищенством». Уж он-то никогда не забудет, что значит этот самый детерминизм.) Даже предательство друзей объяснимо, хотя душа не желает верить никаким объяснениям. Шукшину было больно предательство Куравлева — какие тут объяснения? Переманили слабого человека,

женщина убежала к другому, более молодому — переманил он ее. Переманивают деньгами, более легкой жизнью, даже новизной, даже какой-нибудь модой.

О моде он с ненавистью писал специально, писал статью, моду он презирал. Человека, гонящегося за модой, не принимал всерьез. Даже женщины такого склада вызывали у него ухмылку, что уж там говорить о мужчинах.

Мещанскую моду на академические знаки он преодолел ВГИКом, моду на славу преодолевать не стремился, потому что она приносила ему какую-то, пусть относительную, материальную независимость, возможность помогать матери, родным и близким. Этой возможностью он дорожил больше, чем жизнью.

Теоретически он понимал предательство слабых людей, хотя бы того же Куравлева. Только ведь одно дело понять умом, другое — сердцем. Сердце его кровоточило. Забота и боль о матери и жене, о всех трех дочерях, о сестре и племянниках не отпускали его ни на минуту. Говорить с миллионами, то есть стать деятелем кино, его заставила первоначальная тяга к искусству, а за ней уже и осознанная боль, о которой он писал мне в письме. Боль, полученная по наследству, обернулась стремлением к киношной профессии, то есть ко ВГИКу. Ради этого он учился тошнотворному коллективному творчеству. Ложная романтика губила многих из нас... А бесследно ли разрушение в таком виде творчества, как кинематограф, хрупкого интимного мира? Он жил как в аквариуме. Тысячи писем, миллионы изучающих глаз. Он никого не хотел, не мог обижать, поскольку от природы был добр, хотя коллективных врагов из стана Фридриха Горенштейна глубоко презирал.

Упомянутый стан еще при живом Шукшине почти открыто противостоял его родине — России. Щедрость и доброта Макарыча проявлялись даже к индивидуальным фридрихам. (Какая переключка в именах с известными завоевателями, вечно грозящими России со стороны цивилизованного «свободного» Запада!)

Как бы сложилась его жизнь, не будь он сыном расстрелянного сибирского крестьянина, объявленного «не с числа, не с дела» каким-то кулаком теми же фридрихами? Если б он закончил в свое время школу, затем институт, затем... Но ему выпала иная стезя, иная доля, связанная с колхозной нуждой, с флотской службой и т.д. А кто бы работал на поле и стройке, кто бы служил на кораблях? Фридрихи, что ли? Они бы ничего этого делать не стали. Они еще до своего рождения отгородились от кораблей и колхозных полей дипломами своих родителей.

Диплом давал фридриху горенштейну право на гнусные слова о «фальшивом» алтайском интеллигенте, будто бы печатающемся где ни попадя. Сколько презрения и ненависти сумел выплеснуть этот фридрих в каких-то двух страницах текста! Талант, несомненный талант... Бесовский талант. Дипломы таким давались не зря. С помощью дипломов вручались в их ведение художественные и технические институты, академические театры, киностудии, важные должности в областях и столицах. Для крестьянских детей после этого уже не было зеленого света в искусство, в литературу. Без аттестата зрелости Игорю Тихонову нечего было и мечтать о продвижении. Сиди в своей сапожной либо ходи по крышам (последние месяцы жизни Игорь работал кровельщиком). Но даже над Ольгой Фокиной, выросшей на медные деньги в безотцовщине, получившей свой законный диплом, крокодильские сатирики издевались: «Вам рано, мадам, в Европу, сидите в своих вологдах». Впрочем, ни на талантливые поэмы, ни на романы фридрихи способны не были, иное дело эпиграммы или двусмысленные сальные пародии. В этой сфере они непревзойденны и по сие время.

Есенинская «Волчья гибель» ходила в Вологде рукописно, я переписал ее у Игоря Тихонова. Не случайно и Макарыч выделял у Есенина именно это стихотворение. Есенина он, как говорилось выше, просто боготворил. В воспоминаниях Ольги Румянцевой (записанных А. Лебедевым) говорится, как любил Шукшин Сергея Есенина, как они с Ирой (дочерью Румянцевой), сидя где-нибудь в углу, пели романсы на есенинские слова и с каким жадным волнением слушал он живой голос Есенина, читающего монолог Хлопуши. «Когда монолог закончился, — рассказывает Ольга Михайловна, — Шукшин сел и заплакал. На другой день он снова пришел слушать эту пластинку. Сидел молча, опустив голову». А с какой болью, вспоминает далее Румянцева, пел он есенинское «Клен ты мой опавший», «Ты жива еще, моя старушка», «Над окошком месяц»...

Конечно, логика Фридриха Горенштейна не допускает иного пения, кроме пьяного. Но песни и слезы Макарыча были иного происхождения, иного свойства... Об этом с неумолимой определенностью говорит и сказка-пьеса, написанная почти перед смертью и никем из корифеев до сих пор не замеченная. Театр русский горенштейны постоянно «совершенствовались», в своих интересах, конечно. Помню, как в драмтеатре богоспасаемой Вологды шла постоянная чехарда с режиссерами. Меняли, мудрили, перестраивали. Администрация за счет винной торговли перестраивала и само здание драмтеатра, где режиссер Баронов поставил мою пьесу. Построили новый драмтеатр, старый сделали ТЮЗом — опять перетряска, опять новые «художественные» кадры. Не знаю, как сказывалось все это на жизни, например, Марины Владимировны Шуко, превосходной актрисы, игравшей мою, а потом и распутинскую героиню. Плохо, наверное, сказывалось, если она умерла так неожиданно, чуть ли не в дороге. Директор театра Лифшиц, обретающийся сейчас в США, был доброжелателен к моим драматургическим дебютам, а режиссеры то и дело менялись, и каждый волок с собой свой репертуар и даже актеров. Поучаствовал в режиссерской чехарде и друг Жоры Буркова, какой-то бесцветный уральский парень, он поставил у нас спектакль «Завтра была война» и бесследно исчез. На Таганке «Зори», у нас «Зори». Кругом Борис Васильев, а Шукшина нет как нет, хотя тот же Бурков, подобно Ульянову, обещал поставить сказку. В планы культуртрегеров Шукшин с его Змеем Горынычем явно никак не влезал.

И что говорить про [них], если и сама Лидия Федосеева-Шукшина таскалась по демократическим московским трибунам, громогласно, чуть ли не от имени Макарыча, заявляла о своих сомнительных политических взглядах? Не знаю, что бы сделал с ней Макарыч, будь он при этом живым. «Умер вовремя», — говорят некоторые. Может, и вовремя... Нет, совсем, совсем не вовремя умирают такие люди, как Шукшин, Солоухин, Абрамов!

«...Эта личность меньше всего заботилась о самой себе, о том, как бы проводить в самой себе грани... Вот я — актер, а вот это я писатель...» Сергей Павлович Залыгин, вы не правы, когда так говорили о Шукшине в предисловии к его двухтомнику. Грани эти он в себе чувствовал и о себе заботился. Иначе бы не сказал то, что сказано Спасу Попову о московской прописке. Сидеть сразу «в трех санях», как выразился М.А. Шолохов, ему действительно было нелегко. Грань между кино и литературой была, и очень острая. Кинематограф оказался убийственно тесным для этой личности. Шукшин задыхался в сверхинтеллектуальной киношной среде. Разве о том мечтал он, стремясь в Москву?

Его сердце сжималось от жалости, когда он слышал плач ребенка. Спокойно относиться к детским слезам он не мог, чей бы ни был ребенок. Что уж говорить о собственных дочерях? К талантам Лидии Федосеевой относился сдержанно, иногда с юмором, стоически терпел отлучки, связанные с ее артистической деятельностью. Куда денешься, коль на актрисе женился? Порой и девочки вовлекались в киношную бучу. Он соглашался, что детям такая ранняя киношная слава идет во вред. Между тем почти вся кинематографическая и театральная среда была уже пронизана родственными связями. Как-то даже было принято: режиссеры-мужья обязаны снимать своих жен. Снимали и дочерей, и младенцев... Мне представляется, что отлучки жены, связанные с командировками, не шли на пользу семье Макарыча. Шукшин иногда нервничал и ярился.

Помню, он открыл мне дверь на улице Русанова. В квартире ни дочерей, ни жены. Макарыч завернул матерком, было время завтрака, а есть нечего. Достал из холодильника большой кусок мяса и начал насаживать его чесноком. Чеснок-то надо было еще чистить. Он ловко, стремительно справился с этим, навтыкал с помощью ножа чесноку в мясо и начал жарить, рассказывая про Герасимова: «Тамара Макарова не каждый день кормит Герасимова... Но такие зубры голодом сидеть не будут. Сам возьмет и нажарит. Пырьев тоже с бабой скандалил. Зверь-баба, выгнала нас обоих, когда я по-сибирски затесался в квартиру. До сих пор стыдно... Я-то думал, что уж Пырьев-то... А им тоже жена командовала».

От завтрака я отказался. Пришел сосед по дому, а может, и по подъезду, незнакомый мне безрукий актер. Макарыч был рад и ему... Чувствовалось, как он тосковал в пустой свибловской квартирке, как был одинок и взвинчен без жены и без дочек.

Когда долго не было писем с Алтая, он приходил в отчаяние, слал телеграммы матери, слезные письма. Надо признать, ни я, ни кто другой из его близких друзей вряд ли писали так своим матерям:

«Мамочка, милая ты моя! Родная моя! Что же там у вас случилось такое? То ли ты заболела — не дай Бог! Мамочка, моя родная, неужели ты заболела? Ангел ты мой родной, напиши мне скорее письмо. Друг ты мой старший, друг бескорыстный, сообщи мне, ради Бога, что у вас там случилось. У меня душа болит за Талю, за ее ребятишек».

Нет, это надо признать, я со своей матушкой, Анфисой Ивановной, был намного сдержанней, жестче и суше как в письмах, так и в прямом общении, хотя она дорога была мне, наверное, не меньше. Я стремился к какой-то мужской сдержанности. В один из приездов Шукшин оказался свидетелем моей резкости в обращении с матерью. Он подождал, когда она ушла в другую комнату, и тихо, с укоризной сказал: «Что ж ты так... С матерью-то. Потом ведь каяться будешь».

Он как в воду глядел. После смерти Анфисы Ивановны от горя три года я не мог написать ни строчки. Казалось, что жизнь кончилась, и нет в ней ни капли смысла... Лишь на четвертый год я начал приходить в себя.

Понятно, что с таким традиционно-русским, христианским отношением к миру Шукшин даже спрашивал у Марии Сергеевны в письме разрешение обзавестись третьим ребенком. Он мечтал о сыне, чтобы дать ему отцовское имя — Макар.

О женщинах, рвущихся в поэзию и литературу, мы говорили с некоторым недоверием и даже сарказмом, по выбору. Одно дело, например, москвички Инна

Кашежева с Риммой Казаковой, другое — ленинградки Ольга Берггольц и Светлана Кузнецова. О женщинах-редакторах — тем более по выбору. Таких, как Ольга Михайловна, на Руси обреталось не так уж и много, но не так уж и мало. Имелись они не в одной Москве. Наверное, в каждом областном центре. Таких благородных женщин вытравила из жизни горбачевско-ельцинская перестройка! Мало осталось... Как бы они могли сохраниться, если не стало мощных, на весь мир прославленных издательств, когда уничтожена могучая книжная культура, когда на книжный рынок хлынула безжалостная и вонючая детективно-сексуально-суицидная волна? Вологодские дамочки-книготорговцы однажды (когда я попросил обзавестись моей книгой, напрасно лежащей в Москве) начали рекламировать омерзительный опус, пропагандирующий все известные способы самоубийств. Словно нет у человека иных, более необходимых задач.

А как было толковать без юмора как бы и не совсем о женщинах — о существах, приобретших или стремящихся приобрести свойства мужчин, утрачивающих или утративших вековые женские свойства? К этим свойствам мы относим беззащитную нежность, физическую слабость, сердечное очарование, то есть то, чего нет у мужчин. Не зря же говорят: прекрасный пол, сильный пол. Я рассказывал Макарычу об Анне Ахматовой, виденной мною в Комарове, о ее величественном, почти мужском профиле, о ее мужском голосе, так не сочетавшемся с ее дамским интересом к ежедневному меню и мелочному вниманию окружающих. Мне казалось, что все эти свойства не сочетаются с ее могучим талантом. Вероятно, похожа была на мужчину и Марина Цветаева, по крайней мере, если судить по манере стихосложения. Но, может быть, так и положено? Не знаю... Пушкин писал и такие строки:

*Не дай мне Бог узнать на бале
Иль при разъезде на крыльце
Семинариста в желтой шали
Иль академика в чепце.*

Так или иначе, нам было несколько странно слышать с эстрады мужской бас, производимый женским горлом, иль видеть в актрисе мужские ухватки. (Я говаривал об этом публично, вспоминая пушкинское четверостишие.) Отношение к дамским усам было выражено в литературе тоже Пушкиным. Наверное, он был заодно с уличными мальчишками, что углем дорисовывают эти усы на афишах. Образ «усатой ведьмы» витал в мире задолго до Пушкина. Быть может, трогать нечистую силу не стоило даже и самому Шекспиру? Кто знает, чем оборачивается фамильярность с бесовской стихией...

* * *

К 60-летию со дня рождения Шукшина я тиснул заметку, где говорилось, что чуть ли не на второй день после кончины писателя сразу во всех крупных московских издательствах появились заявки. Люди, не любившие его, видевшие его лишь в кино, ринулись «увековечивать» шукшинскую память. Пришла такая заявка и в издательство «Советский писатель». Автор «Блокады» Чаковский требовал поставить в план то ли восемь, то ли десять печатных листов... Мы с Сергеем Залыгиным и еще кем-то вздумали остановить нахальных «биографов» с помощью альтернативных заявок. Сергей Павлович послал заявку в издательство «Совет-

ская Россия», а я в «Совпис». «Увы, я не написал эту книгу, — жаловался я сам на себя в заметочке, посвященной 60-летию. — Причин поначалу было всего две: во-первых, цензура, во-вторых, я не мог писать о Шукшине, пока не написано о Яшине. С годами цензура хоть и не исчезла, но как-то слегка ослабла, зато число ушедших друзей безжалостно увеличивалось. Николай Рубцов и Федор Абрамов окончательно меня осиротили, надолго выбили из колеи...»

Далее говорилось: «...чешется мой язык сказать, что виновато издательство (юрист «Совписа» регулярно напоминал мне об авансе, намекал на то, что дело будет передано в суд). Однажды, получив гонорар в другом месте, я сдал в кассу «Советского писателя» восемьсот с чем-то рублей, поднялся наверх и показал квитанцию главному редактору В. Карповой с тем, чтобы продлить договор. Результат был весьма прост: она переоформила договор. На себя...»

Да, литературные дамы не стеснялись уподобляться стервятникам, стремящимся разбогатеть на памяти и одновременно опорочить эту память как можно ехиднее. (Я не говорю, что Валентина Карпова была точь-в-точь такой.)

Известный молдавский писатель, толочшийся больше в Москве, чем в Кишиневе, сочинил статью о Василии Шукшине. Назвал эту хитрозадую статью «Долгое расставание». Чего, мол, так долго все его вспоминают? Может, пора и забыть?

Литературные дамочки умыкнули у больной Марии Сергеевны большую часть шукшинского архива и теперь используют его не в лучших целях. Они представляются добродетельными прижизненными друзьями Макарыча. Положим, Макарыч не чуждался при жизни и дамочек. Но зачем же сочинять небылицы? «Смерть Шукшина пришла тогда, когда он исчерпал себя...» Эту мысль отстаивает не только Ирина Ракша. Впрочем, слава Богу, сочиняют не все, кто знал Шукшина. Бэлла Ахмадулина, наверное, могла бы сочинить целую поэму о том, как она совместно с Куравлевым и Шукшиным «работала» в первом шукшинском фильме. Не сочиняет, и ладно...

Недоброжелатели Шукшина спокойненько остановили фильм о народном крестьянском восстании. «Степана Разина» не пустили дальше мосфильмовского порога, а Макарыч, как Пушкин перед женитьбой, неожиданно угодил в карантин. Клевреты и без холерной палочки легко справились с задачей. Степан Тимофеевич не прошел... Анатолий Заболоцкий в книге «Шукшин в кадре и за кадром» довольно живо рассказывает об астраханском холерном сидении.

* * *

Не обращая внимания на подножки, Шукшин упрямо верил в успех, продолжал собирать материал для съемок, встречался с нужным народом. В Вологде мы забирались на колокольню, разглядывали часовые шестеренки, оглядывали окрестность с высоты птичьего полета. Макарыч жадно поглощал все, чем славилась Вологда, начиная с купца Непеи, первого посланника в Англию, кончая Сергеем Есениным. В ту пору еще были живы некоторые свидетельницы приезда Сергея Есенина в наши края.

Двое друзей, Ганин и Есенин, ехали из Петрограда в Вологду, намереваясь свершить свадьбу Ганина с Зинаидой Райх в деревне у родителей Ганина. По дороге Райх перекинулась во власть Есенина. Ганин не стал ее удерживать. Не доезжая до деревни жениха, Зинаида обвенчалась с Есениным в церкви Кирика и Улиты, что под Вологдой. После этого все трое отправились к родне Ганина в деревню

Коншино Кадниковского уезда. Жители этой деревни долго помнили Есенина, с гармошкой гуляющего по деревне во время православных праздников. (Иных в то время еще не праздновали. Деревня была уничтожена теми же силами, от которых погибли и праздники, и Ганин, и Есенин. Да, пожалуй, и сам Шукшин.) Макарыч хмуро слушал трагическую историю о гибели Ганина, а есенинскую судьбу он и без меня знал назубок.

Судьбы русской культуры плотно увязаны с гибелью Пушкина и Есенина. А сколько их было, не менее трагических жизненных финалов, завершавших путь наших национальных творцов! Предчувствия не оставляли и самого Шукшина. После создания сказки эти предчувствия явно обострились...

Сейчас я думаю, с каким трудом, какими аптечными дозами проникала подлинная (народная) правда на русскую сцену, в русский кинематограф (ведь было же у критиков и такое выражение — русский кинематограф). Дураку ясно, почему Шукшин начинал с кино, и почему на него так ополчились, и откуда у него такое многообразие «чудиков».

А как было пробиться через толстокожую марксистскую критику? Вся она была основана на городской, преимущественно интеллигентской эстетике, на установившихся догмах, на диамате и т.д. Это теперь марксистские обскуранты массами бросились в капитализм, и нынешняя власть позволила на все лады клясть Россию. А в те, как говорят, застойные годы Шауро с Сусловым держали их, сердешных, в добротной узде.

Шукшин и гвоздил зрителей, читателей, слушателей чем только мог: «чудиками», блатными замашками, неожиданными поворотами. В азарте иногда и перебарщивал, например, в рассказе «Танцующий Шива». В спешке, иногда из-за безденежья Макарыч публиковал недоработанные рассказы («Вянет, пропадает»). Бытовые зарисовки называл рассказами. Лишь бы опубликовать. Печатал и биографические этюды, кои пригодились бы ему позднее, но жизнь и кинематографический ритм заставляли печатать все, что есть... Это не значит, что он не чувствовал, где хорошо, где так себе, а где плохо, каким бы и желала видеть его космополитическая братия. Нет, Шукшин умел работать. Сравним хотя бы два его рассказа — тот же «Вянет, пропадает» и «Осенью». Один — не более чем оригинальная бытовая зарисовка, другой же — полноценное, художественно выверенное произведение, достойное великих предшественников.

Поспешность, с которой он разрешал инсценировать свои рассказы и повести, объясняется обычным желанием подсобить другим. Торопливость, с которой Шукшин ставил свои первые пьесы, тоже понятна. Он спешил, потому что знал о своих сроках, видел, что не успевает. Невыношенные рассказы, как невыношенные младенцы. Он публиковал их частью из-за традиционной материальной нужды, частью оттого, что боялся не успеть. Он ощущал приближение очередного разгрома. Гроза над Родиной приближалась, он ее чувствовал и торопился, как торопятся на покосе сметать стог. Вот уже падают первые крупные капли, а стог только-только начат.

В. Иванов, продвигавший однажды и мой драматургический опус, поставил в Москве спектакль по рассказам Шукшина и пригласил меня на премьеру. Спектакль назывался «Беседы при ясной луне». Постановка оставила смутное ощущение неудовлетворенности. Почему были взяты именно эти рассказы, а не какие иные? Для чего этот пьяный священник? Сцену не покидала атмосфера капустника, эта атмосфера глубоко противоречила драматургическому движению. Мое

понимание действия вновь не совпадало с режиссерским. Превосходный язык, яркие бытовые, истинно шукшинские коллизии не компенсировали, на мой взгляд, вялого действия, отсутствия конца и начала.

По-видимому, я сказал об этом и В. Иванову, и В. Шукшину. Первый начал спорить, второй промолчал. У Иванова интерес двигать мою персону в кино пропал, Шукшин еще пытался делать это хлопотное и громоздкое для него дело. Мой восторг давно растаял не только перед кино, даже перед театром. Спорил я о драматургии с Бабочкиным, скандалил (письменно) с Ульяновым, не ужился с редактрисой «Мосфильма». Таким оказался неуживчивым, отстаивая сюжетную драматургию...

* * *

Будучи в Вологде, Макарыч довольно много размышлял о Никоне, о его влиянии на царя и православную иерархию, рассказывал о разинских посланцах на Соловки. В Ферапонтове Макарыч вместе с Заболоцким приглядывался к древнему, обитому кожей креслу Никона, стоявшему в келье опального патриарха. Еще сильнее интересовал их шатровый собор, озерные красоты окрест и гениальные фрески Дионисия.

Мы встретились с владыкой Михаилом в его ветхом, но хорошо ухоженном доме. Владыку Михаила за его проеврейские симпатии в Вологде, как мне казалось, недолгоблюдали. Шукшин говорил с ним о Разине и о Никоне, вроде бы подарил книгу. Я старался помалкивать, визит быстро закончился. Куда интересней оказались для Макарыча встречи с простыми верующими старушками.

В селе Архангельском, куда он ездил искать «натуру», я вздумал «угостить» его старинной игрой на гармонии. Гармонист-старик оказался вполне современным, по-старинному не играл. Тогда же я вылез с бутылкой перед обедом, но Макарыч вежливо, но твердо пить отказался. И до сих пор стыдно за свою тогдашнюю зависимость от алкоголя «перед едой». Тогда я еще не старался избавляться от дурных привычек, не был знаком с академиком Угловым. Макарыч был ко мне снисходителен. Он прощал людям самые гнусные поступки, умел прощать. Мне было далеко до этого. С омерзением вспоминаю многие приключения, он же даже из коллективных попок извлекал нечто необходимое, то есть был добрее. Вот одно из его писем:

«Милый Белович!

Получил вот от Вани Пузанова книжечку в дар, и вспомнились те, теперь уж какие-то далекие, странные, не то веселые, не то дурные дни в вашем общежитии. Какие-то они оказались дорогие мне. Я понимаю, тебе там к последнему курсу осточертело все, а я узнал неведомых мне хороших людей. И теперь вот грустно сделалось. Эдак, глядишь, и вся жизнь — бочком-бочком проилекает. Как дела твои? Что-нибудь думаешь насчет перебраться сюда? Или запустил это дело с бородой вместе?.. Как ты жив-здоров? Не ленись, напиши пару слов. Хорошо, если у тебя вышло с переездом. Очень уж порой тут одиноко бывает. Сделай что-нибудь! Потрать время, силы... Надо ведь! Ну, дай тебе бог здоровья. Шукшин».

В разговорах о есенинском и шукшинском пьянстве много обычного вранья. Оба не те, за кого просвещенному мещанству или чекистским эстетам хочется их принимать. Макарыч умел брать себя в руки в схватке с «зеленым змием» — разновидностью рептильного Змея Горыныча. При этом он не утрачивал ни снис-

ходительности, ни почти женской сентиментальности. Сквозила в его словах и делах нежность к семье, к детям и женщинам, даже к таким, коих молва называет падшими. Все, что касается семьи и детей, было для Шукшина свято.

Помню, с какой радостью он воспринял рождение моей дочери. Между делом я послал ему дочкину фотографию.

«Спасибо тебе за письмо и за фотографию. Славный человечек там, сколько любопытства к миру в двух «омутках» (из твоего арсенала)! Разве она может стать другой? Только и другого, наверно, что без волосиков. Это ты стал несколько другой, это так — глубоко и полно пережил, и стал чуть другой. Слава богу, что все теперь хорошо. Вишь, какие якоря в жизни кинуты!»

Письмо продолжено сценарной темой:

«Сценарий-то... Вот как. Ну, черт с ними! Самому делать бесконечные варианты, да бегать с ним — это столько времени и нервов, что, я знаю, ты не нашел бы ни того, ни другого. Да и время-то твоё дороже, так и прими это. Я думал, что они все же не такие бесстыдники. Но ты бы на полдороге плюнул... Повесть в «Современнике» мне завернули, на мой взгляд, вовсе безобидную. Говорят: «Мы в течение года не будем давать ничего острого». Завалили журнал. Я больше туда и не пойду. Где возьмут сразу, без разговоров, туда и отдам. Я числа 15 марта выйду отсюда. Вот штука-то: две больницы в одной стране... Эх, сколько мы не знаем, Васюха! И это ещё — не край, есть и другое, и много. Переезжай в Москву! Решишь. Вите Астафьеву — привет. Скажи ему мой совет: пусть несколько обозлится. Так за него обидно с этой премией-то. Пусть обозлится — будут внимательней. А то привыкли, что — ручные. А ублажают тех, кого побаиваются. Привет всем твоим и маленькой лысенькой. Я вот тоже ей на память фотографию. Шукшин».

Мое состояние постоянной тревоги за здоровье младенца он понимал прекрасно и успокаивал на основании своего опыта. Но я, вероятно, не сказал в своем отчаянном письме, что дочь моя заболела. Поэтому в следующем письме он все оправдывался за бодрчество:

«Вася, дорогой мой! Если Лидя усала мое письмо к тебе (недавно), то я очень неуместно выскочил там с бодряческим тоном (откуда что взялось!), так что — пропусти эту бодрость, ей, видно, вообще нет места в жизни: как где вылетит, так самому потом совестно. Я не знал, что у тебя Нюра-то заболела... Я знаю, что это такое, когда они болеют. Но тут — скрепись и жди, больше ничего: им Бог помогает. Выздоровеет она, Вася: Природа разумна, добра — она не может так вот просто — наказать, и все. Она испытывает. У нас Маша лоб рассекла в садике, привели ее всю перебинтованную, бледную: «Срочно везите к хирургу зашивать рану!» Я так и сел, и говорить ничего не могу, а только думаю: «Но все равно кто-то (сам не знаю, кто) поможет!» Зашили рану, но шрам на лбу есть — на девичьем-то лице. А я в душе упорно думаю: «И это пройдет, зарастет как-нибудь». А как же зарастет? Позвонили сейчас из «Современника» — повесть не берут. «В течение года ничего острого не будем давать». Раньше бы расстроился, а сейчас — лежу, хоп что (может, перелечился?). Нет, какой-то новый этап наступает, несомненно. Ничего, думаю, это еще не конец. Буду писать и складывать. Напиши мне, если сможешь теперь, как дочка, как сам. Не падай духом, не падай духом, Вася, это много, это все. Много не сделаем, но СВОЕ — сделаем, тут тоже природа или кто-то должны помочь. И — немного — мы сами себе, и друг другу. Обнимаю тебя. Держись. Февр. 74. В. Шукшин».

По приезде в Вологду он первым делом приоткрыл детскую кроватку. Заиграл желваками, с минуту глядел. Дочка спала. Он осторожно положил ей в кровать замшевого кисана. Не забыл прихватить, когда уезжал из Москвы. Игрушка из детского арсенала его дочерей была потертой, от этого выглядела совсем домашней, не казенной.

В городе Вологде оказалось у него не так много поклонников. Зато поклонники, вернее, поклонницы были искренние и восторженные. «Вологодский комсомолец» не однажды печатал материалы, посвященные Шукшину, и он был благодарен. Московские журналисты все еще не больно-то охотились за ним. А кинодебют без прессы? Ничего он не значил... Добротная пресса — это еще одно обязательное условие успешной деятельности в кино. Я ехидничал по этому поводу. Макарыч не сердился, поскольку так и было. Кино и журналистика не могли друг без друга, они и сейчас взаимно необходимы друг дружке. Синтетическое искусство и журналистская всеядность? В этих явлениях было нечто общее. Документальное кино тех лет я признавал и ценил, в нем тогда еще не гнездились похабщина и цинизм. Несомненно, польза от нравственно чистого кинематографа очевидна, как очевидна польза от честной, непродажной печати. Только много ли таких, кто осмеливается противостоять сейфу, набитому валютой, или набитому дураку-бюрократу? Не много таких героев, и тут мы с Шукшиным не спорили...

Произошла одна довольно значительная для него поездка в Тимонику. В ту пору он уже не прикладывался к рюмке, вроде бы я тоже начал самоограничиваться. Клуб в пятистах метрах от Тимоники в те дни еще действовал, показывали там кинофильмы и работала библиотека. Макарыч мог часами стоять около книжных стеллажей. Как-то он притащил оттуда «Роман-газету» — «Один день Ивана Денисовича». Хотел: «До вас еще не дошло. В других местах Солженицын давно изъят».

Мы втроем (приезжал с Шукшиным Толя Заболоцкий) старались не пропускать сеансов, любопытно было слушать громкие женские комментарии. Мужская часть зрителей смотрела обычно молча. Бабы реплики неподражаемы...

Придут старушки, усядутся вперемишку с молодыми и внуками. Обсудят новости, весело расскажут про свои болячки. Киномеханик пройдет по рядам, соберет с них свою жалкую дань. Начинают изгонять из зала собачонок, злых звонких собачек и крупных, обычно весьма добродушных псов. Но кое-кто, жалея копейки, приходил во время сеанса и пропускал собак опять в те же двери.

Собаки давно научились смотреть кино. Крупный овчар, не помню, на каком фильме, улегся у ног хозяйки, лежал во время сеанса тихо. Вдруг он глубоко и шумно вздохнул. Оказалась в картине как раз пауза, и этот собачий вздох обнаружил не одну только собачью тоску. Мы с Толей ткнули друг друга в бок и едва не расхохотались: шла какая-то закавказская белиберда. Макарыч в тот раз почему-то остался дома.

В другой раз уже с Макарычем пришли мы на клубный концерт по случаю праздничной даты — в День Советской Армии. На стол, который размещался на сцене, библиотекарьша поставила табуретку и завесила ее красной материей. Получилась трибуна. Докладчицу слушали с такой же охотой, с какой смотрели кино. Но концерт старушки слушали еще охотнее, потому как все школьные артисты свои, доморощенные.

Моих друзей сильно заинтересовала одна девочка лет двенадцати — Катя Миронова. Она безо всякого сопровождения тоненьким голоском спела песенку о

двух военных друзьях. Помнится, в припеве имелись такие слова: «Тебе половина и мне половина». Шукшин загорелся свезти девочку в Москву, записать или даже снять для кино. В Москве позднее я не раз слышал, как Макарыч пел бесхитростный этот припевчик.

Мы ходили по умирающим, но еще живым окрестным деревням. Забрели и к отцу девочки Африкану Миронову...

Хорошо запомнился последний шукшинский приезд на Вологодчину.

К этому времени я занял денег у художника Володи Корбакова, дождался каких-то гонораров, собрал все свои сбережения и купил новый «уазик». Машина окончательно сделала меня вологжанином. Я начал старательно крутить восьмерки на территории какого-то гаража. Лев Аллилуев, шофер молодежной газеты, научил шоферским азам. Дело было 9 мая, и вздумал я обновить свой «УАЗ». Фронтвик Лев Аллилуев не очень-то охотно жертвовал Днем Победы, сопровождая мое первое путешествие в Харовский район. Бензин в те времена был вполне по карману, как и коньяк «Плиска». Эту характерную пузатую бутылку я купил для Льва Михайловича, для страховки усевшегося рядом с новоявленным водителем.

Какой я был шофер, лучше не вспоминать. Но Лева говорил ясно и просто: «Ездить не будешь и не научишься». Рискнули, поехали.

На задних сиденьях устроились Заболоцкий с Макарычем, мечтавшие о тимонихинской тишине.

Пока ехали по асфальту, все у меня получалось как надо. День был солнечный, весна растопила свой небесный костер, даже в кабине воздух пронизан майской свежестью, землей и водой. Мы молча вспомнили майские дни 1945 года, дни нашей безотцовщины, вспомнили радостно-горькие материнские слезы. Шукшин был возбужден, однако не говорил ни слова. Я чувствовал, о чем он думает, по его плотно сжатым зубам. Желваки выдавали его волнение. Чтобы хоть немного развеселить пассажиров, я остановился и начал рассказывать, о чем я мечтал в детстве, когда не стало отца. Говорил, одна мечта сиротского моего детства сегодня осуществилась: я стал шофером. Прекрасное, необъяснимое чувство «вождения» запомнилось еще по велосипеду Коли Самсонова. Как бескорыстно, с каким удовольствием он давал нам свой двухколесный!

А тут целая машина! Подчиняется, едет, от легкого жеста поворачивает куда надо. Да, эта мечта детства осуществилась. Всего одна. Остальные мечты (например, ходить под парусом, освоить ноты), увы, не сбылись. Стать шофером Макарыч тоже мечтал еще в детстве, и теперь он, кажется, мне завидовал. Он наблюдал, как я наслаждался властью над мертвой, теперь как бы одушевленной техникой. Но вот асфальт кончился. Лев Михайлович был недоволен испорченным праздником, поэтому я открыл для него «Плиску». Вместе с этим я отдал ему и руль, а сам перебрался на его место.

Опытный Лев Михайлович глотнул коньяку и начал штурмовать кучи песка, наваленные на нашем пути. Дорога строилась, местами была непроезжей. Коньяк действовал недолго. Леве явно хотелось повернуть обратно. Макарыч, наоборот, по-прежнему стремился в деревню. Я оказался в сложном положении, но от коньяка удержался. Мы продолжали с трудом преодолевать весеннюю кашу, образованную песком, снегом и оттаивающей глиной. Вдруг мой «УАЗ» остановился. Началась первая в моей жизни буксовка.

Лев Михайлович, если б захотел, то, конечно, пробился бы, до Харовска осталось немного. А там, авось, добрались бы и до деревни. Но Леве явно не хо-

телось буксовать в праздничный выходной. Что было делать? Мы развернулись и, к неудовольствию Шукшина, поехали вспять. Лев Михайлович воодушевился, хватил из бутылки и показал, на что он способен...

В городе Соколе народ праздновал. Группы приодетых людей грудились там и тут, гремели динамики, милиция добродушно пропускала редкие машины. Мы благополучно вырулили напрямую к Вологде. Подъезжая к Фофанцеву, Лев Михайлович в праздничной толпе издалека углядел милицейский жезл. Лева тормознул. И не успел я сообразить, что к чему, как тучный корпус Аллилуева придавил меня к сиденью. Шофер через ручки и рычаги проворно переместился с водительского места на соседнее, то есть прямиком на меня. Я наконец сообразил, что от меня требуется, вывернулся из-под грузного Левы, не менее проворно перебрался на шоферское место и быстренько включил первую. До инспектора оставалось метров сто. Милиционер, видимо, заметил подозрительную возню в машине — и бегом навстречу. Я остановился... Момент для Макарыча, наверное, был редкостный. Подбежал инспектор, потребовал с меня документы и, не глядя в них, поспешно сунул мне стеклянную трубочку: «Дуй!» Я испуганно начал дуть, мне казалось, что коньяк не в желудке Левы, а в моем непосредственно. Милиционер поглядел на стекляшку. Он был явно разочарован и вернул мне новоявленные права. Оживленный Макарыч долго вспоминал потом эту сцену, он наблюдал за ней глазами режиссера, актера, писателя. Кто из сельских мальчишек не мечтал в детстве иметь свою машину? Он не ставил бы фильм о шофере, не создавал бы множество рассказов, связанных с шоферской профессией. Эпизод несколько скрасил его хмурое настроение. Но мы не теряли надежды уехать в Тимонику поездом...

* * *

Наутро мы поспешно отправились на вокзал к пригородному. В те времена железная дорога обходилась совсем недорого, народ ездил туда-сюда, иной раз без толку.

Двое парней («козлячьего», как я называю, возраста) узнали Макарыча и начали дурачить друг друга, передразнивая: «А ну-ка, глаза в глаза!» Мне было стыдно. Мы вышли из купе в тамбур. Макарыч спросил меня о Яшине, чтоб отвлечь меня от досады на моих молодых земляков. Он слушал рассказ о моем покойном друге, слезная поволока накатывалась ему на глаза, по игре желваков я догадывался о его волнении. Я рассказывал о семидесяти днях яшинских страданий, когда он лежал разрезанный, без всяких надежд и упрекал меня в плохой дружбе. «Настоящий друг дал бы что-нибудь, чтобы мне скорее умереть», — сетовал Александр Яковлевич. Говорили о горьких для меня проводах Яшина в родные места. Желающих провожать было так много... Коля Рубцов поглядел на суматоху и отошел в сторону, не полетел. Ил-40 поднялся без Рубцова, чтобы долететь до Никольска, пока светлое время. На середине пути у яшинского гроба вдруг появляются несколько «зайцев» определенной породы. Они каким-то путем проникли в самолет, спрятались в хвосте и летят. Мне было жаль оставленного в Шереметьеве Рубцова, почему бы ему не сделать то же самое? Макарыча интересовали все детали, все мелочи того скорбного рейса...

Вспомнили мы и встречу в моем номере гостиницы «Россия» в дни писательского съезда. Пел народные песни Борис Можаяев, блистал очками невероятно большой диоптрии петрозаводский прозаик Петр Борисков. (Добрейший был человек Петя, и проза его военная осталась в русской литературе.)

Упомянутый мною Борис Можаяев серьезно работал с трагической, нелюбимой начальством темой коллективизации. Шауро и Суслов считали, что для литературы достаточно и «Брусков» Панферова. «Поднятую целину» они, конечно, приплюсовывали туда же и держали ее отдельно, как бы в числе достижений. «Целина» и была таким достижением, Панферову до Шолохова было весьма далеко. Только меня, к примеру, совсем не прельщал пролетарский герой Семен Давыдов. И Можаяева тоже. Об этом на съезде, конечно, не говорилось.

В те хлопотно-занятные дни привез я Макарыча в свой номер, где познакомил его с Федором Абрамовым... Они с ходу поняли друг друга, и, кажется, поняли безоговорочно. Смерть Федора была для всех неожиданной, такой же, как смерть Коли Рубцова или Анатолия Передреева. Но все эти тягостные прощания стояли еще впереди... Впереди была и кончина самого Макарыча, с которым я вспоминал наших общих друзей в вагоне пригородного поезда.

«А ну-ка, глаза в глаза!» — опять заладил парень, забравшийся на вторую полку. Второй парень ехал вниз. Мне опять стало стыдно за этих болтунов, но сам Шукшин оказался добрее меня, не обращал внимания на их зубоскальство. Какие-то девушки тоже узнали его, просили автографы.

В Харовске мы все трое рассчитывали сразу уехать в Тимонику, но дорога совсем пала, и свободных машин у начальства не оказалось. (И моя персона еще не внушала землякам достаточного почтения.) В напрасных хлопотах проголодались, и я повез своих друзей в Дом отдыха, где командовал Алфей Дятлов, бывший наш председатель колхоза.

Моя затея опять провалилась, Макарыча и Толю я довез всего лишь до Харовска. Оставалось 65 километров, и Макарыч все еще рвался в Тимонику. На харовском ночлеге он успел набросать какую-то статью. Обещанная начальством машина не пришла. На улице стояла такая распутица, столько было везде воды, что все шоферы сидели дома. Идти пешком? Мы переночевали в дятловском заведении и поездом возвратились в Вологду.

В послевоенные годы нужда и лишения не покидали крестьянскую Русь. Над этим работали многие академики типа Заславской. Как упоминалось, при Горби появились даже спец. по психологическим и медикаментозным способам нейтрализации молодежной агрессивности. Об этом говорила мадам Бехтерева, депутат из Ленинграда. Дело было на совещании при ЦК, где я тоже участвовал как депутат. Макарыч лежал уже на Новодевичьем.

Горбачев, вернее, его идейные «шестерки» устроили полумасонский совет. Мадам Бехтерева, захлебываясь от восторга, докладывала начальству, как с помощью психиатрии держать русскую молодежь в узде, чтобы она не брыкалась и делала, что велят. Ну, точь-в-точь по монологу Косяка из моей пьесы!

Выступить на этом совещании не удалось, там без меня было много всяких говорунов. Свое возмущение я высказал Бехтеревой в Кремлевском дворце то ли запиской, то ли вслух. Она намекнула на судебный финал, а я предложил ей публичную полемику в печати. Ни суда, ни полемики, конечно, не было... Вот в каких условиях мы жили во времена перестройки, то есть после смерти Шукшина. И впрямь, вовремя он погиб...

Так все же случайно он умер или погиб? Думалось, разберемся сразу после ельциноидов, только ельциноидам-то нет, похоже, износу...

Печатается в сокращении.

Источник: Тяжесть креста: (воспоминания о В.М. Шукшине) / В. Белов // Наш современник. — 2000. — № 10. — С. 106–160. — (Память).



ЛЮДМИЛА ЧЕВЕЛЁВА

Одарённый Свыше

Памяти художника Валерия Чевелёва

Поднимет стаю белых птиц
С полей январский ветер синий

Валерий Чевелёв

18 июля 2018 года ушёл из жизни живописец Чевелёв Валерий Васильевич, член Союза художников России с 1991 года. Это был талантливый, трудолюбивый, тонко чувствующий, истинно русский человек. Как многогранна, широка, безгранична была его неукротимая могучая русская душа!

Валерий Васильевич Чевелёв родился 15 сентября 1946 года. Раннее детство Валеры прошло во дворе двухэтажного дома, находящегося на горе на пересечении улиц Подгорная и Грязнова, рядом с Крестовоздвиженской церковью. Его мама — Чевелёва Агрипина Васильевна была большая рукодельница. На окнах и дверях висели «выбитые» ею с ришелье льняные шторы, мебель украшали вышитые гладью и крестиком скатерти и салфетки. Будучи уже взрослым, Валера часто вспоминал своё детское пробуждение в залитой солнцем светёлке под звон колоколов, вспоминал, как они в детстве катались на санках с этой горы. Его отец Василий Васильевич Чевелёв, будучи профессиональным поваром, был отличным копиистом. Его любимой темой были «Охотники на привале» Перова, любил копировать Шишкина, натюрморты Хруцкого. В доме часто бывали иркутские художники, Валера всегда был рядом, и с малых лет душа его и разум обогащались русским искусством.

Однажды ребёнком случайно залез в папины краски и ладошками нарисовал на картонной коробке абстрактный рисунок. Так появилось первое «произведение» будущего художника.

Первые азы мастерства Валера постигал в Иркутском Доме Культуры имени Гагарина, а после 8-го класса в 1961 году поступил в Иркутское художественное училище на художественно-педагогическое отделение. Ему повезло учиться у таких авторитетных педагогов, как А.И. Алексеев, М.Д. Воронько, Г.В. Богданов, А.А. Савиных.

Перед окончанием училища Валерию посчастливилось съездить в творческую командировку в Москву и Ленинград, которая оставила неизгладимый след в душе художника. Третьяковка, Пушкинский музей, Эрмитаж — здесь он часами мог рассматривать шедевры великих мастеров, пытаясь разгадать их секреты.

Выйдя за Валеру замуж и будучи тонко чувствующей натурой, я начала воспринимать окружающий нас мир и природу с Валериной философской точки зрения: всё на Земле создано Богом из света, воды и воздуха. После работы мы с му-

жем любили гулять по набережной Ангары. Часто к нам присоединялись бывшие сокурсники и друзья Валеры — Николай Башарин, Виктор Грачёв, Николай Герасимов и Валерий Берестовский. Усевшись на скамейку и попивая пиво, вели долгие беседы об искусстве, о живописи, о великих художниках прошлых столетий и современниках, о своих дальнейших планах на жизнь, чувствуя единение душ.

А при возвращении домой (первое время мы жили у Валериных родителей) нас встречала всеми любимая копия картины Ивана Крамского «Неизвестная», выполненная отцом Валеры — Василием Васильевичем. У родителей Валеры был патефон, и вечерами мы всей семьёй слушали пластинки с произведениями в исполнении Федора Шаляпина. Василий Васильевич любил читать вслух стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и особенно Сергея Есенина.

Это общение способствовало развитию кругозора, внося мощным потоком присутствие русского духа в души Валерия и его младшего брата Михаила, который тоже окончил Иркутское художественное училище, но рано ушёл из жизни.

Служить в армии Валерию довелось в 1968 году, когда Советские войска вступили в мятежную Чехословакию, и порой над головой свистели пули. Валера впоследствии часто над собой подшучивал, называя себя «оккупантом». Придя из армии, Валера полностью окунулся в работу, готовясь к поступлению в Ленинградскую академию художеств, но по семейным обстоятельствам осуществить свою мечту ему не удалось.

Быть независимым — это один из главных принципов Валерия Чевелёва. А ещё — рассчитывать только на свои силы. В 1973 году Валера начал работать в Иркутском творческо-производственном комбинате художественного фонда РСФСР.

Не имея высшего образования, пытаясь найти себя в творчестве, он экспериментировал, пробуя работать в различных областях: мозаика, витражи, резьба по дереву, работа с берестой, работа со стеклом. Свою художественно-прикладную деятельность Валерий Васильевич начал в соавторстве с другими художниками в авторских коллективах.

Одна из первых работ монументального характера — панно «Мой город» в технике «Мозаика из бересты» в Иркутском Доме быта в соавторстве с художником Евгением Ушаковым — в 1976 году была отмечена в каталоге «Лучшие работы года в монументальном искусстве» (к сожалению, не сохранилась).

В соавторстве с этим же художником — панно в технике сграффито в микрорайоне Солнечном на здании общежития (1976 год). В соавторском коллективе Чевелёв, Приёмшев, Тирский — сграффито в Радищево (1979 год). В составе авторского коллектива был сделан зимний сад в Иркутском дворце пионеров.

Валерий Чевелёв является автором ряда монументальных работ как в интерьерах общественных зданий, так и в экстерьерах Иркутска. Из них интерес представляет мозаика на здании института земной коры СО АН СССР (1982 год), мозаика в интерьере ресторана «Сибирь» и ресторана в гостинице «Ангара» (1984 год), витражи и диарамы музея гражданской авиации (1986 год), эскизы и оформление ДК «Юность» в г. Саянске (1989 год).

Судьба не раз жестоко насмеялась над Валерием, пробуя его на прочность. Так погибли все его работы, подготовленные к персональной выставке в середине 80-х годов. Он вернулся из командировки по трассе БАМ, которая прошла великолепно: суровые северные таёжные пейзажи и открытые лица первопроходцев, тянущих сквозь вековую тайгу стальные рельсы; и всё это Валерий успел запечатлеть на своих полотнах, готовясь к персональной выставке. И эти полотна должны

были занять в ней достойное место... Но, вернувшись в Иркутск, спускаясь по ступенькам и кое-как открыв дверь в мастерскую, застал ужасное зрелище: его картины, написанные с такой любовью, плавали в мутной грязной воде, а с тех, что стояли на этюдниках, свешивались отставшие от холста краски, как обожжённая кожа. Спасти ничего не удалось. В подвале (в его мастерской), пока Валера был в командировке, прорвало трубу с горячей водой.

В тот год персональная выставка Чевелёва так и не открылась. В такие минуты он запирался с книгами в мастерской, или ехал к своему другу, усть-кутскому художнику, таёжнику, охотнику и живописцу Анатолию Перегудову, с которым познакомился на БАМе. Вновь обретая силы для творческого полёта, Валерий Васильевич выливает на полотно сочные, яркие, смелые сочетания красок, умея увидеть необычную красоту в самых обычных вещах. «Бабье лето», «Дождь», «Лесные цветы», «Зимовьё на Таёре», «Байкальская волна» — это гимн сибирской природе, светлому, жизнеутверждающему началу. Валерий Чевелёв всегда был романтиком. Его «Солнечные блики» показывают, какая тонкая и чувственная натура у сибирского художника.

В чем заключается счастье?.. У каждого своё представление о счастье. Счастье Валерия Чевелёва: сибирская тайга, реки и речные долины, озеро Байкал, снежные гольцы Саян — всё это восхищало, умиляло, вдохновляло художника, помогало жить, являясь опорой. А ещё счастье — общение с друзьями и родичами.

Он любил путешествовать, любил встречаться с интересными людьми. Открытый и добрый человек, Валерий легко сходилась с людьми; душа его всегда была распахнута навстречу друзьям. Друзей и приятелей у Валерия было изрядно, к тому же из разных сословий; а среди художников чаще общался с Николаем Башариным, Александром Муравёвым, и особая пожизненная творческая дружба связала Валерия с талантливым русским живописцем Александром Москвитиным и искусствоведом Тamarой Драницей.

В его жизни было множество творческих командировок: БАМ, Усть-Илимская ГЭС, пленэр в Болгарии, поездки в Китай, Монголию. Он много путешествовал по северу Иркутской области, по Байкалу. Его живопись крепко связана с Сибирью.

Результатом творческих путешествий стали серии пейзажей, посвящённых удивительной природе родного края. В работе «Звёзды над Байкалом» (1992 г.), «Морозная лунная ночь» (1999 г.), «После грозы» (2005 г.). Художник воспринимает природу не созерцательно, а скорее романтически, стремясь к синтезу камерной конкретики и монументальной условности. Колористическое решение вызывает ассоциации с палитрой древнерусской фрески. Опираясь на глубинные традиции русской реалистической живописи, Валерий Чевелёв нашёл свой почерк, своё восприятие природы. Его работы высоко эмоциональны, и во многих из них одновременно уживаются недосказанность и полнота творческого самовыражения.

В 1973 году художник участвовал на первой молодёжной зональной выставке в городе Омске. С 1974 года начинает активно участвовать в художественных выставках: городских, областных, региональных. Его тонкая и лиричная живописная манера наиболее интересно раскрылась в работах: «Пейзаж с белой лошадью» (1993 г.), «Ночной звук» (1983 г.), «Тишина» (1985 г.), «Дорога к храму» (1990 г.). В 1990 году Валерий Чевелёв участвует в групповой выставке работ иркутских художников в городе Турку (Финляндия), г. Тонон-ле-Бене (Франция), Берлине (Германия). И везде его работы неизменно привлекают внимание зрителей, отмечаются в прессе.

В 2003 году на региональной выставке «Сибирь-IX» работа Валерия Чевелёва «Окраина города. Дожди» была рекомендована зональным выставком для участия во Всероссийской выставке «Россия-Х».

В 2006 году в залах Иркутского областного художественного музея состоялась юбилейная персональная выставка художника, посвящённая его 60-летию. Чевелёв шёл к ней очень долго и ответственно. Произведения, показанные на выставке, обрели заслуженный успех у зрителей и искусствоведов. В 2007 году — персональные выставки в Иркутске и Саянске.

Участник и дипломант Региональной художественной выставки «Сибирь-9» (2003), участник Республиканской выставки (2004), выставки «25 иркутских художников-2» в Москве, ЦДХ (2004). В 2005 году совершил творческую поездку на север области на таёжную реку Таюра. Активно участвовал в выставочной деятельности иркутского регионального отделения Союза художников России, которое, кстати, несколько лет возглавлял.

В 2008 году Валерий Чевелёв участвовал в региональной выставке «Сибирь-Х» в городе Омске, в республиканской художественной выставке «Россия-ХI», которая проходила в Центральном Доме Художника в Москве в 2009 году. На выставке работ иркутских художников, которая проходила в г. Шеньяне (КНР) в 2009 году, Валерий Чевелёв представил новые работы — «Портрет девочки», «Женский портрет».

За участие в республиканской выставке и Международном пленэре «Синее небо Монголии», а также в международной выставке в Улан-Баторе (Монголия) и Шеньяне (Китай) награждён дипломом Союза художников России. В 2010 году он пишет галерею портретов ведущих преподавателей и профессоров Иркутского медицинского университета.

Произведения художника в экспозиции художественных музеев Иркутска, Красноярска, Новокузнецка; в частных коллекциях России и за рубежом.

Картины Валерия Чевелёва сохраняют традиции иркутской живописной школы. Выполненные уверенной рукой, размашисто, с какой-то только ему свойственной талантливой небрежностью, они всегда узнаваемы.

За свой вклад в развитие отечественного искусства Валерий Чевелёв, почётный гражданин города Иркутска, был удостоен многих профессиональных наград: дипломов, благодарственных писем и медалей, в том числе Золотой медали «Духовность. Традиции и Мастерство» ВТОО «Союз художников России».

С момента вступления в Союз художников России Валерий Чевелёв принимал активное участие в иркутской общественной жизни. В 1994 году избирается председателем Иркутской организации Союза художников России. На этом посту он проработал пять лет. В довольно тяжёлый период для организации он сумел сохранить её целостность, добиться бюджетного финансирования и открыть художественную галерею современного искусства в Доме художника.

При его активном участии возобновилось проведение ежегодных осенних областных художественных выставок в Иркутске. В 1996 году состоялась большая выставка произведений иркутских художников в залах Центрального Дома Художника в Москве.

За активное участие в подготовке и проведении региональной выставки «Сибирь-Х» Валерий Чевелёв награждён почётным дипломом и медалью регионального выставочного комитета. В 2009 году вместе с иркутскими художниками в очередной раз представлял свои работы на благотворительный аукцион, который проводился при активном участии Иркутского регионального отделения Союза

художников России с 2004 года. Средства, полученные от продажи работ художников, шли на приобретение медикаментов и оборудования для детских лечебных учреждений города.

А в 2016 году в залах Иркутского областного художественного лицея состоялась очередная юбилейная персональная выставка художника, посвящённая его 70-летию, на которой ценители его творчества смогли по достоинству оценить полотна признанного мастера русской живописи.

А через два года Валерий Чевелёв предал Богу душу... Его друг, поэт Владимир Скиф посвятил художнику посмертное стихотворение:

Никем в Иркутске не забытый, Он жил, не крыл дурной режим, Не слыл ни чуждым, ни закрытым, И был друзьями достигим.	В своём таланте был уверен, Не богатырь, не исполин, Но среди многих не потерял, Творил, как истый славянин.
Их много — крестников Иркутска, Кто с радостью или тоской — Друзей, ценителей искусства — В его сидели мастерской.	Мы те, кто пили с ним и пели, Ни слова вдруг не обронив, Взглянули и оторопели, Его палитру оценив.
Шумели суетно и праздно, Среди расставленных картин И рассуждали не напрасно, Что Чевелёв такой один,	И сам я, помню, вышел гордым От Чевелёва в некий день С его чудесным натюрмортом, Где так играла светотень!
Кто кистью вольною владеет, Неудержим, неприхотлив, В картины превращал затеи, Был по-сибирски прозорлив.	И вот так больно, так сурово Нас поразила эта весть, Что больше нету Чевелёва, Но он в своих картинах есть!

24.07.2018 г.

Творчество Валерия Чевелёва — загадка русского бытия, русского сознания.

Художник оставил потомкам не только живописно запечатлённую Сибирь, но и красивые стихи. Вот избранные его стихотворения:

ВАЛЕРИЙ ЧЕВЕЛЁВ

* * *

Туман, разрезанный собачьим бегом,
Проистекает каплями судьбы.
И гулок шум собачьих лап при беге,
И шерсть шуршит в разбуженной траве.
Успокоенья нет и нет отдохновенья,
В природе созданы туманные мечты,
И в нас самих глубокое томленье
Перед приходом холода и дерзости зимы.

Звездопад

Устану жить, не вздрогнет Русь.	Заботы сыну передам
Последний раз притронусь к хлебу —	И думы выпущу на волю,
Звезда прокатится по небу,	Не осужу чужую волю
Ей благодарно поклонюсь.	И в гроб сосновый лягу сам.
Над перекладиной ворот	Поднимет стаю белых птиц
Уже другая ярко вспыхнет.	С полей январский ветер синий,
Повоет пёс, затем утихнет,	В ложбинах двух скрипучих линий
Столпится в горнице народ.	Намёрзнет скорбь туманных лиц.

* * *

В городе моём пыль, пух, смрад,
В городе моём от машин волною чад,
В городе моём жизнь — ад.

* * *

А он лежал на утомлённых листьях.
Ходила лошадь, хрумкая траву,
Уздечка звякала, и где-то недалеко
Был тёплый день,
К обедне колокол гудел.
Причудливо постройка,
Армады плыли облаков,
А он лежал, прощался он с Россией
И образом любимой Натали.

Иволга

Сядь на вербу и ночь озари,	Отзовись, моя иволга, что ли,
Чтобы смог я кругом оглядеться.	Озари сенокосную даль.
Солнцепёрая спутница детства,	Озари, чтобы стало светло
Расскажи, где твои косари?	Среди тьмы и увядших растений:
Ты открой свою птичью печаль,	На ладони горит лист осенний,
Тайну звуков и солнечной боли,	Как твое золотое перо.

Согласитесь, дивные строки; в своих стихах он владел речью, как истинный художник слова. И это неудивительно, поскольку поэзию художник Чевелёв любил, словно живопись; и мог часами декламировать любимые стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Фёдора Тютчева, Сергея Есенина, Николая Рубцова, Поля Верлена, Уолта Уитмена, Шарля Бодлера. «Песнь о Гайавате» Лонгфелло — одно из любимых произведений Валерия Васильевича. Он по памяти цитировал это мощное, яркое, самобытное произведение, и яркие картины и образы предстают перед слушателями. Надо слышать, как он читает стихи: ярко, сочно, где прочитывается каждый образ.

Одарённый свыше живописным и поэтическим талантами, «поцелованный» Богом и глубоко верующий в Бога, он был весьма скромным, не выпячивающим себя, от природы честным, любящим ближнего и всевышнего, что и видно при взгляде на «Автопортрет», 1999 год.

Автопортрет с кружкой пива написан в посёлке Аршан. К своей персоне художник подходит с изрядной долей самоиронии. На полотне не исполненный важностью творец, а вполне довольный жизнью обыватель. Но каков этот портрет?! Пронизанный ярким светом, жарким солнцем, в нём отразилась вся палитра красок, вся Чевелёвская душа. Солнечная палитра словно вылилась на полотно, от которого веет зноем. Изначальное название этого автопортрета — «Жизнь удалась!».

На следующий день после открытия посмертной выставки Валерия Чевелёва я привела в музей своих внуков — Наташиных детей: внучку Валерию (неполных 5 лет) и внука Мишу (10 лет). Они долго ходили по залу, рассматривая картины.

Лера остановилась у картины «Солнечный театр» (2007 г.) и стояла, как вкопанная, словно впитывая в себя солнечный свет, льющийся с этого полотна, а выходя из зала, ещё раз оглянулась на неё. Выйдя на улицу, они молча сели на неподалёку стоявшую лавочку, переваривая увиденное в своей тонкой детской душе.

Валера ушёл из жизни внезапно, унеся все богатство красок незаконченных и задуманных картин.

Я благодарна Богу за то, что судьба соединила наши души, что этот Человек был рядом со мной всегда, даже когда мы с ним расстались. За то, что помог мне вырастить наших детей трудолюбивыми, талантливыми, одарёнными светлой и чистой душой. За то, что даже просто при встречах, при беседах с ними он сумел помочь мне направить детский разум в нужное русло: открыть и полюбить Бога, красоту Жизни, природы, всего живого на Земле (ведь даже камни — они тоже живые), понять смысл Мироздания. В память о родных и любимых родились эти строки:

Под колёсами автобуса —
Шелест летнего дождя,
Мне на сердце очень больно
Без Наталки, без тебя.

Я живу как будто где-то,
Но не здесь, не на Земле.
Умоляю Вас: вернитесь,
Пусть не в жизни, так во сне.

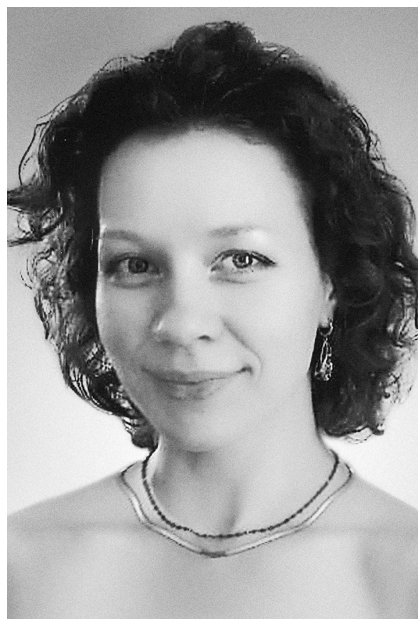
НАТАЛЬЯ ТРОЦЕНКО (ЧЕВЕЛЁВА)

Мой папа — упрямый реалист с романтическим уклоном

МИР ХУДОЖНИКА ВАЛЕРИЯ ЧЕВЕЛЁВА

От редакции: К прискорбию, год назад покинул сей мир Валерий Чевелёв, талантливый художник, истинно русский, искренно православный, и по натуре милосердный, братолюбивый, хлебосольный, правдолюбивый. Искусствоведы и критики высоко оценивали художника-монументалиста и живописца Валерия Чевелёва; писали, что мастер ищет и находит новые колористические решения, вызывающие ассоциации с палитрой древнерусской фрески, что художник по-особому внутренне драматургичен, что воспринимает натуру не созерцательно, а, скорее, даже мистически. Так писали искусствоведы и критики, а ныне журнал «Сибирь» печатает статью дочери художника Натальи Троценко (Чевелёвой), коя, опять же к прискорбию, вскоре тоже предала Богу душу. «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих Валерия и Наталии, и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное»

* * *



На снимке Наталья Троценко (Чевелёва)

И вот я снова на пороге мастерской — в этом пространстве, заросшем книгами, холстами и пылью, но столь по-своему уютном и любимом мною с детства... Меня встречает Кис Кисыч Котейкин своим кошачьим пронзительным «мяу», что означает: папа давно уже за работой у холста и не обращает на кота никакого внимания.

Подхожу к мольберту, чтобы обнять отца и удовлетворить своё любопытство: над чем сегодня идёт работа? Ба! Да это же Пушкин. Что сподвигло?

— У меня своё отношение к поэту, — говорит папа. — Среди всех он, пожалуй, на первом месте. Помнишь: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...»?

— Конечно, помню! А почему именно эти строки всплыли в твоём сознании?

— Дело в том, что счастье — эфемерная вещь, которая сваливается на тебя и так же непредсказуемо уходит, а к воле человек всегда стремится. Это как бы переход в другое состояние.

— А кто на втором? — с лёгкой иронией спрашиваю я, — Лермонтов? — Портрет стоит неподалёку на полу и ещё не дописан.



На снимке художник Валерий Чевелёв

В моём отце меня всегда удивляла начитанность и глубина познаний в литературе, музыке, истории, но и, разумеется, живописи. С таким багажом знаний и анализа их, на мой взгляд, он мог бы достигнуть каких-то высот, званий и т. п. Но отличительной чертой его является не то чтобы скромность, а, как бы это сказать, — невыпячивание, что ли. И ещё одна черта характера — кто-то бы назвал её «лень» (да он и сам порой ассоциирует себя с Обломовым). Но в действительности это желание перезагрузиться, и оно проявляется только после изнурительной «пахоты» над новой картиной. Тогда он залегает на диван с книгой и отключается от всего и вся. И сам нередко над собой подшучивает: «Такая гениальная голова такому дураку досталась». Папа считает, что его работы и отношение к людям и миру сами говорят за себя (и за него), что не требует титулов.

Отношение — вот ключевое слово всех работ Чевелёва. Внутреннее принятие, участие и переживание, будь то человек, природа или аппетитная селёдка, глядящая на тебя с холста.

Я не очень люблю портреты, потому что не всегда наблюдаю физическое сходство с оригиналом. Хотя и понимаю, что в большей степени на передний план тут выходит внутреннее восприятие художника, он так видит человека, а тебе не всегда это кажется истинным. Но, рассматривая портрет поэта Василия Козлова, я прямо чувствую на себе его пронзительный цепкий взгляд и ощущаю, что свежим зимним днём он ведёт беседу именно со мной, а рядом отмеряют ход времени часы. Поразительно, как папе удаётся погрузить тебя в атмосферу каждого холста. Начинаешь чувствовать звук, запах и дыхание той картины, в которую проникаешь. У отца живопись очень поэтична, но и его поэзия пронизана живыми образами и музыкой:

*Голубые купола
Беленьких церквушек,
Неба синего тона
Отразились в лужах.*

*Бабки к паперти идут,
Бьют поклоны низкие.
В храмах ангелы поют
Голосами чистыми.*

Известный искусствовед и старинный друг папы Тамара Драница грозилась собрать все его стихи в единый сборник. Но, видно, опять подкачал папин характер: истинный художник должен писать картины, а не издавать стихи и не петь на сцене, даже если это у него неплохо получается. Хотя он и не профессиональный поэт, но его творческая натура так же талантливо проявляется во многом, даже в

приготовлении еды. Он сам признаётся, что любит поесть, и всегда готовит даже самые обычные блюда по-своему. Например, в жареную картошку добавит семена зиры — и она начинает «звучать» по-новому. Но равных ему нет в приготовлении мяса. А солянка и вовсе его фирменное блюдо, которое он готовит каждый год уже по традиции — на свой день рождения. Некоторые шутят, что если не будет солянки, то не будет и их за столом. Но, разумеется, все, кто любит и уважает отца, приходят, разговаривают, дарят необычные подарки, с аппетитом едят и так же аппетитно рассказывают смешные истории из жизни. Хоть окружение отца очень разнопланово (писатели, художники, музыканты, учёные и даже военные), но, на мой взгляд, братья-художники по неординарности поведения могут утереть нос многим.

Однажды зимой (это был юбилейный год Гоголя) отец забрёл в мастерскую к Александру Муравьёву, известному иркутскому художнику и другу детства. Тихон Муравьёв (сын Александра, тоже художник), Александр и папа задумались, чем они смогут отметить этот год любимого писателя. В то время отец носил достаточно длинную шевелюру почти до плеч, и все привыкли к его «образу льва». И у трёх художников не нашлось больше фантазии, чем подстричь папу под запорожского казака, оставив на голове только оселедец. После чего отец ходил по улицам, важно снимая шапку в поклоне перед прохожими, и поздравлял с годом Гоголя, чем их или пугал, или радовал. В Союзе художников, где он одно время председательствовал, просто довёл работников до истерического хохота. Гоголю бы понравилось!

А вот ещё одна история. Как-то раз его друг Николай Башарин, большой художник, а был он роста невысокого, кругленький и очень обаятельный, привёз из Средней Азии халат. Халат выглядел богато, подарили его в Самарканде, и он очень радовал своего хозяина. Папа и Николай мирно беседовали в мастерской Башарина, когда тот неожиданно вскочил, надел халат и сказал отцу: «Пойдём на рынок!». Папа удивился и засомневался: «Что, прямо так в халате и пойдёшь?» — мысленно приготовившись защищать друга. «Да, так и пойду!». Ну ладно, что делать? Собрались, пошли... На рынке, к большому удивлению отца, Башарина не только не побили, но приняли за своего! Самое лучшее, сочное, свежее очутилось у них в сумке! А отец, пытаясь сохранить непроницаемое лицо, следовал за своим другом по пятам, как русский богатырь-телохранитель. Как же они потом смеялись! Вечер удался! И таких историй можно рассказать, наверное, миллион!

Но есть и другая сторона веселья... То ли от невозможности выразить себя до конца, то ли от того, что не всегда востребован и понят, отец, бывает, пытается уйти от реальности, забыться — тогда он начинает продолжительно экспериментировать с «зелёным змием», и прекратить эти эксперименты может только он сам, уговоры близких и мольбы бессильны. Именно тогда его веселье оборачивается щемящим одиночеством. Ещё в молодости он написал картину «Бездомная собака» — говорит, что про себя.

*Туман, разрезанный собачьим бегом,
Уже стекает каплями с листвы,
И гул собачьих лап при беге,
И шерсть шуршит в разбуженной траве.
Успокоенья нет, и нет отдохновенья
В природе, созданной, как будто для мечты.
И в нас самих глубокое сомненье
Перед приходом холода и дерзости зимы.*

Самое интересное: даже когда он изрядно выпивший, то на каком-то параллельном сознании всё равно продолжает размышлять над будущей задумкой. Как-то раз папу спросили, глядя на его многочисленные незавершённые эскизы и рисунки, не хочется ли ему вернуться и закончить их, он ответил: «Хотелось бы, но мне намного интересней делать что-то новое!».

Хоть мои родители расстались, и основную роль в моём воспитании играла мама, но наше общение с папой не прерывалось. Помню, как-то отец встретил меня из музыкальной школы. Мы шли через рощу, вдыхая пряный аромат осенней земли и радуясь каждому хрусткому шагу, пройденному по коврику из сухой листвы. Разговаривали о композиторах, поэзии, о жизни — обо всём, шутили, смеялись, сочиняли маленькие стишки-экспромты (Кот усатый-полосатый ходит-бродит, страх наводит на мышей и на чижей!) и чувствовали единство душ. Он никогда не был идеальным — в моём понимании — отцом, мужем, да и дедом, но эти разговоры тогда, в детстве, да и теперь, помогают мне ощутить и реализовать мой творческий потенциал, насыщают меня, наполняют. Выстраивают, как кирпичики, фундамент моей личности.

Я люблю своего отца, но не только как родителя, но и как настоящего художника. Однажды была на выставке именитого живописца. Но, уже глядя на третью картину, начала ощущать скуку, и мне захотелось уйти. А в папе меня удивляет, как его детское, свежее восприятие мира парадоксально сочетается с мудростью старика, и ещё удивляет потрясающее разнообразие его работ. Сам себя он называет упрямым реалистом. А я бы добавила, что реалист он с натурой романтика. Папа пишет маслом, акварелью, карандашом, сангиной, углем, использует монотипию. Его живопись и графику невозможно «переесть», но можно ими наполниться. Он всегда нов и интересен. Хочется рассматривать картины на близком и далёком расстоянии, возвращаться и снова разгадывать код иносказания.

Необузданная творческая энергия отразилась и в монументальных работах Валерия Чевелёва — в резьбе по дереву, росписи, декоративных рельефах. Мы до сих пор можем любоваться рельефом с мозаикой на Институте земной коры, рельефом с мозаикой, которую папа выполнял в соавторстве с А. Приёмышевым и А. Тирских, в Зимнем саду Дворца творчества детей и молодёжи. К сожалению, его витражи не пережили времена перестройки, как не сохранилось и берестяное панно в Доме быта. А есть и то, что осталось только в эскизах, но не нашло финансовой поддержки.

Отец редко доволен своими работами, но всё же любимчики у него есть — например, картина «В сумерках по Таюре». Папа бывал в разных странах и городах, но с особым теплом вспоминает свои приключения в тайге рядом с рекой Таурой. И то, как папа и его друг Анатолий Перегудов, художник и егерь в одном лице, сплавлялись по реке и жили в зимовье, заслуживает написания отдельной книги. Тогда отец привёз потрясающего состояния и красоты этюды, и мне кажется, он чуть-чуть слухавил, говоря о любви только к этой картине.

Отец участвовал в различных городских, областных, зональных, всероссийских, республиканских и зарубежных выставках (Болгария, Финляндия, Франция, Германия). В своё время к 350-летию г. Иркутска был реализован проект С.И. Дубровина «350 лиц Иркутска» под руководством редакционной коллегии С. Ерощенко, В. Ежова, А. Иванова, выполненный в графике, где папа, Сер-

гей Элоян, Александр Муравьев и Тихон Муравьев, каждый по-своему, отображали тех людей, на которых можно равняться. Каждый автор был представлен 20 графическими листами. Всё это оформилось в одноимённый альбом. А сами работы были подарены Иркутскому историческому краеведческому музею.

Папины работы находятся в Национальной галерее Болгарии, в Иркутском музее им. Сукачёва, в частных коллекциях г. Иркутска у В. Бронштейна, Д. Баймышева и других. А также в частных коллекциях Франции, Германии, Южной Кореи, Китая, Монголии, Канады, Болгарии.

Вся его жизнь — это его творчество, а творчество — его воздух. Как-то раз, прижав меня к своему сердцу, он сказал: «Я преклоняюсь перед Богом за то, что он дал мне возможность прикоснуться к чему-то великому». А я благодарна Богу за то, что у меня такой отец!

Журнал «Иркутские кулуары», 2016 г.

Сумочка к ребру



СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Кладу я голову на плаху...

ПАРОДИИ

*Если в чем-то я не прав,
Кладу я голову на плаху.
Лишь об одном прошу, палач,
Не отрубай ее ты с маху.*

Владимир Седых. (Иркутск)

Нет, братец, вовсе ты не прав.
Клади же голову на плаху.
Но палача предобрый нрав
Не вознесет тебя к Аллаху.

Твои он вирши соберет
И отольет пилу тупую,
И этим шею перетрёт,
Излечивая речь больную.

*В лесу родилась елочка.
Росла там целый год.
Согреет все иголки
Наш дружный хоровод.*

*И радости детишечкам
Подарит чей-то взор.
И Дед Мороз из книжечки
Оставит свой узор.*

Ольга Фокина. (Усть-Илимск)

Не скучно вам, детишечки,
Читать про чей-то взор.
Повешу я из книжечки
Узорчик на забор.

И ёлочка с иголкой,
И дружный хоровод —
Пластмассовый, с икорочкой
Соленый бутерброд.

БОРИС БАРАНОВСКИЙ

ПАРОДИИ

То совесть правдою карала И раздевала донага

Музыка

*Она души моей касалась
И не боялась утешать.
А мне-то, глупому, казалось,
Что будто нечем ей дышать.
То вдруг торжественней хорала
В мои вливалась берега,
То совесть правдою карала
И раздевала донага.*

Анатолий Голубев, (г. Усолье-Сибирское).

Поднаготная музыка

Она всегда мне что-то пела	Кому-то в сердце угодила,
Как няня, бабушка иль мать,	А мне попала — в берега.
Потом настолько осмелела,	Бесстыдно донага раздела —
Что не боялась утешать.	Хотела розгами канать,
То вдруг орала злей хорала,	Но вдруг совсем уж озверела
Как будто нечем ей дышать.	И стала правдою карать.
А то на совесть намекала,	Но я не сдамся — не дождётесь,
То стала всех за всё хватать.	Я лучше знаю, что почём.
Кого-то за душу схватила,	Проклонулась сегодня совесть,
Как будто лютого врага,	А завтра — кое-что ещё!

Зарисовки с натуры

*Утром ровно в восемь
В зной, мороз и слякоть
Погулять выходят
Бабушка с собакой. ...
Если вдруг хозяйке
Отчего-то зябко,
Пёс несёт халатик
И отыщет тапки.
Станет псу тоскливо
Иль заломит спину,
Бабушка полечит,
Приласкает псину.
И пора бы им
Ставить в жизни точку —
Только как двоим
Дожить поодиночке...*

Инна Коноплева

Натуральная идиллия

Инна не наивна,
Старость воспевая,
А сама так дивно
Сердцем молодая.
Молода душою,
И огонь в глазах.
Ритма перебои —
Разве что... в строках.
Надо эту тему
Рассмотреть отдельно.
Разрешим проблему
Мы с тобой артельно...
Было бы не худо
Так решить задачку:
Если хочешь, буду
Я твоей собачкой.
На стихи я падкий,
Их размеры знаю.

Встречу неполадки —
Сразу же залаю!
Спору всё отладишь —
Ты же молодчина!
И меня погладишь
С нежным словом «Псина»!
Все мы понимаем
Мудрость твоей строчки —
Отпеваться станем
Не поодиночке!
И хотя печально,
Но оригинально.
В деле ритуальном
Мы — коллегиально!
Нет — берём отсрочку!
Про года забудем!
В жизни ставить точку
Ни за что не будем!

ВЛАДИМИР СКИФ

Я прядаю в любовь прекрасной гибкой зверью...

Из цикла пародий «СМИРНОВИАДА»

Выпрыгиванье

*Души моей друзья! Пускай навывлет годы,
И я зову в опустошенный дом —
Стоят стаканы с розовым вином,
Как маленькое воинство свободы...
...Из времени, несущегося вскачь,
Мы выйдем, беззаботно хлопнув дверью...*

Марианна Смирнова

Стихи мои переведи, толмач!
Лягушкой я выпрыгиваю часто
Из времени, несущегося вскачь,
Из жутких снов,
где монстрами — начальство.
Друзей зову в опустошённый дом,
Где ни посуды, ни еды, ни стульев,
Лишь самогонка на столе пустом,
В окне блестит

застывший лунный студень.
Я беззаботно впрыгиваю в дом
Из века или, может быть, из ветра.
Друзей не видно. Я бегу потом
За ними вскачь четыре километра.
Бегу, себя нагайкой торопя,
И думаю о всякой чертовщине...
Я выпрыгнуть стараюсь из себя,
А вот зачем и по какой причине?

Зверьёвое бытованье

*И в сей холодный век корысти и безверья,
где каменные сны и камень наяву,
я чувствую себя какой-то дикой зверью
и прядаю в стихи, как прядают в траву...
...Я прядаю в любовь прекрасной гибкой зверью,
лишь длинные волосы струятся по плечам...*

Наталья Смирнова (Иркутск)

Я расстанусь с домашним старым дверью,
я выхожу на улица пустой
и чувствую себя какой-то дикой зверью,
а может дикой жеребцой гнедой.
Власы моя роскошная, как грива,
струятся по звериная хребту.
Оскал звериный у меня красива,
и я изюбрю по тайге иду.
Я серо волко — нюхом обоняю,
парнокопытно по лесу скачу,
себе всё больше страху нагоняю,
и за сырым болотиной молчу.
Я прядаю ушами, как марало,
я прядаю и падаю в траву.
Жестокий волк марало проморгало,
и потому я всё еще живу.
В любовь я гибкой зверью упадаю,
а налюбившись, я домой иду.
В хороший образ редко попадаю,
поскольку дуем я не в ту дуду.

Желёзка, сердцу любая

*Хорошо в лесу хохочется,
Эхо долго откликается...
...Я в себя вместила многое:
И земля и небо — сразу я.
Я — березка голоногая.
Я — ромашка большеглазая...*

Римма Смирнова (Томск)

Я — лесная и небесная,	Бегемотка толстогубая,
Я — зелёная и красная.	Обезьянка плоскозадая.
Красота моя телесная	Я — берёзка голоногая,
Для поклонников опасная.	Я — желёзка сердцу любая.
Я в себя вместила многое:	Мериноска круторогая,
Рыба-кит и море — сразу я.	Альбатроска крепкоклювая.
Я — селёдка худобокая.	Поэтессой быть мне хочется,
Я — салака пучеглазая.	И с поклонниками ластиться,
Я — акула саблезубая,	А читателям хохочется,
Будто фурия из ада я.	Аж от слёз округа застится.